воспоминания
мемуары

АНТОН ИВАНОВИЧ

ДЕНИКИН

Очерки русской смуты

Борьба генерала Корнилова
Август 1917 – апрель 1918

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Книга посвящена началу гражданской войны в России. Автор с позиции профессионального военного описывает борьбу политических сил в стране с середины 1917 года и до лета следующего года. Давая живые портреты главных участников тех событий, он показывает неизбежность подготовки контрреволюционного переворота, рассказывает о роли генералитета, новом революционном подъёме в стране, начале «белого движения» и о борьбе Добровольческой армии на юге России.

- Антон Иванович Деникин
  - Предисловие
  - Глава I. Расхождение путей революции
  - Глава II. Начало борьбы: генерал Корнилов, Керенский и Савинков
  - Глава III. Корниловское движение: тайные организации, офицерство, русская общественность
  - Глава IV. Идеология корниловского движения. Подготовка выступления. «Политическое окружение». «Трехсторонний заговор»
  - Глава V. Провокация Керенского: миссия В. Львова, объявление стране о «мятеже» Верховного главнокомандующего
  - Глава VI. Выступление генерала Корнилова. Ставка, военноначальники, союзные представители, русская общественность, организации, войска генерала Крымова – в дни выступления. Смерть генерала Крымова. Переговоры о ликвидации выступления
  - Глава VII. Ликвидация Ставки. Арест генерала Корнилова
  - Глава VIII. Переезд «Бердичевской группы» в Быхов. Жизнь в Быхове. Генерал Романовский
  - Глава IX. Взаимоотношения Быхова, Ставки и Керенского. Планы будущего. «Корниловская программа»
  - Глава X. Результаты победы Керенского: одиночество власти; постепенный захват ее советами; распад государственной жизни. Внешняя политика правительства и советов
  - Глава XI. Военные реформы Керенского – Верховского – Вердеревского. Состояние армии в сентябре,

октябре. Занятие немцами Моонзунда
- Глава XII. Большевистский переворот. Попытки сопротивления. Гатчина. Финал диктатуры Керенского. Отношение к событиям в Ставке и Быхов
- Глава XIII. Первые дни большевизма в стране и армии. Судьба быховцев. Смерть генерала Духонина. Наш уход из Быхова на Дон
- Глава XIV. Приезд на Дон генерала Алексеева и зарождение «Алексеевской организации». Тяга на Дон. Генерал Каледин
- Глава XV. Общий очерк военно-политического положения в начале 1918 г. Украины, Дона, Кубани, Северного Кавказа и Закавказья
- Глава XVI. «Московский центр». Связь Москвы с Доном. Приезд на Дон генерала Корнилова. Попытки организации государственной власти на Юге: «триумвират» Алексеев – Корнилов – Каледин; «совет»; внутренние трения в триумвирате и совете
- Глава XVII. Формирование Добровольческой армии. Ее задачи. Духовный облик первых добровольцев
- Глава XVIII. Конец старой армии. Организация красной гвардии. Начало вооруженной борьбы советской власти против Украины и Дона. Политика союзников; роль чехо-словацкого и польского корпусов. Бои Добровольческой армии и донских партизан на подступах к Ростову и Новочеркасску. Оставление Добровольческой армией Ростова
- Глава XIX. Первый Кубанский поход. От Ростова до Кубани; военный совет в Ольгинской; падение Дона; народные настроения; бой у Лежанки; новая трагедия русского офицерства
- Глава XX. Поход к Екатеринодару: настроение Кубани; бои под Березанкой. Выселками и Кореновской; весть о падении Екатеринодара
- Глава XXI. Поворот армии на юг: бой у Усть-Лабы; кубанский большевизм; штаб армии
- Глава XXII. Поход в Закубанье; бой за Лабой и у Филипповского; теневые стороны армейского быта
- Глава XXIII. Судьба Екатеринодара и Кубанского добровольческого отряда; встреча с ним
- Глава XXIV. Ледяной поход – бой 15 марта у Ново-Дмитриевской. Договор с кубанцами о присоединении Кубанского отряда к армии. Поход на Екатеринодар
- Глава XXV. Штурм Екатеринодара

- Глава XXVI. Смерть генерала Корнилова
- Глава XXVII. Вступление мое в командование Добровольческой армией. Снятие осады Екатеринодара. Бои у Гначбау и Медведовской. Подвиг генерала Маркова
- Глава XXVIII. Поход на восток – от Дядьковской до Успенской; трагедия раненых; жизнь на Кубани
- Глава XXIX. Восстания на Дону и на Кубани. Возвращение армии на Дон. Бои у Горькой балки и Лежанки. Освобождение Задонья
- Глава XXX. Поход Дроздовцев
- Глава XXXI. Немецкое нашествие на Дон. Связь с внешним миром и три проблемы: единство фронта, внешняя «ориентация» и политические лозунги. Итоги Первого Кубанского похода

- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13
  - 14
  - 15
  - 16
  - 17
  - 18
  - 19
  - 20
  - 21
  - 22
  - 23
  - 24
  - 25
  - 26
  - 27
  - 28

- ○ 29
- ○ 30
- ○ 31
- ○ 32
- ○ 33
- ○ 34
- ○ 35
- ○ 36
- ○ 37
- ○ 38
- ○ 39
- ○ 40
- ○ 41
- ○ 42
- ○ 43
- ○ 44
- ○ 45
- ○ 46
- ○ 47
- ○ 48
- ○ 49
- ○ 50
- ○ 51
- ○ 52
- ○ 53
- ○ 54
- ○ 55
- ○ 56
- ○ 57
- ○ 58
- ○ 59
- ○ 60
- ○ 61
- ○ 62
- ○ 63
- ○ 64
- ○ 65
- ○ 66
- ○ 67
- ○ 68
- ○ 69
- ○ 70
- ○ 71
- ○ 72

- ○ 73
- ○ 74
- ○ 75
- ○ 76
- ○ 77
- ○ 78
- ○ 79
- ○ 80
- ○ 81
- ○ 82
- ○ 83
- ○ 84
- ○ 85
- ○ 86
- ○ 87
- ○ 88
- ○ 89
- ○ 90
- ○ 91
- ○ 92
- ○ 93
- ○ 94
- ○ 95
- ○ 96
- ○ 97
- ○ 98
- ○ 99
- ○ 100
- ○ 101
- ○ 102
- ○ 103
- ○ 104
- ○ 105
- ○ 106
- ○ 107
- ○ 108
- ○ 109
- ○ 110
- ○ 111
- ○ 112
- ○ 113
- ○ 114
- ○ 115
- ○ 116

- ○ 117
- ○ 118
- ○ 119
- ○ 120
- ○ 121
- ○ 122
- ○ 123
- ○ 124
- ○ 125
- ○ 126
- ○ 127
- ○ 128
- ○ 129
- ○ 130
- ○ 131
- ○ 132
- ○ 133
- ○ 134
- ○ 135
- ○ 136
- ○ 137
- ○ 138
- ○ 139
- ○ 140
- ○ 141
- ○ 142
- ○ 143
- ○ 144
- ○ 145
- ○ 146
- ○ 147
- ○ 148
- ○ 149
- ○ 150
- ○ 151
- ○ 152
- ○ 153
- ○ 154
- ○ 155
- ○ 156
- ○ 157
- ○ 158
- ○ 159
- ○ 160

- ○ 161
- ○ 162
- ○ 163
- ○ 164
- ○ 165
- ○ 166
- ○ 167
- ○ 168
- ○ 169
- ○ 170
- ○ 171
- ○ 172
- ○ 173
- ○ 174
- ○ 175
- ○ 176
- ○ 177
- ○ 178
- ○ 179
- ○ 180
- ○ 181
- ○ 182
- ○ 183
- ○ 184
- ○ 185
- ○ 186
- ○ 187
- ○ 188
- ○ 189
- ○ 190

Антон Иванович Деникин
Очерки русской смуты
Том II. Борьба Генерала Корнилова. Август 1917 г. – апрель 1918 г

Предисловие

31 марта 1918 года русская граната, направленная рукою русского человека, сразила великого русского патриота. Труп его сожгли, и прах рассеяли по ветру.

За что? За то ли, что в дни великих потрясений, когда недавние рабы склонялись перед новыми владыками, он сказал им гордо и смело: уйдите, вы губите русскую землю.

За то ли, что не щадя жизни, с горстью войск, ему преданных, он начал борьбу против стихийного безумия, охватившего страну, и пал поверженный, но не изменивший долгу перед Родиной?

За то ли, что крепко и мучительно любил он народ, его предавший, его распявший.

Пройдут года, и к высокому берегу Кубани потекут тысячи людей поклониться праху мученика и творца идеи возрождения России. Придут и его палачи.

И палачам он простит.

Но одним не простит никогда.

Когда Верховный главнокомандующий томился в Быховской тюрьме в ожидании Шемякина суда, один из разрушителей русской храмины сказал: «Корнилов должен быть казнен; но, когда это случится, приду на могилу, принесу цветы и преклоню колена перед русским патриотом».

Проклятье им – прелюбодеям слова и мысли! Прочь их цветы! Они оскверняют святую могилу

Я обращаюсь к тем, кто и при жизни Корнилова и после смерти его отдавали ему цветы своей души и сердца, кто некогда доверил ему свою судьбу и жизнь:

– Средь страшных бурь и боев кровавых, останемся верными его заветам. Ему же – вечная память

Речь, произнесенная автором
в Екатеринодаре в 1919 г.

Глава I. Расхождение путей революции

Неизбежность переворота

Широкое обобщение слагаемых сил революции в две равнодействующие – Временное правительство и Совет – допустимо в известной степени лишь в отношении первых месяцев революции. В дальнейшем течении ее происходит резкое расслоение в среде правящих и руководящих кругов, и месяцы июль и август дают уже картину многосторонней междоусобной борьбы. На верху эта борьба идет еще в довольно отчетливых границах, разделяющих борющиеся стороны, но отражение ее в массах являет образ полного смешения понятий, неустойчивости политических взглядов и хаоса в мыслях, чувствах и движениях. Иногда только, в дни серьезных потрясений происходит вновь дифференциация, и вокруг двух борющихся сторон собираются самые разнородные и зачастую политически и социально-враждебные друг другу элементы. Так было 3 июля (восстание большевиков) и 27 августа (выступление Корнилова). Но тотчас же по миновании острого кризиса внешнее единение, вызванное тактическими соображениями, распадается, и пути вождей революции расходятся.

Резкие грани прошли между тремя главенствующими учреждениями: Временным правительством, Советом (Центральный исполнительный комитет) и верховным командованием.

В результате длительного правительственного кризиса, вызванного событиями 3–5 июля, разгромом на фронте и непримиримой позицией, занятой либеральной демократией, в частности кадетской партией, в вопросе об образовании власти[[1]], Совет вынужден был освободить формально министров социалистов от ответственности перед собою и предоставить право Керенскому единолично формировать правительство. Объединенные центральные комитеты постановлением от 24 июля обусловили поддержку со стороны советов правительству соблюдением им программы 8 июля и оставляли за собою право отзывать министров социалистов, в случае уклонения их деятельности от намеченных программой демократических задач. Но, тем не менее, факт известной эмансипации правительства от влияния советов, как результат растерянности и ослабления руководящих органов революционной демократии в июльские дни, не подлежит

сомнению. Тем более, что в состав 3-го правительства вошли социалисты или мало влиятельные или, как Авксентьев (министр внутренних дел), Чернов (министр земледелия), Скобелев (министр труда), не сведущие в делах своего ведомства. Ф. Кокошкин в московском комитет партии к. д. говорил «за месяц нашей работы в правительстве совершенно не было заметно влияние на него Совдепа… Ни разу не упоминалось о решениях Совдепа, постановления правительства не применялись к ним»… И внешне взаимоотношения изменились: министр-председатель не то избегал, не то игнорировал Совет и Центральный комитет, не появляясь на их заседаниях и не давая им, как раньше, отчета[[2]].

Но борьба – глухая, напряженная продолжалась, имея ближайшими поводами расхождение правительства и центральных органов революционной демократии в вопросах о начавшемся преследовании большевиков, репрессиях в армии, организации административной власти и т. д.

Верховное командование занимало отрицательную позицию как в отношении Совета, так и Правительства. Как постепенно назревали такие отношения, говорилось в 1 томе. Оставляя в стороне детали и поводы, обострявшие их, остановимся на основной причине: генерал Корнилов стремился явно вернуть власть в армии военным вождям и ввести на территории всей страны такие военно-судебные репрессии, которые острием своим в значительной степени были направлены против советов и особенно их левого сектора. Поэтому, не говоря уже о глубоком политическом расхождении, борьба советов против Корнилова являлась, вместе с тем, борьбой их за самосохранение. Тем более, что давно уже в руководящих органах революционной демократии капитальнейший вопрос обороны страны потерял свое самодовлеющее значение и, по свидетельству Станкевича, если иногда и выдвигался в Исполнительном комитете на первый план, «то только как средство для сведения других политических счетов». Совет и Исполнительный комитет требовали поэтому от правительства смены Верховного главнокомандующего и разрушения «контрреволюционного гнезда», каким в их глазах представлялась Ставка.

Керенский, фактически сосредоточивший в своих руках правительственную власть, очутился в особенно трудном положении: он не мог не понимать, что только меры сурового принуждения, предложенные Корниловым, могли еще, быть может, спасти армию, освободить окончательно власть от советской зависимости и установить внутренний порядок в стране. Несомненно освобождение от советов, произведенное

чужими руками или свершившееся в результате событий стихийных, снимавших ответственность с Временного правительства и Керенскагр, представлялось ему государственно-полезным и желательным. Но добровольное принятие предуказанных командованием мер вызвало бы полный разрыв с революционной демократией, которая дала Керенскому имя, положение и власть и которая, не взирая на оказываемое ею противодействие, все же, как это ни странно, служила ему хоть и шаткой, но единственной опорой. С другой стороны, восстановление власти военного командования угрожало не реакцией – об этом Керенский часто говорил, хотя вряд ли серьезно в это верил – но, во всяком случае, перемещением центра влияния от социалистической к либеральной демократии, крушением социал-революцюнерской партийной политики и утратой преобладающего, быть может и всякого, влияния его на ход событий. К этому присоединилась и личная антипатия между Керенским и генералом Корниловым, из которых каждый не стеснялся высказывать подчас в весьма резкой форме свое отрицательное отношение один к другому и ожидал встретить не только противодействие, но и прямое покушение с противной стороны. Так генерал Корнилов опасался ехать к 10-му августу в Петроград на заседание Временного правительства, ожидая почему то смещения с поста и даже личного задержания… И, когда все же по совету Савинкова и Филоненко он поехал, его сопровождал отряд текинцев, которые поставили пулеметы у входов в Зимний дворец во время пребывания там Верховного главнокомандующего. В свою очередь Керенский еще 13–14 августа в Москве в дни государственного совещания ожидал активного выступления со стороны приверженцев Корнилова и принимал меры предосторожности. Несколько раз Керенский возбуждал вопрос об удалении Корнилова, но, не встречая сочувствия этому решению ни в военном министерстве, ни в среде самого правительства, с тревогой ждал развития событий. Еще 7 августа помощник комиссара при Верховном главнокомандующем предупредил Корнилова, что вопрос об его отставке решен в Петрограде окончательно. Корнилов ответил: «лично меня вопрос о пребывании на посту мало занимает, но я прошу довести до сведения кого следует, что такая мера вряд ли будет полезна в интересах дела, так как может вызвать в армии волнения»…

Раскол не ограничивался вершинами власти: он шел глубже и шире, поражая бессилием ее органы.

Временное правительство представляло механическое соединение трех групп, не связанных между собой ни общностью

задач и целей, ни единством тактики: министры – социалисты[3], либеральные министры[4] и отдельно – триумвират, в составе Керенского (с.-р.), Некрасова (р.-д.) и Терещенко (безп.). Если часть представителей первой группы находила зачастую общий язык и одинаковое государственное понимание с либеральными министрами, то Авксентьева, Чернова и Скобелева, сосредоточивших в своих руках все важнейшие ведомства, отделяла от них пропасть. Впрочем значение обеих групп было довольно ничтожно, так как триумвират «самостоятельно решал все важнейшие вопросы вне правительства, и иногда даже решения их не докладывались последнему»[5]. Протесты министров против такого порядка управления, представлявшего совершенно не прикрытую диктатуру, оставались тщетными. В частности свое расхождение с Корниловым и вопрос о предложенных им почти ультимативно мероприятиях Керенский старался всемерно изъять из обсуждения правительства.

Несколько в стороне от этих трех групп, вызывая к себе сочувствие либеральной, оппозицию социалистической и плохо скрытое раздражение триумвирата, стояло военное министерство Савинкова[6]. Савинков порвал с партией и с советами. Он поддерживал резко и решительно мероприятия Корнилова, оказывая непрестанное и сильное давление на Керенского, которое, быть может, увенчалось бы успехом, если бы вопрос касался только идеологии нового курса, а не угрожал Керенскому перспективой самоупразднения… Вместе с тем, Савинков не шел до конца и с Корниловым, не только облекая его простые и суровые положения в условные внешние формы «завоеваний революции», но и отстаивая широкие права военно-революционным учреждениям – комиссарам и комитетам. Хотя он и признавал чужеродность этих органов в военной среде и недопустимость их в условиях нормальной организации, но… по-видимому надеялся, что после прихода к власти комиссарами можно было назначать людей «верных», а комитеты – взять в руки. А в то же время бытие этих органов служило известной страховкой против командного состава, без помощи которого Савинков не мог достигнуть цели, но в лояльность которого в отношении себя он плохо верил. Характер «содружества» и сотрудничества генерала Корнилова и Савинкова определяется тем небезынтересным фактом, что приближенные Корнилова считали необходимым во время приездов Савинкова в Ставку и в особенности во время их бесед с глазу на глаз принимать некоторые меры предосторожности… Так было не только в конце августа в Могилеве, но и в начале июля в Каменец-Подольске.

Савинков мог идти с Керенским против Корнилова и с

Корниловым против Керенского, холодно взвешивая соотношение сил и степень соответствия их той цели, которую он преследовал. Он называл эту цель – спасением Родины; другие считали ее личным стремлением его к власти. Последнего мнения придерживались и Корнилов и Керенский.

Раскол созрел и в руководящих органах революционной демократии. Центральный исполнительный комитет советов все более и более расходился с Петроградским советом как по вопросам принципиальным, в особенности о конструкции верховной власти, так и вследствие претензии обоих на роль высшего представительства демократии. Более умеренный Центральный комитет не мог уже состязаться пленительными для масс лозунгами с Петроградским советом, неудержимо шедшим к большевизму. В среде самого совета по основным политическим вопросам все чаще обозначалась прочная коалиция меньшевиков – интернационалистов, левых социал-революционеров и большевиков. Если обострялись сильно грани между двумя основными подразделениями социал-демократии, то еще резче проявилось разложение другой главенствующей партии – социал-революционеров, из которой после июльских дней, не порывая еще окончательно формальной связи со старой партией, выделилось левое крыло ее, наиболее яркой представительницей которого была Спиридонова. В течении августа левые с. – ры., возросши численно в советской фракции чуть ли не до половины ее состава, становятся в резкую оппозицию и к партии, и к кругам, единомышленным с Центральным исполнительньим комитетом, требуя полного разрыва с правительством, отмены исключительных законов, немедленной социализации земли и сепаратного перемирия с центральными державами.

В такой нервной, напряженной атмосфере протекал весь июль и август месяцы. Трудно учесть и разграничить зависимость двух аналогичных явлений полного разброда – среди правящих и руководящих верхов с одной стороны и народной массы – с другой: был ли разброд наверху прямым отражением того состояния брожения страны, в котором еще не могло определиться конечных целей, стремлений и воли народной, или наоборот – болезнь верхов поддерживала и углубляла процесс брожения. В результате, однако, не только не появлялось ни малейших признаков оздоровления, а наоборот все стороны народной жизни быстро и неизменно шли к полному расстройству.

Участились и внешние проявления этого расстройства, в особенности в области обороны страны. 20 августа разразилась рижская катастрофа, и германцы явно начали готовиться к

большой десантной операции, угрожавшей Ревелю и Петрограду. В то время, когда производительность военной промышленности падала в угрожающих размерах (снарядное производство на 60 проц.), 14 августа происходит вызванный несомненно злонамеренно грандиозный взрыв пороховых заводов и артиллерийских складов в Казани, которым уничтожено было до миллиона снарядов и до 12 тысяч пулеметов. Во второй половине августа назревала всеобщая железнодорожная забастовка, угрожавшая параличом нашему транспорту, голодом на фронте и всеми сопряженными с этим явлением роковыми последствиями. В армии участились случаи самосудов и неповиновения. То словоблудие, которое текло непрерывно из Петрограда и там отравляло и опьяняло мысль и совесть верхов революционной демократии, на широкой арене народной жизни обращалось в прямое действие. Целые области, губернии, города порывали административную связь с центром, обращая русское государство в ряд самодовлеющих и самоуправляющихся территорий, связанных с центром почти исключительно… неимоверно возросшей потребностью в государственных денежных знаках. В этих «новообразованиях» постепенно пропадал вызванный первым подъемом революции интерес к политическим вопросам, и разгоралась социальная борьба, принимая все более сумбурные, жестокие, негосударственные формы.

А на фоне этой разрухи надвигалось новое потрясение – вновь и явно подготовлявшееся восстание большевиков. Оно было приурочено к концу августа. Если тогда могли возникать сомнения и колебания в оценке положения и грозящей опасности, в выборе «равнодействующей» и в томительных поисках жизнеспособной коалиции, то теперь, когда август 1917 года – уже далекое прошлое, сделавшееся достоянием истории, не может быть никаких сомнений по крайней мере в одном: что только власть, одухотворенная решимостью беспощадной борьбы с большевизмом, могла спасти страну, почти обреченную.

Этого не мог сделать Совет, органически связанный со своим левым крылом Не мог и не хотел, «не допуская борьбы с целым политическим течением» и лицемерно требуя от правительства прекращения «незаконных арестов и преследования», применяемых к «представителям крайних течений социалистических партий»[[7]].

Этого не мог и не хотел сделать и Керенский – товарищ председателя Совета, грозивший некогда большевикам «железом и кровью». Даже 24 октября, то есть накануне решительного большевистского выступления, признав наконец «действия русской политической партии (большевиков) предательством и

изменой Российскому государству», Керенский, говоря о захвате власти в петроградском гарнизоне военно-революционным комитетом, поясняет: «но и здесь военная власть по моему указанно, хотя и было наличие всех данных для того, чтобы приступить к решительным и энергичным мерам, считала надобным дать сначала людям возможность сознать свою сознательную или бессознательную ошибку»[[8]]…

Таким образом, стране предстояла альтернатива: без борьбы и в самом непродолжительном времени подпасть под власть большевиков, или выдвинуть силу, желающую и способную вступить с ними в решительную борьбу.

Глава II. Начало борьбы: генерал Корнилов, Керенский и Савинков

Корниловская «записка» о реорганизации армии

В борьбе между Керенским и Корниловым, которая привела к таким роковым для России результатам, замечательно отсутствие прямых политических и социальных лозунгов, которые разъединяли бы борющиеся стороны. Никогда, ни до выступления, ни во время его – ни официально, ни в порядке частной информации Корнилов не ставил определенной «политической программы». Он ее не имел. Тот документ, который известен под этим названием, как увидим ниже, является плодом позднейшего коллективного творчества быховских узников. Точно также в сфере практической деятельности Верховного главнокомандующего, облеченного не отмененными правами в области гражданского управления на территории войны, он избегал всякого вмешательства в правительственную политику. Единственный приказ его в этой сфере имел ввиду земельную анархию и, не касаясь правовых взаимоотношений землевладельцев, устанавливал лишь судебные репрессии за насильственные действия, угрожавшие планомерному продовольствованию армии, вследствие «самоуправного расхищения на театре военных действий государственного достояния». Достоин внимания ответ Корнилова явившимся к нему подольским землевладельцам[[9]]:

– Вооруженную силу для охраны урожая, необходимого для армии, я дам. Я не постесняюсь применять эту вооруженную силу по отношению к тем безумцам, которые, ради удовлетворения низменных инстинктов, губят армию. Но я не задумаюсь так же расстрелять любого из вас, в случае обнаружения нерадения или злоумышления при сборе нынешнего урожая.

Несколько неожиданно отсутствие яркой политической физиономии у вождя, который должен был взять временно в свои руки руль русского государственного корабля. Но при создавшемся к осени 1917 года распаде русской общественности и разброде политических течений казалось, что только такого рода нейтральная сила при наличии некоторых благоприятных условий могла иметь шансы на успех в огромном численно, но рыхлом интеллектуально сочетании народных слоев, стоявших вне рамок «революционной демократии». Корнилов был солдат и полководец. Этим званием своим он гордился и ставил его всегда на первый план. Мы не можем читать в душах. Но делом и

словом, подчас откровенным, не предназначавшимся для чужого слуха, он в достаточной степени определил свой взгляд на предстоящую ему роль не претендуя на политическую непогрешимость, он смотрел на себя, как на могучий таран, который должен был пробить брешь в заколдованном круге сил, облепивших власть, обезличивших и обескровивших ее. Он должен был очистить эту власть от элементов негосударственных и не национальных и во всеоружии силы, опирающейся на восстановленную армию, поддержать и провести эту власть до изъявления подлинной народной воли.

Но слишком, быть может, терпимый, доверчивый и плохо разбиравшийся в людях, он не заметил, как уже с самого зарождения его идеи ее также облепили со всех сторон элементы мало-государственные иногда просто беспринципные. В этом был глубокий трагизм в деятельности Корнилова.

Политический облик Корнилова остался для многих неясным и теперь, три с лишним года спустя после его смерти. Вокруг этого вопроса плетутся легенды, черпающие свое обоснование в характере того окружения, которое не раз творило его именем свою волю.

На этом шатком и слишком растяжимом основании, представленном в широком диапазоне от мирного террориста через раскаявшегося трудовика до друга Иллиодора, можно выводить какие угодно узоры, с одинаковым вероятием на полное искажение истины. Монархист – республиканец. Реакционер – социалист. Бонапарт – Пожарский. «Мятежник» – народный герой. Такими противоположениями полны отзывы о покойном вожде. И, если «селянский министр» Чернов некогда в своем возмутительном воззвании объяснял планы Корнилова желанием «задушить свободу и лишить крестьян земли и воли», то митрополит Антоний в слове, посвященном памяти Корнилова, незадолго до оставления русской армией Крыма упрекнул погибшего… в «увлечении революционными идеями».

Верно одно: Корнилов не был ни социалистом, ни реакционером. Но напрасно было бы в пределах этих широких рамок искать какого либо партийного штампа. Подобно преобладающей массе офицерства и командного состава, он был далек и чужд всякого партийного догматизма; по взглядам, убеждениям примыкал к широким слоям либеральной демократии; быть может не углублял в своем сознании мотивов ее политических и социальных расхождений и не придавал большого значения тем из них, которые выходили за пределы профессиональных интересов армии.

Корнилова – правителя история не знает. Но Корнилова –

Верховного главнокомандующего мы знаем. Этот Корнилов имел более чем другие военачальники смелости и мужества возвышать свой голос за растлеваемую армию и поруганное офицерство. Он мог поддерживать правительства и Львова и Керенского, независимо от сочувствия или не сочувствия направлению их политики, если бы она вольно и невольно не клонилась по его убеждению к явному разрушению страны. Он отнесся бы совершенно отрицательно в принципе, но вероятно не поднял бы оружия даже и против однородного социалистического правительства, если бы такое появилось у власти и, паче чаяния, проявило сознательное отношение к национальным интересам страны. Корнилов не желал идти «ни на какие авантюры с Романовыми», считая, что «они слишком дискредитировали себя в глазах русского народа»; но на заданный ему мною вопрос – что, если Учредительное Собрание выскажется за монархию и восстановит павшую династию? – он ответил без колебания:

– Подчинюсь и уйду.

Но Корнилов не может мириться с тем, что «будущее народа – в слабых безвольных руках», что армия разлагается, страна стремительно идет в пропасть и, «как истинный сын русского народа», в неравной борьбе без колебания и без сомнения «несет в жертву Родине самое большое, что он имеет – свою жизнь»[10]]. Этой, по крайней мере, непреложной истины не могут отрицать ни друзья, ни враги его.

Официально борьба Корнилова с Керенским (точнее с триумвиратом) происходила на почве разногласия их по отношению к мероприятиям, предложенным в известной записке Корнилова.

Еще 30 июля на совещании с участием министров путей сообщения и продовольствия Корнилов высказал взгляд: «для окончания войны миром, достойным великой, свободной России, нам необходимо иметь три армии: армию в окопах, непосредственно ведущую бой, армию в тылу – в мастерских и заводах, изготовляющую для армии фронта все ей необходимое, и армию железнодорожную, подвозящую это к фронту»… «Не касаясь вопроса – какие меры необходимы для оздоровления рабочей и железнодорожной армий, предоставляя разобраться в этом вопросе специалистам», Корнилов считал, однако, что «для правильной работы этих армий они должны быть подчинены той же железной дисциплине, которая устанавливается для армий фронта»[11]].

В записке, приготовленной для доклада Временному правительству, указывалось на необходимость следующих главнейших мероприятий: введения на всей территории России в

отношении тыловых войск и населения юрисдикции военно-революционных судов, с применением смертной казни за ряд тягчайших преступлений, преимущественно военных; восстановления дисциплинарной власти военных начальников; введения в узкие рамки деятельности комитетов и установления их ответственности перед замком.

История прохождения этой записки весьма характерна для выяснения взаимоотношений главных действующих лиц разыгравшейся в конце августа драмы и свидетельствует о том двоедушии, которое проявил Керенский и которое сделало неизбежным окончательный разрыв между ним и верховным командованием.

3 августа Корнилов прибыл в Петроград для доклада Временному правительству своей записки и вручил ее Керенскому. Ознакомившись с запиской, Керенский выразил принципиальное согласие с указанными в ней мерами, но, совместно с Савинковым, уговорил Корнилова не представлять записки правительству, а выждать окончания аналогичной работы военного министерства для согласования с ней. Было условлено, что после этого Корнилов вновь приедет сделать доклад правительству. В своей книге[[12]] Керенский мотивирует этот шаг… заботами об успешном прохождении мероприятий и о самом Верховном главнокомандующем: «доклад был написан в таком тоне, что я считал невозможным предъявить его Временному правительству. Он заключал в себе ряд мер, большая часть которых была вполне приемлема; но они были так формулированы и поддержаны такими аргументами, что оглашение доклада привело бы к обратным результатам. И если доклад стал бы достоянием гласности, не возможно было бы сохранить Корнилова на посту Верховного главнокомандующего».

А 4 августа, то есть на другой день копия доклада находилась уже в редакционном портфеле советского официоза «Известия», и с 5-го началось печатание выдержек из него и одновременно широкая травля верховного командования.

На заседании 3 августа произошел инцидент, произведший глубокое впечатление на Корнилова. Детали и мотивы его все три участника (Корнилов, Керенский и Савинков) трактуют различно, но сущность его заключалась в следующем: Керенский остановил доклад Корнилова, когда последний коснулся вопроса о преднамеченной наступательной операции на Юго-западном фронте, а Савинков прислал записку, выражавшую неуверенность в том, что «сообщаемые Верховным главнокомандующим государственные и союзные тайны не станут известны противнику в товарищеском порядке»[[13]]. Корнилов «был страшно поражен

и возмущен тем, что в Совете министров Российского государства Верховный главнокомандующий не может без опаски касаться таких вопросов, о которых он в интересах обороны страны считает необходимым поставить правительство в известность»[[14]].

Корнилов уехал, унося с собою мало надежды на удовлетворение своих требований, тем более, что в ближайшие дни в советской и вообще в крайней левой печати раздалось настойчивое требование об удалении его с поста, – требование, нашедшее живой отклик и в мыслях министра-председателя, который «почти ежедневно возвращался к вопросу о смещении генерала Корнилова, причем предполагалось, что Верховным главнокомандующим будет сам Керенский»[[15]].

Все эти разногласия в вопросах реорганизации армии были скрыты Керенским от Временного правительства, члены которого узнавали о них из газет, а некоторые министры либеральной группы очевидно и в военном министерстве, с которым поддерживали более тесные отношения.

Между тем, военное министерство изготовило свой доклад, который, сохранив некоторые общие положения корниловской записки, вносил существенные изменения в ее основную мысль. Они касались не только формы изложения и мотивировки – более льстивых и следовательно более приемлемых для революционной демократии, но и расширяли значительно права военно-революционных учреждений и вводили весьма важные законопроекты о милитаризации железных дорог и торгово-промышленных предприятий, работающих на оборону. Общая схема взаимоотношений в армии в представлении составителя 2-ой записки, Верховного комиссара Филоненко рисовалась в таком виде: «комитеты должны выражать собою мнение армии, комиссары осуществлять в армии революционную государственную власть, а командный состав должен по-прежнему ведать часть оперативную и подготовку войск»[[16]]. Впоследствии в положении о комитетах проект министерства, вопреки решительному протесту Корнилова, предусматривал даже участие комитетов в аттестовании начальников. Таким образом 2-ая записка, если и вводила суровые репрессии, то по главному вопросу – организации армии – не шла далее закрепления существующего порядка.

Не может быть однако сомнения, что вся плохо прикрытая игра между Керенским и военным министерством велась вовсе не по поводу редакции доклада или даже существенных его положений, а исключительно вокруг одного основного вопроса – о введении смертной казни в тылу. Тем более, что в бурных

заседаниях солдатской и рабочей секций Совета, обыкновенно очень хорошо осведомленного о том, что делается в кругах правительства, еще 7 и 8 августа было предъявлено требование отмены смертной казни, как меры, «преследующей явно контр-революционные цели».

Корнилов отказался ехать к 10-му августа в Петроград, ссылаясь на серьезное положение фронта. Действительными причинами были опасение подвоха со стороны Керенского и сложившееся убеждение о безнадежности проведения корниловских мероприятий. Этим только и можно объяснить предложение Корнилова Савинкову «взять на себя представление доклада Временному правительству с теми изменениями, которые желательно в нем сделать по мнению управляющего военным министерством». Однако Савинков и Филоненко переубедили Корнилова, и он выехал 9-го, не зная, что вслед ему послана телеграмма министра-председателя, указывающая, что его «прибытие не представляется необходимым и что Временное правительство снимает с себя ответственность за последствия его отсутствия с фронта».

9-го августа во время серьезного объяснения Савинкова с Керенским последний говорил, что «никогда и ни при каких обстоятельствах не подпишет законопроекта о смертной казни в тылу». Савинков счел себя вынужденным просить об отставке и заяпил, что «если военный министр не желает подписать докладной записки (Временному правительству), то ее подпишет Верховный главнокомандующий»[[17]].

10 августа Корнилов приехал в Петроград и в военном министерстве ознакомился с возникшим конфликтом. Сопровождавший Верховного генерал Плющевский-Плющик (редактировавший первый доклад) доложил Корнилову краткое содержание 2-ой записки (Филоненко), указав, что фактическая сторона ее почти целиком взята из первой, но выводы поражают прямой противоположностью.

– Генерал Корнилов не возразил ничего, – рассказывал Плющевский-Плющик – молчал и Савинков. Но за то Филоненко вертелся мелким бесом и старался убедить меня, что это только первый шаг и что мы его делаем в ногу. Я резко ответил, что если первый шаг мы и делаем в ногу, т. е. признаем недопустимым развал фронта, то уже со второго идем в перебой.

Корнилов был поставлен в трудное положение: подписать записку и тем признать своими некоторые еретические взгляды той части ее, которая касалась реорганизации армии, или отклонить – следовательно порвать с Савинковым, дать моральную поддержку Керенскому в их конфликте и допустить

отставку Савинкова.

Решение нужно было принять немедленно, и Корнилов принял первое решение.

Керенский, под предлогом, что он не ожидал приезда Верховного, не знаком с запиской (2-ой) и не может допустить доклад Временному правительству о военных мероприятиях, не изучив его основательно, ограничил обсуждение доклада рамками триумвирата.

Странный характер имело это заседание: составитель 2-ой записки не был на него допущен; представлял Корнилов, не имевший нравственного основания защищать положения большой ее части;

читал ее Плющевский-Плющик, с глубоким возмущением относившийся к ее содержанию; слушал триумвират, относившийся отрицательно к записке, предубежденно к ее авторам и сводивший весь вопрос к личной политической борьбе.

На заседании было установлено, что первый, корниловский проект более приемлем, что «правительство соглашается на предложенные меры, вопрос же о их осуществлении является вопросом темпа правительственных мероприятий; что же касается… милитаризации железных дорог и заводов и фабрик, работающих на оборону, то до обсуждения этого вопроса, в виду его сложности и слишком резкой постановки в докладе, он подвергнется предварительному обсуждению в подлежащих специальных ведомствах»[[18]]. С последним условием Корнилов согласился. Оставил первую записку и уехал на вокзал, увезя с собою вторую. Но там на перроне его ждали уже Савинков и Филоненко и после разговора с ними, Корнилов отправил Временному правительству с вокзала вторую записку… Характерная мелочь: у Филоненки предусмотрительно нашелся для этой цели и соответствующий конверт…

Политическая арена оказалась много сложнее и много грязнее, чем поле битвы. Славного боевого генерала запутывали в ней.

Члены Временного правительства узнали о приезде Верховного только 10-го из газет, и на вопрос Ф. Кокошкина, министр-председатель обещал, что доклад состоится вечером. Но день прошел и 11-го также из газет они узнали о предстоящем оставлении своего поста Савинковым, ввиду разногласий с военным министром и невозможности провести известные военные реформы, а также с большим изумлением прочли, что Корнилов ночью отбыл в Ставку.

В этот же день Кокошкин предъявил министру-председателю ультимативное требование, чтобы правительство немедленно

было ознакомленно с запиской Корнилова, угрожая в противном случае выходом в отставку всей кадетской группы (Кокошкин, Юренев, Карташев, Ольденбург). Вечером состоялось заседание, в котором Керенский прочел первую записку Корнилова и дал по ней весьма уклончивые объяснения. Распространение на тыл военно-революционных судов и смертной казни «подчеркивалось, как существенное разногласие, хотя тут же Керенский указывал, что он не возражает по существу, но что правительство введет эти судьи и смертную казнь тогда, когда само сочтет это нужным». В общем весь вопрос был отложен до окончания Московского государственного совещания, причем Керенский дал обещание сказать в своей речи о необходимости предложенных Корниловым мер для оздоровления армии и тыла. В части, касающейся реорганизации армии, он не исполнил обещания вовсе. По вопросу же об оздоровлении тыла Керенский произнес фразы, которые скорее звучали вызовом каким то неведомым врагам, чем свидетельствовали о принятом твердом решении: «…но пусть знает каждый, что эта мера (смертная казнь) – великое искушение, что эта мера – великое испытание. И пусть никто не осмеливается на этом пункте ставить нам какие либо безусловные требования. Мы этого не допустим. Мы говорим только: если стихийное разрушение, развал, малодушие и трусость, предательское убийство, нападение на мирных жителей, сожжение строений, грабежи – если это будет продолжаться, не смотря на наши предупреждения, то хватить сил у Временного правительства бороться так, как то окажется нужным».

Керенский на Московском совещании пытался лишить Верховного главнокомандующего слова. Когда офицер, посланный к министру почт и телеграфа Никитину, ведавшему распорядком Совещания, просил указать время для выступления Верховного главнокомандующего российских армий, Никитин позволил себе даже глумиться:

– А от какой организации будет говорить генерал Корнилов?

Корнилов настоял, однако, на своем требовании. Ограниченный в свободе выбора тем для своей речи, он, как известно, сказал кратко, в широком обобщении и не касаясь тех вопросов, которые казались Керенскому слишком острыми.

17 августа по различным соображениям, и в том числе по настойчивому представлению Корнилова, министр-председатель отклоняет отставку Савинкова и соглашается на образование междуведомственной комиссии для разработки проекта о военно-революционных судах и смертной казни в тылу.

20 августа Керенский, по докладу Савинкова, соглашается на «объявление Петрограда и его окрестностей на военном

положении и на прибытие в Петроград военного корпуса для реального осуществления этого положения, т. е. для борьбы с большевиками»[19]].

Кокошкин подтверждает, что постановление о военном положении в Петрограде действительно было принято правительством, но не приводилось в осуществление. Как видно из протокола о пребывании в Ставке управляющего военным Министерством Савинкова, день объявления военного положения приурочивался к подходу к столице конного корпуса, причем все собеседники – как чины Ставки, так и Савинков, и полковник Барановский (начальник военного кабинета Керенского) пришли к заключению, что «если на почве предстоящих событий кроме выступления большевиков выступят и члены Совета, то придется действовать и против них»; причем «действия должны быть самые решительные и беспощадные»…

С какой бы стороны ни подходить к повороту, свершившемуся в мировоззрении Керенского 17 августа, он знаменовал собою полный разрыв с революционной демократией. Тем более, что 18-го после небывало бурного пленарного заседания Петроградского совета была вынесена подавляющим большинством голосов резолюция о полной отмене смертной казни; при этом резолюция эта была предложена… фракцией с. – ров., т. е. партией, к которой принадлежал Керенский.

Было ясно, что введение новых законов вызовет взрыв среди советов. Как оценивал положение Керенский, можно видеть из диалога между ним и В. Львовым, сообщенного последним.

– Негодование (против Совета) перельется через край и выразится в резне.

– Вот и отлично! – воскликнул Керенский, вскочив и потирая руки. – Мы скажем тогда, что не могли сдержать общественного негодования, умоем руки и снимем с себя ответственность[20]]…

Обнаружение обстоятельств этого «грехопадения» Керенского произвело впоследствии большое впечатление на советские круги, а член следственной комиссии Либер[21]], ознакомившись с ними во время допроса Корнилова в Быхове, схватив себя руками за голову, патетически воскликнул:

– Боже мой, ведь это чистая провокация!..

Законопроект был готов 20-го, но министр-председатель раздумал и упорно отказывался подписать его. Так прошло время до 26-го, когда Керенский, после интимного разговора с Савинковым, разговора, в котором по-видимому звучала скрытая угроза, согласился представить законопроект в тот же день на обсуждение Временного правительства.

Такое постоянное резкое расхождение военного министра

(Керенского) с управляющим его ведомством (Савинковым) – лицом им избранным и ему подчиненным представляется на первый взгляд малопонятным. Какие цепи связывали их? Почему Керенский, с такой изумительной легкостью свергавший Верховных, не мог расстаться с управляющим министерством? Только потому, что Савинков даже тогда, когда решительно ни на какие политические круги не опирался, импонировал ему своим террористическим прошлым. Керенский ненавидел Савинкова и боялся его. Лучше было иметь Савинкова своим строптивым подчиненным, чем явным врагом, отброшенным окончательно в тот лагерь, который укреплялся возле Ставки и начинал все больше и больше волновать Керенского. И не случайность, что Керенский так легко расстался с Савинковым 31 августа, в тот именно день, когда генерал Алексеев ехал в Ставку для окончательной ликвидации закончившегося уже выступления Верховного главнокомандующего. Заступничество Савинкова за арестованного Филоненко, игравшего двойную игру, было только предлогом.

Савинков остался среди зияющей пустоты. «Неумолимый враг диктатуры» делал затем попытки сближения с казачьими руководящими кругами, находившимися всецело на стороне Корнилова, и примирения с самим Корниловым. Современное политическое положение страны и взаимоотношение сил не давали выбора: против советов можно было бороться тогда только совместно с Корниловым —

Что касается членов правительства, то участие их в этом деле как нельзя лучше определяется разговором, имевшим место в двадцатых числах августа между Керенским и Юреневым: [[22]]

– Когда правительство будет обсуждать законопроекты, касающиеся реорганизации армии?

– Когда они будут готовы.

– А кто же их изготовляет?

– Военный министр.

– То есть – вы. Следовательно вы можете сообщить, в каком положении дело…

– Я вам сказал, что правительство будет обсуждать законопроекты, когда они будут готовы.

– Но я слышал, что у Савинкова готов уже какой-то законопроект?

– Когда законопроекты будут готовы, они будут внесены на обсуждение Временного правительства.

Этот диалог лучше чем самая пространная характеристика деятельности правительства дает понятие о внутреннем кризисе его – назревшем и даже перезревшем, в силу которого

либеральная группа обращалась в простых статистов, призванных своим присутствием демонстрировать коалицию и прикрывать пустое место, образовавшееся в ее правом секторе. Если представители либеральной демократии, входившие в состав третьего правительства, тем не менее, шли на такую неприглядную роль, то это можно объяснить только огромным самопожертвованием, путем которого они долго и тщетно пытались склеить разбитую вдребезги храмину национального единства.

Таким образом, не находя или по крайней мере не высказывая возражений по существу по вопросу об изменении правительственного курса в сторону решительной борьбы с анархией, Керенский колебался, хитрил, то соглашался, то отказывался, старался выиграть время и все откладывал решение сакраментального вопроса, проведение которого, по его мнению, должно было оторвать массы влево и смести правительство, «сдерживающее зверя»… Образовался заколдованный круг, из которого не видно было выхода, ибо мерами правительственной кротости сдержать анархию, охватившую страну, было невозможно. Но если образ «зверя» рисовался еще только в воображении, то перед Керенским тут же рядом стояла реальная угроза в лице Совета, недвусмысленно говорившего уже об «измене революции».

Политическая и социальная борьба, раздиравшая русское государство, вступила в новый фазис, сохраняя однако прежнее соотношение и противоположение сил. Ибо если Керенский, демонстрируя независимость верховной власти, влачил за собою тяжелую цепь, приковывавшую его к советам, то за Корниловым, не взирая на отсутствие в нем интереса к чисто политическим вопросам и классовой борьбе – стояли буржуазия, либеральная демократия и то безличное студенистое человеческое море русской обывательщины, по которой больно ударили и громы самодержавия и молнии революции и которая хотела только покоя. Стояли – одни явно, другие тайно, третьи полусознательно.

Центральный комитет советов формулировал положение так: «значительные слои буржуазии, не желающие нести требуемых революцией жертв, в союзе с контрреволюционными элементами пользуются испытанными страной затруднениями, чтобы начать открытый натиск на полномочные органы революционной демократии и вести подкоп под созданное революцией Временное правительство»[[23]]…

Совещание общественных деятелей не возражало: «… Правительство должно немедленно и решительно порвать со

служением утопиям, которые оказали гибельное влияние на его деятельность»… Правительство должно «решительно порвать со всеми следами зависимости от каких бы то ни было комитетов, советов и других подобных организаций»[[24]]…

А безликий обыватель в бесчисленных обращениях к тому, кого он считал призванным водворить порядок, просил только поторопиться, так как «жить становится невмоготу»… «Раз Вы – избранник Божий, то Вам и надлежит принять на себя роль избавителя и спасителя… Не бойтесь – время, мудрость и опыт научат Вас всему»[[25]]…

Глава III. Корниловское движение: тайные организации, офицерство, русская общественность

История противоправительственного и противосоветского движения в середине 1917 года скрыта еще под покровом тайны и вызывает иногда самые неправдоподобные представления в широких кругах русского общества. Подымем несколько этот покров, чтобы осветить сущность одного из наиболее серьезных моментов русской революции.

После неудачи июньского наступления офицерский корпус перешел в прямую оппозицию к правительству. Но сколько-нибудь широких размеров действенное проявление оппозиции не приняло. Причины – нравственная подавленность офицерства, укоренившаяся интуитивно в офицерской среде внутренняя дисциплина и отсутствие склонности и способности к конспиративной деятельности. Работа в этом направлении, как увидим ниже, некоторыми организациями велась, но к каким либо серьезным результатам не приводила. Вряд ли вначале эти не объединенные организации имели определенные лозунги и ясные цели предстоящей им деятельности. Скорее всего работа их имела характер подготовки на всякий случай: будь то большевистское выступление, падение власти, крушение фронта, поддержка диктатуры или, наконец, для некоторых членов организаций – восстановление самодержавия. К тому же в первое время ни имя претендента на престол, ни имя диктатора произнесены не были. Один только общий лозунг выяснялся совершенно твердо и определенно – борьба с советами.

Есть основание предполагать, что возникшая по инициативе генерала Крымова на Юго-западном фронте офицерская организация, охватившая главным образом части 3 конного корпуса и Киевский гарнизон (полки гвардейской кавалерии, училища, технические школы и т. д.), имела первоначальной целью создание из Киева центра будущей военной борьбы. Генерал Крымов считал фронт конченным, и полное разложение армии – вопросом даже не месяцев, а недель. План его по-видимому заключался в том, чтобы, в случае падения фронта, идти со своим корпусом форсированными маршами к Киеву, занять этот город и, утвердившись в нем, «кликнуть клич». Все лучшее, все, не утратившее еще чувства патриотизма, должно было отозваться, и прежде всего офицерство, которое, таким

образом, могло избегнуть опасности быть раздавленным солдатской волной. В дальнейшем возможно было продолжение европейской войны хотя и не сплошным фронтом, но сильными отборными частями, которые, и отступая вглубь страны, отвлекали бы на себя большие силы австро-германцев.

– Что касается форм верховной власти, – говорил Крымов одному из своих сотрудников, – это вопрос будущего; но лично я никакой нежности к династии не питаю.

3-й конный корпус входил в состав Юго-западного фронта. При том составе чинов высшей военной иерархии, который имел место до июля[26]], такой совершенно обособленный план действий, с расчетом только на себя и на свои силы, был единственно возможным. После 8-го июля, т. е. с назначением главнокомандующим Юго-западного фронта генерала Корнилова, узкие рамки всего предприятия имели шансы раздвинуться до фронтового масштаба.

Менее определенными были по-видимому задачи различных, вначале не объединенных петроградских организаций. Без серьезных средств и без руководителей, сколько-нибудь выдающихся по решимости и таланту, они представляли из себя скорее кружки фрондирующих молодых людей, играющих в заговор. Эти кружки, в которые вовлекались и военные училища, были непримиримо настроены к Совету, враждебно к правительству и могли быть действительно опасны для них в случае благоприятно сложившейся обстановки или при лучшей организации и руководстве. Вряд ли будет ошибкой считать, что большое число участников петроградских организаций принадлежало к правым кругам. Но отсюда не следует, что целью их была реставрация. Они удовлетворялись свержением советов и установлением «сильной власти», не влагая в это понятие слишком конкретной сущности. Идее немедленного восстановления монархического строя и им казалась нецелесообразной для текущего этапа революции; кроме того, здесь примешивалось одно обстоятельство, про которое впоследствии глава организации «Русской государственной карты», В. Пуришкевич[27]], правда на суде большевистского трибунала, но не без известной искренности говорил: «Но как мог я покушаться на восстановление монархического строя – который, я глубоко верю, будет восстановлен – если у меня нет даже того лица, которое должно бы, по моему, быть монархом. Назовите это лицо. Николай II? Больной Царевич Алексей? Женщина, которую я ненавижу больше всех людей в мире? Весь трагизм моего положения, как идеолога-монархиста, в том и состоит, что я не вижу лица, которое поведет Россию к тихой пристани».

Внутри организаций с самого начала создавалась нездоровая атмосфера. Несерьезная фронда, выносившаяся некоторыми на улицу и в залы киевских и петроградских ресторанов… По-видимому свои Азефы… Такое, по крайней мере, впечатление производят некоторые эпизоды конца августа. Наконец, просто предатели. Один из них, скрытый в книге Керенского под инициалами «капитан Вин», раскрыл ему все данные о важнейшей петроградской организации…

В конце июня в Петрограде, в числе многих других, образовалась политическая группа, под названием «Республиканский центр». Состав ее был немногочисленным и чрезвычайно пестрым; политическая программа весьма растяжима, и даже само наименование группы не выражало точно существа политических взглядов ее членов, так как по словам руководителя группы «в республиканском центре разговоров о будущей структуре России не поднималось; казалось естественным, что Россия должна быть республиканской, отсюда и пошло название „Респуб. центр“. При приеме в организацию „никого не спрашивали, во что веруешь; достаточно было заявления о желании борьбы с большевизмом и о сохранении армии“. Первоначально руководители Республиканского центра ставили себе целью „помощь Временному правительству, создав для него общественную поддержку путем печати, собраний и проч.“; потом, убедившись в полном бессилии правительства, приступили к борьбе с ним, участвуя в подготовке переворота. Интеллектуальные силы и влияние группы были не велики, но она имела одно большое преимущество перед всеми другими – обладала некоторыми денежными средствами. Их давала крупная денежная буржуазия – „небольшая по числу, – как определяет один из организаторов „центра“, – но очень влиятельная, довольно замкнутая и крайне эгоистичная в своих действиях и аппетитах“; буржуазия эта „подняла тревогу (в июльские дни), когда обнаружилась слабость Временного правительства, и предложила (Респ. Центру)первую денежную помощь, чтобы уберечь Россию… от очевидной тогда для них надвигавшейся опасности большевизма“. Лично представители этой банковской и торгово-промышленной знати стояли вне организации, опасаясь скомпрометировать себя в случае неудачи.

Отсутствие партийной нетерпимости, деловая программа и в особенности известные средства дали возможность «Респ. Центру» объединить много мелких, главным образом военных петроградских организаций[[28]]. Они вошли в состав военной секции «Респ. Центра» в лице своих представителей, причем далеко не все члены их знали, кто их возглавляет. Таким путем, к

концу августа активных участников военной секции числилось до 4 тысяч человек. Сколько их было в действительности, вероятно никто не знал. Внутренняя организация этих отделов оставалась по прежнему чрезвычайно слабой. Тем не менее, значение их сильно переоценивалось как самими участниками, так и теми, кто предполагал воспользоваться их силами.

Наконец, организующую работу вел Главный комитет офицерского союза. С первых же дней существования комитета в составе его образовался тайный активный коллектив, к которому впоследствии примкнул весь состав комитета. Не задаваясь никакими политическими программами, комитет этот поставил себе целью подготовить в армии почву и силу для введения диктатуры – единственного средства, которое, по мнению офицерства, могло еще спасти страну. Завязывались оживленные сношения с советом Союза казачьих войск, военными организациями и политическими партиями. Хотя комитет отражал в полной мере настроение фронтового офицерства, организация последнего подвигалась крайне слабо. Кроме неприспособленности к «заговорщической» работе из офицерской среды, и самого комитета, на ходе ее отразились неблагоприятно быстрый темп, которым развивались события, и ряд внешних препятствий. Керенский, встречая гласное и резкое осуждение своей военной политики в резолюциях комитета, относился к нему враждебно и установил за ним надзор; Брусилов, тогда Верховный главнокомандующий, смотрел на деятельность комитета также с большим неодобрением. Пригласив однажды к себе всех членов комитета, Брусилов обратился к ним с резкими упреками за то, что комитет «своими выступлениями мешает делу спасения армии, что нельзя переть напролом, когда правительство и Керенский стали на верный (?) путь». Он говорил так, но видимо чувствовал всю неприглядность своей позиции. И когда один из членов комитета заявил: «раз мы приносим вред, то нас следует попросту разогнать», – Брусилов со слезами на глазах стал жаловаться, что офицерство больше не идет за ним и что ни ему, ни Керенскому не верят…

Наконец, самое серьезное мероприятие, задуманное комитетов – формирование добровольческих ударных батальонов в дивизиях и на железнодорожных узлах – было вырвано из его рук. Брусилов утвердил своим приказом проект «товарища Манакина[29]] о формировании ударных частей, при участии… советов… Таким образом, когда настало время действовать, комитет имел в своем моральном активе широкое сочувствие всего офицерства, а в реальном – только добрую волю своих членов.

Страна искала имя.

Первоначально неясные надежды, не облеченные еще ни в какие конкретные формы, как среди офицерства, так и среди либеральной демократии, в частности к. д. партии, соединялись с именем генерала Алексеева. Это был еще период упований на возможность законопреемственного обновления власти. Ибо трудно себе представить лицо, менее подходящее по Характеру, чем ген. Алексеев, для выполнения насильственного переворота.

Позднее, может быть и одновременно, многими организациями делались определенные предложения адмиралу Колчаку во время пребывания его в Петрограде. В частности «Республиканский центр» находился в то время в сношениях с адмиралом, который принципиально не отказывался от возможности стать во главе движения. По словам Новосильцева, которому об этом говорил лично адмирал, доверительные разговоры на эту тему вел с ним и лидер к. д. партии. Вскоре, однако, адмирал Колчак по невыясненным причинам покинул Петроград, уехал в Америку и временно устранился от политической деятельности.

Но когда генерал Корнилов был назначен Верховным главнокомандующим, все искания прекратились. Страна – одни с надеждой, другие с враждебной подозрительностью – назвала имя диктатора.

В дни Московского совещания в вагоне Верховного произошел знаменательный разговор между ним и генералом Алексеевым:

– Михаил Васильевич, придется опираться на Офицерский союз – дело ваш их рук. Становитесь вы во главе, если думаете, что так будет лучше.

– Нет, Лавр Георгиевич. Вам, будучи Верховным, это сделать легче.

Началось паломничество в губернаторский дом в Могилеве. Пришли в числе других представители Офицерского союза, во главе с Новосильцевым и принесли Корнилову свое желание работать для спасения армии. Появились делегаты казачьего Совета и Союза георгиевских кавалеров. Приехал из Петрограда представитель «Республиканского центра», обещал поддержку влиятельных кругов, стоящих за группой, и предоставил в распоряжение Корнилова военные силы петроградских организаций. Прислал гонца в комитет Офицерского союза и генерал Крымов с запросом «будет ли что-нибудь», и в зависимости от этого – принимать ли ему 11 армию, предложенную мною, или оставаться во главе 3-го корпуса, который по его словам «пойдет куда угодно»… Ему ответили

просьбой оставаться во главе корпуса.

Таковы были реальные средства в руках тех, кто хотел перестроить тонувшую в дебрях внутренних противоречий верховную власть, чтобы спасти страну от большевизма.

Но в пределах этих ничтожных технических средств всякая активная и тем более насильственная борьба была заранее обречена на неуспех, если она не имела широкого общественного обоснования. На кого же опирался генерал Корнилов?

Теперь, когда идет безудержная переоценка ценностей, когда «тактические соображения» и «интересы целесообразности» окончательно вытеснили из политического обихода «старые предрассудки морального свойства» – у многих изменился взгляд на своевременность и необходимость корниловского выступления. При этом упускается из виду одно обстоятельство – неизбежность этого явления, как естественного и непредотвратимого рефлекса борющегося со смертью государственного организма, напрягающего последние силы национального, морального и правового самосознания; неизбежность, в силу которой отпадают обе предпосылки, и вопрос сводится, следовательно, лишь к оценке тех форм и тех способов, которыми мог быть наилучшим образом разрублен мертвый узел, завязанный вокруг власти. Во всяком случае, тогда Корнилов мог иметь полную уверенность, что он опирается на широкий общественные силы, включающие в свой составь, как я уже упоминал, либеральную демократию и буржуазию, весь офицерский корпус, командный состав и даже членов Временного правительства.

Многочисленные официальные обращения к Корнилову не оставляли сомнения в своем положительном значении.

Когда на Московском совещании вся правая половина русской общественности с высоким подъемом приветствовала Верховного главнокомандующего, она без сомнения видела в нем орудие судьбы и своего избранника.

Когда совещание общественных деятелей в постановлении своем от 10 августа говорило о том, что правительство ведет страну к гибели, что должна быть восстановлена власть командного состава, что необходимо решительно порвать с советами – оно повторяло «корниловскую программу». В воззвании прозвучал даже призыв «из сердца России… к низинным людям» – подобно тому, как 300 лет назад их предки пришли к Москве спасать Родину – и теперь «не выдавать своих героев и вернуть России возможность стать счастливой и великой[[30]]»…

Наконец, совсем уж недвусмысленна была телеграмма,

посланная Корнилову 9 августа за подписью Родзянко: «Совещание общественных деятелей приветствует Вас, Верховного вождя Русской армии. Совещание заявляет, что всякие покушения на подрыв Вашего авторитета в армии и России считает преступными и присоединяет свой голос к голосу офицеров, георгиевских кавалеров и казаков[31]]. В грозный час тяжелого испытания вся мыслящая Россия смотрит на вас с надеждой и верой. Да поможет Вам Бог в вашем великом подвиге на воссоздание могучей армии и спасение России».

В Москве, в день приезда на государственное совещание Корнилов был встречен овациями. Офицеры понесли его на руках к автомобилю. Родичев на вокзале в своем горячем обращении к Корнилову говорил:

– Вы теперь символ нашего единства. На вере в вас мы сходимся все, вся Москва. И верим, что во главе обновленной русской армии вы поведете Русь к торжеству над врагом и что клич – да здравствует генерал Корнилов! – теперь клич надежды – сделается возгласом народного торжества.

И закончил:

– Спасите Россию, и благодарный народ увенчает вас… Морозова упала перед ним на колени… Не удивительно, что люди чувствовали иногда некоторые угрызения совести. В. Маклаков говорил Новосильцеву:

– Передайте генералу Корнилову, что ведь мы его провоцируем, а особенно М. Ведь Корнилова никто не поддержит, все спрячутся…

Таковы были внешние, официальные отношения общественных кругов к Верховному главнокомандующему. Несколько иначе обстояло дело в конспиративной области деловых сношений. 8 или 9 августа в Москву к находившемуся там Новосильцеву приехал из Ставки капитан Роженко и попросил его собрать общественных деетелей, чтобы поставить их в известность относительно назревавших событий[32]]. На квартире видного кадетского лидера состоялось собрание влиятельных членов Думы и политических деятелей. Роженко доложил об общем положении армии, о трениях между генералом Корниловым и Керенским, о возможности смещения Корнилова с поста Верховного, чему он решил не подчиниться из патриотических побуждений; говорил о предстоящем восстании большевиков и о подходе к Петрограду конного корпуса, которому предстоит ликвидировать большевиков, советы и, может быть, выступить против правительства. Доклад своею легкостью произвел на всех тягостное впечатление. Один из участников собрания так описывает этот эпизод.

– Обсуждать тут же этот доклад увлекающегося офицера не хотели. Было ясно, что сочувствуют делу все, но никто не верить в успех, да и связывать себя и политический группы, которых представляли участники собрания, ни у кого не было желания.

Через несколько дней, однако, взволновавшее всех сообщение обсуждалось вновь в более широком кругу либеральных и консервативных политических деятелей.

> «После долгих объяснений – говорит один из них – П. Н. Милюков от лица общественных деятелей кадетского направления сделал заявление о том, что они сердечно сочувствуют намерениям Ставки остановить разруху и разогнать совдеп. Но настроение общественных масс таково, что они никакой помощи оказать не могут. Массы будут против них, если они активно выступят против правительства и совдепа. Поэтому на Милюкова и его единомышленников рассчитывать нельзя. К этому заявлению стыдливо присоединились путем молчания и знаком молчаливого согласия остальные общественники».

Не более благоприятной оказалась информация об отношении к назревавшим событиям Государственной Думы, как учреждения. Председатель ее говорил о бессилии Думы в деле борьбы, но, вместе с тем, и о возможности гальванизировать ее и привлечь к организации власти в случае успеха.

Что касается более широких интеллигентских кругов, то осведомленность их один московский деятель определяет такими словами:

> «Слухи, не шли дальше того, что Корнилов что то замышляет против Советов, что около Корнилова собрались какие-то более чем странные люди» которые, Бог весть, как попали к нему. Иногда доходили слухи, что в Ставку таинственно выехал такой-то, что скоро предстоит более широкое совещание по поводу действий громадной важности. Но все было покрыто тайной и молчанием. Это молчание понимали и не хотели нарушать его».

Таковы объективные факты, показательные для общественного настроения, создававшегося вокруг корниловского движения. Это настроение можно определить кратко:

Сочувствие, но не содействие.

В какой мере правильно информировали генерала Корнилова

о «деловых сношениях» с ответственными политическими группами, сказать трудно. Весьма показательным, однако, является разговор его с князем Г. Трубецким, посетившим генерала, когда он находился уже под стражей в могилевской гостинице.

– Передайте, чтобы ни один кадет не входил в составь правительства – сказал Корнилов.

Человеку политики и собраний пришлось долго уговаривать человека меча и боевого поля, что для предъявления подобного требования нужно иметь совершенно конкретные обязательства со стороны кадетской партии…

Да и само субъективное восприятие сложной политической обстановки людьми, не искушенными в этих вопросах, приводило иногда к разительным противоречиям. Представители офицерского союза еще летом устанавливали связь с некоторыми политическими группами и делились с ними своими предположениями. Вот какие впечатления они вынесли. Один – человек чисто военный – пишет: «русские общественные круги, в частности кадеты обещали нам свою полную поддержку. Мы были у Милюкова и Рябушинского. И та, и другая группы обещали поддержку у союзников, в правительстве, печати и деньгами»… Другой – причастный к политической деятельности – о тех же эпизодах говорит: «московская группа шла нам навстречу; петроградская нас избегала. У Рябушинского отнеслись более внимательно. Но, тем не менее, мы должны были сделать один вывод: мы – одни».

Но, кроме проявления официальных и деловых отношений, сумма впечатлений, утверждавших Верховного главнокомандующего в его намерениях, слагалась и другим путем: множество личных разговоров, из которых одни известны, другие станут достоянием гласности, третьи унесены с собою в могилу собеседниками, – разговоров, веденных с ответственными представителями общественных и политических групп или от их имени – создавало иллюзию широкого, если не народного, то общественного движения, увлекавшего Корнилова роковым образом в центр его. Генерал Алексеев имел несомненно право писать Милюкову[[33]]: «дело Корнилова не было делом кучки авантюристов. Оно опиралось на сочувствие и помощь (?) широких кругов нашей интеллигенции, для которой слишком тяжелы были страдания Родины».

В прочем даже и революционная демократия в душе должна была ясна сознавать почвенность и истинные мотивы корниловского движения и иногда имела смелость говорить о них в печати. В меньшевистской «Рабочей газете» Цедербаума

(Мартова) 3-го сентября 1917 года мы находим следующие мысли: революция вначале была всенародной. Потом «один слой буржуазии за другим отходили от революции… начинали с ней борьбу. Но этот отход буржуазии не случился бы так быстро и не имел бы таких опасных последствий, если бы революционная демократия проявила больше революционного творчества в деле организации обороны страны, установления в тылу и в армии революционного порядка, разрешения продовольственного кризиса, борьбы с хозяйственной разрухой. Разочарование в революции и возбуждение против рабочих и солдат не охватили бы таких широких кругов населения, если бы безответственная агитация не толкала рабочие и солдатские массы на путь опасных авантюр».

Революционная демократия понимала и ждала со страхом, либеральная демократия знала и ждала с надеждой.

Впоследствии Корнилов горько упрекал представителей русской общественности за их, более чем пассивную роль в августовские дни. Когда же однажды положение быховских узников, в виду готовившегося самосуда, стало весьма опасным, Корнилов, считая себя ответственным за судьбу тех, которые пошли за ним, послал некоторым видным деятелям ультимативное требование принять немедленно меры общественного воздействия на правительство.

В таком деликатном вопросе редко оставляются документальные следы, но и они найдутся с течением времени. Во всяком случае, не подлежит сомнению одно: если многие представители нового прогрессивного блока, каким явилось по существу «совещание общественных деятелей», и не были посвящены во времена и сроки, то, во всяком случае, сочувствовали идее диктатуры, именно корниловской, одни догадывались, другие знали о надвигающихся событиях.

Глава IV. Идеология корниловского движения. Подготовка выступления. «Политическое окружение». «Трехсторонний заговор»

Корниловское «дело», «выступление», «заговор», «мятеж» – вот в каких терминах определялись трагические события конца августа, связанные с именем Корнилова. Обстановка, однако, по природе своей была несравненно сложнее и, захватывая широкие круги русской общественности, не может быть втиснута в узкие рамки таких определений. Гораздо правильнее назвать эти события – корниловским движением, оставляя за актом, имевшим место 27–31 августа название корниловского выступления.

Итак, по личному твердому и искреннему убеждению и под влиянием общественного мнения[[34]] Корнилов видел в диктатуре единственный выход из положения, созданного духовной и политической прострацией власти. Формы диктатуры определялись весьма разнообразно не в силу личного честолюбия или двуличия, в чем тщится обвинить Корнилова Керенский, а исключительно как мучительное искание наилучшего и наиболее безболезненного разрешения кризиса власти. Мы знаем, что 19 июля Корнилов при назначении своем на пост Верховного требовал от правительства признания за ним ответственности «только перед собственной совестью и всем народом», устанавливая какую то оригинальную схему суверенного военного командования. 30 или 31 июля в разговоре со мной он упоминал о полной мощи Верховного главнокомандующего, но несколько расширенной правами по умиротворению взбаламученной народной стихии. Позднее в беседах с целым рядом лиц, так или иначе причастных к движению, выдвигаются самые разнообразные формы «сильной власти», как то пересоздание на национальных началах кабинета Керенского, перемена главы правительства, введение Верховного главнокомандующего в состав правительства, совмещение званий министра председателя и Верховного, директория и, наконец, единоличная диктатура.

Нет сомнения, что и сам Корнилов, и в особенности ближайшее его окружение склонялись к этой последней форме правления. Но лично Корнилов в своем сознании не ставил диктатуру самоцелью, придавая огромное значение факту законной преемственности. В силу этого окончательное решение

вопроса ставилось в полную зависимость от хода событий: будет достигнуто соглашение с Керенским и изменение курса государственной политики – тогда возможно устроение власти в порядке сговора, возможны и коллективные формы ее; не будет достигнуто соглашение, и, следовательно, исчезнуть всякий надежды на спасение страны, – предстояло насильственное устранение представителей верховной власти и в результате потрясения рисовалась одна перспектива – личной диктатуры. При этом возможность крушения власти далеко не обусловливалась одним лишь корниловским движением: оно могло наступить стихийно и непредотвратимо в любой момент, как результат одного из непрекращавшихся внутренних кризисов правительства, большевистского ли восстания или нового наступления австро-германцев, грозившего смести фронт и в его бешенном потоке затопить и правительство.

Все эти перспективы были равно возможны, роковым образом приближались и требовали принятия героических мер для их предотвращения. Попытки Корнилова привлечь с собой на этот путь Керенского оставались пока безрезультатными. Поэтому Верховный главнокомандующий счел себя вынужденным принять некоторые предварительные меры, применение которых могло быть определено лишь исторических ходом событий.

Нет сомнения, что переброска войск на Северный фронт, их дислокация, создание Петроградской армии и ее усиление – вызывались безусловно стратегической необходимостью; но, конечно, выбор войск соответствовал и другой цели – создания благоприятных условий на случай крушения центральной власти.

Таким же подсобным средством считались офицерские организации.

В виду полной ненадежности петроградского гарнизона, столичные организации представлялись полезным орудием как для вооруженной борьбы против большевистского восстания, так и на случай падения власти или окончательного уклонения ее на путь, предопределенный соотношением сил в советах, в которых большевистские течения получали явное преобладание.

К 13-му августа в Могилев прибыль командир 3-го конного корпуса, генерал Крымов и в своих руках сосредоточил как непосредственное руководство войсками, прибывающими в петроградский район, так и общее направление деятельностью организаций. Большой патриот, смелый, решительный, не останавливавшийся перед огромным риском, разочарованный в людях еще со времени подготовки мартовского переворота[[35]], не любивший делиться своими планами с окружающими и рассчитывавший преимущественно на свои собственные силы, он

внес известные индивидуальна особенности во все направление последующей конспиративной деятельности, исходившей из Могилева. Его непоколебимым убеждением было полное отрицание возможности достигнуть благоприятных результатов путем сговора с Керенским и его единомышленниками. В их искренность и в возможность их «обращения» он совершенно не верил; все последующие события подтвердили правильность его точки зрения.

По-видимому, политическая сторона вопроса Крымова, как и Корнилова, не слишком интересовала. Если раньше, когда верховное восглавление находилось в руках оппортуниста – Брусилова, Крымов делал попытку организовать вокруг себя военный центр в Киевском округе, то теперь, подчиняясь широким общественным настроениям, единодушно называвшим имя Корнилова, он предоставил себя в полное его распоряжение. Крымов добровольно стал орудием, «мечом» корниловского движения; но орудием сознательным, быть может направлявшим иногда… руку, его поднявшую. «Меч» хотел разить, утратив!» веру в целебность напрасных словопрений, и, исходя из взгляда, что страна подходить к роковому пределу и что поэтому приемлемо всякое, самое рискованное средство… «Рука» разделяла всецело эти взгляды, но, придавленная огромной тяжестью нравственной ответственности перед страной и армией, несколько колебалась. Только это побуждений сдерживало Корнилова, потому что о себе, о своей голове, он не раздумывал ни одной минуты.

Корнилов переживал тяжелые дни. Вспомним конкретные факты.

31 июля Корнилов совершенно спокойно и уверенно говорить со мной о будущих перспективах, не предрешая насильственного кризиса и рассчитывая на благополучный исход разговоров с «ними».

3-го августа едет в Петроград предъявить свою докладную записку о реорганизации армии и борьбе с разрухой и испытывает жестокое разочарование.

8-го августа отказывается вести дальнейшие переговоры о «записке», считая их бесполезными.

10-го августа, по настоянию Савинкова и Филоненко, вновь прибывает в Петроград и вновь совершенно напрасно.

14-го августа в день возвращения с Московского совещания по-видимому окончательно определяется невозможность идти вместе с Керенским, и генерал Крымов, вполне удовлетворенный течением событий, говорит начальнику одной из офицерских организаций:

– Все идет хорошо. Решили не иметь больше дела с «ними»…

24-го августа Савинков прибывает в Ставку, знакомит Верховного с проектами законов, вытекающих из Корниловской «записки», еще не подписанных, но прохождение которых в правительстве якобы обеспечено; сообщает о решении Керенского объявить Петроград и его окрестности на военном положении; просит от имени правительства, ввиду возможных осложнений, к концу августа подтянуть к Петрограду 3-ий конный корпус…

Это обстоятельство, знаменующее выход правительства, в частности Керенского, на путь предуказанный Корниловым, вызывает несомненно искренний ответ Корнилова:

– Я готов всемерно поддержать Керенского, если это нужно для блага отечества.

А в те же дни с Крымовым, не веривший совершенно ни Керенскому, ни Савинкову, происходит резкая перемена. Он ходит расстроенный, бледный, задумчивый, все еще не едет к корпусу, живет на вокзале в Могилеве. В доверительном разговоре с одним из своих соучастников он высказывает глубоко пессимистический взгляд:

– Конечно, надо идти до конца. Я отдаю делу свою голову. Но 90 процентов за неудачу. Мне необходимо ехать к корпусу, но я боюсь, что, когда я оставлю Могилев, здесь начнут творить несообразное…

Между тем, подготовка «выступления», ни время, ни формы которого не представлялись еще достаточно ясными, продолжалась.

Ставка, как орган управления – в ней не участвовала. Несколько лиц из состава Ставки были посвящены в истинный смысл принимаемых мер, все другие продолжали свою нормальную служебную деятельность, быть может только догадываясь о назревающих событиях и вполне сочувствуя предполагаемым замыслам Корнилова. Стратегическая подготовка велась при участии 1-го генерал-квартирмейстера, генерала И. П. Романовского, с которым связывали Корнилова добрые отношения еще по краткой совместной службе в 8-ой армии, и который имел личные доклады у него по этим вопросам. Начальник штаба Верховного, генерал Лукомский не быль посвящен в то, что делалось за кулисами. Как человек умный и хорошо разбиравшийся в явной и скрытой обстановке Ставки, он несомненно отдавал себе ясный отчет о всем происходящем. Нервничал, но до поры до времени молчал. Тем более, что возник вопрос о перемещении его на должность командующего одной из армий. Но когда обстановка назрела в такой степени, что долее занимать нейтральную позицию было невозможно, Лукомский в

середине августа переговорил по этому поводу с Романовским и затем поставил Корнилову вопрос о доверии. Беседа окончилась приобщением Лукомского к делу.

Подтягивались к пунктам сосредоточения и войска.

Очевидно, количеству их в Ставке не придавали большого значения, тем более, что элемент времени не давал возможности солидной организации. Чуть не на походе начиналось развертывание весьма слабой Осетинской бригады и формирование Туземного корпуса; во главе вновь учреждаемой Петроградской армии становился генерал Крымов, а командование имевшим решительное значение 3-м конным корпусом поручалось незнакомому с частями ген. Краснову, который не успел и прибыть к началу движения. Войска расползлись по широким квартирам и эшелонировались на огромном протяжении железных дорог вне всякого морального воздействия старшего командного состава. Еще 5-го августа командир Корниловского ударного полка, капитан Неженцев в продолжительном докладе убеждал своего шефа развернуть эту надежную добровольческую часть в дивизию. Корнилов тогда отказал, и полк на общих основаниях был включен в одну из дивизий 7 армии. Этот полк, оправдавший впоследствии вполне доверие Верховного, только 21 августа получил приказание двигаться на Северный фронт.

Наконец возможно было использовать для Петрограда Кубанскую бригаду стоявшую между Выборгом и Петроградом и для Москвы донскую дивизию, направляемую с Дона в Финляндию.

Когда в середине августа части с Юго-западного фронта двиались в район Псков – Луга – Дно, перед ними невольно должна была возникнуть мысль о возможности применения их сил и для разрешения вопросов внутренней политики Как учитывали они положение видно из хроники Корниловского полка[[36]]: «истинная цель переброски не была известна; известен был лишь конечный пункт маршрута местечко Усве, на берегу Балтийского моря. Но общее мнение было, что идем на Петроград». И далее: «полк выступил к поход в приподнятом, великолепном состоянии духа… Мы знали, что должен был через некоторый промежуток времени состояться государственный переворот[[37]]; (?) но по нашим сведениям он должен был заключаться в уничтожении власти Петроградского совдепа и в установлении или директории или диктатуры, но с согласия и с участием Керенского, что при тогдашних условиях гарантировало полный успех переворота».

Несомненно офицерская среда в конечном итоге была готова

на все. Но в толще войск настроение оказалось иное: 3-ий конный корпус, Кавказская Туземная дивизия, быть может и много еще других частей были тогда вполне способны идти с Корниловым против большевиков и против советов, но в отношении Временного правительства они сохраняли еще «нейтралитет»: ни за него, ни против него идти не хотели. Один только Корниловский ударный полк и Текинский, не взирая на весьма неопределенную позицию, занятую его командиром, могли безотговорочно следовать за Корниловым…

Так же на спех, несерьезно готовились офицерские организации.

В начале августа для объединения военной секции «Республиканского центра» был командирован член комитета офицерского союза, полковник С., который получил в свои руки все дело финансирования и полную свободу действий, без вмешательства комитета «Респ. центра». В половине августа при посредстве членов офицерского союза началась тайная переброска офицеров из армии в Петроград; одни направлялись туда непосредственно – по двум конспиративным адресам, другие через Ставку, имея официальным назначением обучение бомбометанию. Вследствие крайне легкомысленной организации дела, эти офицеры попали в весьма двусмысленное и тяжелое положение. Тогда же на секретном заседании в Могилеве под председательством Крымова выяснялся вопрос о вооруженном занятии Петрограда, составлялся план и распределялись роли между участниками. Полковник С. уверенно заявил, что у него решительно все готово… Киевской организации было указано по частям перебрасываться в Петроград, куда должны были собираться и могилевские «бомбометчики». По отношению ко всем им С. также успокоил совещание. Впоследствии оказалось, что для приезжих не было ни указаний, ни квартир, ни достаточных средств, и вся организация понемногу распылялась и расстраивалась.

Позднее в Петрограде руководители организации устраивали непрестанные заседания, но так как местом для них, в видах вящей конспирации, избирались обыкновенно наиболее посещаемые рестораны (Аквариум, Вилла Родэ), то эти заседания мало-помалу утрачивали деловой характер, обращаясь в товарищеские пирушки.

К тому же, еще на могилевском заседании руководителей прозвучало резким диссонансом заявление одного из видных участников, что сердце его к делу не лежит, в успех он не верит и потому просит освободить его от всяких обязанностей…

Таким образом, вся техническая подготовка носила характер

крайне несерьезный. Лишь опыт подавления предыдущих восстаний мог оправдать подобное легкомыслие. Опыт, доказавший, что с трусливой, распропагандированной толпой, которую представлял из себя Петроградский гарнизон и с неорганизованным городским пролетариатом может справиться очень небольшая дисциплинированная и понимающая ясно свои задачи часть. Правда, кроме Петрограда была ведь еще страна… Но удар по столице не мог не отозваться в положительном смысле в самых отдаленных углах государства…

Как бы то ни было, тетива натягивалась все сильнее, и стрела готова была вылететь. Направление ее во многом зависело от того курса государственной политики, который примет Временное правительство. Я говорю так потому, что не только военная среда, но и лица, стоявшие во главе войск и организаций, плохо разбирались в политической конъюнктуре, и личную политику Керенского отождествляли с правительственной. При этом все колебания Керенского, все причудливые зигзаги его в области государственного управления, его метания между Корниловым и советами – в простом преломлении военного мышления получали форму весьма элементарную: – С большевиками или против большевиков.

Наиболее странным и необъяснимым является то влияние, которое имели на ход событий окружавшие Корнилова политические деятели, в лице Завойко, Филоненко, Аладьина, за кулисами Добрынского и т. д. К ним примыкал полковник Голицын. Кроме Филоненко, перечисленных лиц я знаю. Появление всех их вокруг Корнилова внесло элемент некоторого авантюризма и несерьезности, отражавшихся на всем движении, связанном с его именем. Один из членов Временного правительства говорил мне, что когда 27-го на заседании правительства был прочитан корниловский список министров, с именами Филоненки, Аладьина и Завойка, то даже у лиц, искренне расположенных к Корнилову, опустились руки… Стоит прочесть повествование В. Львова, изображающее сцены и разговоры за кулисами корниловского выступления; и если даже одну половину отнести на долю своеобразного восприятия автора, то другая в достаточной степени рисует хлестаковщину и легкомыслие «политического окружения».

Я уже говорил, что Корнилов плохо разбирался в людях. Но это не все. Однажды, впоследствии на мой вопрос по поводу бывшего своего окружения, он ответил:

– У меня никого не было. Этих людей я знал очень мало. Но они по крайней мере хотели и не боялись работать.

И при этом расценивали свою работу не меньше как

министерскими портфелями. С большою легкостью Филоненко брал на себя внешние сношения русского государства и только после решительного протеста генерала Лукомского соглашался на портфель внутренних дел. Без колебаний Завойко принимал бремя русских финансов и т. д.

У Корнилова действительно никого не было. Все те общественные и политические деятели, которые, если не вдохновляли то, во всяком случае, всецело стояли на его стороне, предпочитали оставаться в тени, в ожидании результатов борьбы. Что касается Савинкова, то Корнилов никогда в точности не знал, кому Савинков собирается «воткнуть нож в спину» – ему или Керенскому.

Как же определялась политическая физиономия предполагавшейся новой власти? За отсутствием политической программы, мы можем судить только по косвенным данным» в составленном предположительно списке министров, кроме указанных выше лиц, упоминались Керенский, Савинков, Аргунов, Плеханов; с другой стороны – генерал Алексеев, адмирал Колчак, Тахтамышев, Третьяков, Покровский, гр. Игнатьев, кн. Львов. По свидетельству кн. Г. Трубецкого, этот кабинет должен был, по словам Корнилова, «осуществлять строго демократическую программу, закрепляя народные свободы, и поставить во главу угла решение земельного вопроса». А включение в кабинет Керенского и Савинкова должно было служить для демократии гарантией, что меры правительственного принуждения не перейдут известных границ и что «демократия не лишается своих любимых вождей и наиболее ценных завоеваний». К 29 августа приглашены были в Ставку на совещание по вопросу о конструкции власти Родзянко, кн. Львов, Милюков, В. Маклаков, Рябушинский, Н Львов, Сироткин, Третьяков, Тесленко и др. Полагаю, что весь этот перечень, указывая на некоторое перемещение «равнодействующей» вправо, не представлял еще ничего угрожающего для завоеваний революции. Тем более, что, выйдя из узкой и душной атмосферы конспирации на широкую всероссийскую арену, Корнилов несомненно изменил бы характер своего окружения.

Наконец, если даже говорить о сторонних чисто политических влияниях, то приведенные ниже строки из частного письма главного советчика Завойко, адресованного Корнилову в Быхов, и не предназначавшегося для посторонних, могут дать некоторое понятие о характере этого влияния. В письме, датированном 15 октября, дается современная политическая ориентировка:

> «В настоящее время общественные настроения слева направо рисуются мне в следующем виде: обе крайние (левая и правая) слились воедино и беснуются, а 20-го и позднее ожидаются выступления; лозунги, выкинутые на это число совершенно смешались; явственнее других слышится „долой Керенского“, „долой Временное правительство“, „Бей жидов“, „Вся власть советам“ и т. д. – одним словом черносотенцы и большевики идут вместе – это несомненно; левые трепещут и теряют позиции; Временное правительство дрожит и само в себе не уверено, заискивает у всех и на все стороны раскланивается; кадеты подняли головы и мнят себя „спасителями“; правые совсем возгордились и с каждым днем прут все настойчивее и определеннее. Между тем, линия поведения, единственно ведущая к победе – это средняя – здоровая и истинная демократия».

Правда, направление средней линии и те источники, которые должны питать новую власть из этой политической шарады совершенно не ясны, но, во всяком случае, в ней нет уклонения в сторону мракобесия и реакции.

О подготовительных мерах, предпринимаемых кругами, близкими к Ставке, знали и Керенский, и Савинков. Быть может не все, без деталей, но знали, в особенности Керенский – этого он не скрывает. Держа в своих руках нити организации уже в конце июля, он в течении августа месяца имел возможность прекратить их деятельность путем разрушения их руководящих органов и остановки движения частей на Северный фронт, если считал его опасным. Но лично для него эти меры имели бы смысл лишь в двух случаях: если бы он решительно повернул от Корнилова к советам или имел в руках прямое доказательство связи Верховного с конспиративными кругами, подозреваемыми в организации переворота. Ни того, ни другого не было. Результатом явилась та недостойная игра, которая велась с правительством, Ставкой и военным министерством – этот «танец среди мечей», из которых каждый при неосторожном прикосновении мог нанести стране смертельную рану.

Если события, предшествовавшие корниловскому выступлению, определять по терминологии Керенского словом заговор, то на протяжении августа месяца в чрезвычайно сложной и переплетающейся обстановке внутренней политики таких «заговоров» история отметить несколько[38]]. Корнилов (с Крымовым), Керенский и Савинков – против власти большевистских советов – в те дни, когда министр-председатель

решился принять корниловские законопроекты и недвусмысленное назначение 3 конного корпуса и тем вступил на путь открытой борьбы не только с большевизмом, но и с прикрывающими его советами. Корнилов (с Крымовым) и Савинков – против Керенского, когда последний колебался и брал обратно свои обещания. Наконец, Корнилов и Крымов против советов и Керенского, когда не было никакой надежды на соглашение. В этой последней комбинации не находилось места Савинкову, которому плохо верил Корнилов и вовсе не верил Крымов. Только поэтому Савинков и оказался на противоположном берегу.

Во всех этих перепитиях сложной борьбы оставался совершенно в стороне источник всероссийской верховной власти – Временное правительство. От имени его говорили или имя его поносили главные персонажи разыгравшейся исторической драмы в тех лишь случаях, когда торжественность обстановки, юридическая терминология или стилистическая форма того требовали.

Глава V. Провокация Керенского: миссия В. Львова, объявление стране о «мятеже» Верховного главнокомандующего

И так, к концу августа Керенский все еще не решался – идти ли с Корниловым против советов или с советами против Корнилова; Савинков взвешивал все возможности для себя от неизбежного конфликта; Корнилов, твердо решив вопрос о необходимости изменения конструкции власти, колебался еще в выборе методов его осуществления. Лишь один Крымов не сомневался и не колебался, считая, что вести с «ними» переговоры или ждать выступления большевиков не следует и что только силою оружия можно разрубить завязавшийся узел.

Обстоятельства, непосредственно вызвавшие корниловское выступление, изложены в книгах Керенского, Савинкова, В. Львова и во многих свидетельских показаниях, сделавшихся достоянием гласности. К сожалению, эти источники, за исключением непосредственного по своей наивной простоте рассказа В. Львова, носят отпечаток «следственного производства» и лишены поэтому надлежащей объективности. Неполнота в области фактов и аргументации присуща и показанию Корнилова. Зная хорошо его характер, я убежден, что это обстоятельство вызывалось соображениями чисто объективными: Корнилов мог сказать стране всю правду и не постеснялся бы сделать это с полной прямотой и искренностью, если бы… эта правда своими последствиями угрожала только ему лично, а не сотням людей, доверивших ему свою судьбу.

Попытаюсь разобраться в этом материале, внеся его оценку то понимание, которое создалось на основании личного общения со многими важнейшими участниками событий и очертив лишь главнейшие этапы корниловского выступления.

Поводом к развязке событий послужило несомненно роковое вмешательство в них б. члена правительства В. Львова – человека, которому В. Набоков дал следующую характеристику: «он был одушевлен самыми лучшими намерениями… поражал своей наивностью да еще каким то невероятно легкомысленным отношением… к общему положению… Он выступал всегда с большим жаром и одушевлением и вызывал неизменно самое веселое настроение не только в среде правительства, но даже у чинов канцелярии»… Попав в общество г. г. Аладьина и

Добрынского, с их трагикомической конспирацией, инсценировавшей важность участия их в назревающем перевороте, Львов проникся страхом и воспылал желанием спасти положение, приняв от них[39]] поручение переговорить с Керенским. Эти переговоры должны были привести к примирению между Корниловым и Керенским, к предоставлению полной мощи над всей вооруженной силой страны Верховному главнокомандующему и к созданию нового правительства на национальной основе.

22 августа между Керенским и Львовым произошел разговор, содержание которого установить трудно, так как он велся без свидетелей, а передача его обоими собеседниками совершенно не согласована. Поэтому я приведу выдержки из их показаний по важнейшим вопросам в параллельном изложении.

Керенский *(Из следственного дела. «Прелюдия большевизма». Англ. изд.)*

1. «Я не помню подробностей разговора, но суть его сводилась к следующему»…

Львов *(«Последние Новости» 1920 г. N 190.)*

1. (Львов передает разговор с большими деталями).

Керенский

2. «Он (Львов) продолжал повторять „мы можем сделать то или другое“… Я спросил его – кто „мы“ и от чьего имени он говорит.

– Я не имею права сказать вам. Я только уполномочен спросить, согласны ли вы войти в переговоры».

Львов

2. «– Я пришел по поручению.

– От кого? – Живо спросил Керенский.

– От кого, я не имею права сказать. Но доверьтесь мне, что раз я пришел, значит дело важное».

Керенский

3. «Львов пытался доказать мне, что я не имею поддержки».

Львов

3. «– Скажите, пожалуйста, на кого вы опираетесь?… У вас Петроградский совет уже состоит из большевиков и постановляет против вас.

– Мы его игнорируем – воскликнул Керенский.

– С другой стороны, продолжал я, негодование на

совет растет… (оно) переливается через край и выразится в резне.

– Вот и отлично! – воскликнул Керенский, вскочив и потирая руки. – Мы скажем тогда, что не могли сдержать общественного негодования, умоем руки и снимем с себя ответственность.

– (Но) первая кровь прольется ваша…

Керенский побледнел.

– Что же вы хотите, чтобы я сделал?

– Порвите с советом.

– Вы хотите, чтобы я быль изменником?

– Нет… Я желаю, чтобы вы подумали о России, а не о революции».

Керенский

4. «Он выразительно добавил:

– Я уполномочен спросить вас, хотите ли вы включить в правительство новые элементы и обсуждать этот вопрос?

Я ответил:

– Перед тем как дать ответ, я должен знать, с кем я имею дело. Кто те, кого вы представляете и чего они желают?

– Они общественные деятели.

– Бывают разного сорта общественные деятели… Хорошо, допустим, я не имею поддержки. Какими же реальными силами вы располагаете?

Он возразил, что я введен в заблуждение, что они опираются на серьезные силы, которых нельзя игнорировать».

Львов

4. – Кто же это вы? Союз георгиевских кавалеров? – саркастически улыбнулся Керенский.

– Это во первых конституционно – демократическая партия. Во вторых это торговопромышленники, в третьих это казачество, в четвертых – полковые части, наконец союз офицеров и многие другие.

– Что же вы хотите, чтобы я сделал?

– Протяните руку тем, которых вы от себя отталкиваете… Включите (в правительство) представителей правее кадет, с другой стороны пусть в нем будут социалисты-государственники, а не исключительно представители Совета.

– Ну все же нельзя обойтись без представителей

Совета, – сказал Керенский.

– Я не спорю, пусть так».

Керенский

5. «Конечно, я не дал ему никаких инструкций, никаких полномочий. Я считаю, что он, говоря от моего имени в Ставке так, как он это сделал, допустил „превышение полномочий“. Это несомненно, так как ничего подобного я ему не говорил… Львов не окончил разговора. Он спросил:

– Вступите ли вы в переговоры, если я вам скажу. (От кого прислан)?

– Скажите более определенно, что вы желаете слышать от меня и для чего.

Он ответил:

– До свиданья! И ушел».

Львов

5. «Керенский был тронут.

– Хорошо, – сказал он. Я согласен уйти. Но поймите же, что я не могу бросить власть;

я должен передать ее с рук на руки.

– Так дайте мне поручение, сказал я, войти в переговоры от вашего имени со всеми теми элементами, которые я сочту необходимым.

– Я даю вам это поручение, – сказал Керенский. – Только прошу вас все держать в секрете.

И крепко пожаль мне руку».

(В оригинале – таблица. Прим. составителя fb-книги).

Предоставляя читателям разобраться в этих противоречиях, я не могу, однако, не указать, что диалог, изображенный на левой половине листа, в особенности в заключительной части своей, представляется чрезвычайно странным. Ясно чувствуется, что так нелепо закончиться он не мог. Хотя Керенский в своем показании усиленно подчеркивает, что разговору со Львовым он не придал никакого значения, но тут же рядом неоднократно заявляет, что вопрос – от чьего имени сделано было предложение и та таинственность, которой облек его Львов, в связи с имевшимися у премьера ранее сведениями о заговоре, «произвела большое впечатление»… Что касается меня, я убежден в правильности версии Львова и считаю, что в этот день, если не свершилось грехопадение Керенского перед лицом революционной

демократии, то развернулась окончательно нить «великой провокации».

Львов, пройдя опять через все сомнительное чистилище корниловского окружения, попадает 24-го в Верховному. Их разговор, веденный в этот день и на следующий,» в противоположность предыдущему, в сущности своей является совершенно установленными.

Керенский *(Показание следственной комиссии)*

1. «Войдя ко мне в кабинет Львов сразу заявил мне:

– Я от Керенского».

Львов *(«Последние Новости» 1920 г. N 192)*

1. – Я от Керенского. – Глаза Корнилова сверкнули недобрым огнем».

Керенский

2. В. Н. Львов заявил мне от имени Керенского, что если по моему мнению дальнейшее участие последнего в управлении страной не даст власти необходимой силы и твердости, то Керенский готов выйти из состава правительства. Если Керенский может рассчитывать на поддержку, то он готов продолжать работу.

Львов

2. – Я имею сделать вам предложение. Напрасно думают, что Керенский дорожит властью. Он готов уйти в отставку, если вам мешает. Но власть должна быть законно передана с рук на руки. Власть не может ни валяться, ни быть захваченной. Керенский идет на реорганизацию в части в том смысле, чтобы привлечь в правительство все общественные элементы. Вот вам мое предложение – это есть соглашение с Керенским».

Керенский

3. «Я очертил общее положение страны и армии, заявил что по моему глубокому убеждению единственным выходом из тяжелого положения является установление военной диктатуры и немедленное объявление страны на военном положении.

Львов

3. – Передайте Керенскому, что… дальше медлить нельзя… Необходимо, чтобы Петроград был введен в сферу военных действий и подчинен военным законам, а все тыловые и фронтовые части подчинены Верховному главнокомандующему… В виду грозной опасности,

угрожающей России, я не вижу иного выхода, как немедленная передача власти Верховным правительством в руки Верховного главнокомандующего.

Я перебил Корнилова:

– Передача одной военной власти или также гражданской?

– И военной, и гражданской.

– Быть может лучше просто совмещение должности Верховного главнокомандующего с должностью председателя совета министров? – вставил я.

– Пожалуй, можно и по вашей схеме… Конечно все это (только) до Учредительного Собрания.

Керенский

4. «Я заявил, что не стремлюсь к власти и готов немедленно подчиниться тому, кому будут вручены диктаторские Полномочия – будь то сам Керенский[[40]], ген. Алексеев, ген. Каледин или другое лицо. Львов заявил, что не исключается возможность такого решения, что в виду тяжелого положения страны, Временное правительство, в его нынешнем составе, само придет к сознанию необходимости установления диктатуры и, весьма возможно, предложить мне обязанности диктатора. Я заявил, что если бы так случилось, …я от такого предложения не отказался бы».

Львов

4. «Корнилов продолжал:

– Кто будет Верховным главнокомандующим, меня не касается, лишь бы власть ему была передана Временным правительством.

Я сказал Корнилову:

– Раз дело идет о военной диктатуре, то кому же быть диктатором, как не вам».

Керенский

5. «Я просил Львова передать Керенскому, что, независимо от моих взглядов на его свойства, его характер и его отношения ко мне, я считаю участие в управлении страной самого Керенского и Савинкова безусловно необходимым».

Львов

5. «– Я не верю больше Керенскому… и Савинкову я не верю… Впрочем, – продолжал Корнилов – я могу предложить Савинкову портфель военного министра, а

Керенскому портфель министра юстиции»…

Керенский

6. «Я просил передать Керенскому, что по имеющимся у меня сведениям в Петрограде в ближайшие дни готовится выступление большевиков и на Керенского готовится покушение; поэтому я прошу Керенского приехать в Ставку, чтобы договориться с ним окончательно. Я просил передать ему, что честным словом гарантирую его полную безопасность в Ставке».

Львов

6. «– Затем – продолжал он – предупредите Керенского и Савинкова, что я за их жизнь нигде не ручаюсь, а потому пусть они приедут в Ставку, где я их личную безопасность возьму под свою охрану».

(В оригинале – таблица. Прим. составителя fb-книги).

Таким образом, предложения Корнилова ультимативного требования не носили, тем более, что вопрос о личности диктатора в случае возможности сговора, оставлялся открытым. На другой день уже, 26-го, Корнилов в беседе с Филоненко, Завойко и Аладьиным допускает возможность коллективной диктатуры, в виде Совета народной обороны, с участием Верховного главнокомандующего в качестве председателя.

Корнилов не имел ни малейшего основания не верить Львову. Он знал, что Львов пользуется репутацией человека – не серьезного, путаника, но честного. Сущность же всего разговора была настолько определенна, что не допускала невольного искажения его передачи. Наконец, Львов был ведь недавно министром в правительстве Керенского!

Перед Корниловым в первый раз встали реальные перспективы мирного, легального разрешения вопроса о реорганизации власти, по крайней мере, в первой стадии его, так как в дальнейшем несомненно предстояла решительная и жестокая борьба с советами.

Первый, самый важный вопрос был близок к разрешению, и это обстоятельство меняло весь характер борьбы, ставя ее в легальные рамки.

После разговора с Корниловым Львов опять попал в «чистилище». Оглушенный всей этой хлестаковщиной корниловского «политического окружения», всеми «тысячью курьеров», он совершенно потерял масштаб в оценке веса,

значения и роли своих собеседников. Добрынский[41]], могущий «по первому сигналу выставить до 40 тысяч горцев и направить их куда пожелает» – Аладьин, якобы посылающий корниловскую телеграмму Донскому атаману Каледину с приказом начать движение на Москву и от имени Верховного и офицерского союза требующий, чтобы ни один министерский пост не замещался без ведома Ставки… Завойко, назначающий министров и «собирающийся созвать Земский собор». Профессор Яковлев, разрешающий каким-то неслыханным способом аграрную проблему…

Вернулся Львов в Петроград, окончательно сбитый с толку в той атмосфере беспардонной фронды и кричащей о себе и своих тайнах на каждом шагу «конспирации», которая окружала Ставку. И привез целый ряд «государственных актов», составленных и врученных ему Завойко: проект манифеста к армии от имени Корнилова, принимавшего на себя верховную власть; проект воззвания к солдатам по поводу дарования им земельных наделов – аграрная программа Яковлева, если верить Львову, сильно напоминавшая демагогический проект большевистского генерала Сытина[42]]; список министров нового кабинета, тут же наскоро набросанный Завойко при благосклонном участии самого Львова[43]], словесное внушение Завойко, развивавшая по своему указания Корнилова, – предъявить правительству три пункта: 1) «немедленная передача правительством военной и гражданской власти в руки Верховного главнокомандующего 2) немедленная отставка всех членов Временного правительства и 3) объявление Петрограда на военном положении». Наконец, вернулся Львов с твердым убеждением, основанным на всем слышанном, что Корнилов желает спасти Керенского, но что в Ставке вынесли Керенскому «смертный приговор». Это последнее обстоятельство по-видимому окончательно нарушило душевное равновесие Львова и отразилось на всем характере второго разговора его с Керенским и в значительной мере повлияло на решение последнего. Маленькая житейская подробность, вероятно небезынтересная для бывшего премьера, который в своей книге не раз останавливается на грозившей ему смертельной опасности, очень туманно касаясь источников ее: 26-го для него в Могилеве, в губернаторском доме, приготовили комнату рядом со спальней Корнилова, выселив для этой цели одного из членов его семьи… Верховный не играл своим словом.

26-го августа Львов – у Керенского и передает ему результаты своих переговоров в Ставке. Посоветовав Керенскому не ехать в Ставку, Львов предъявил ему те предложения, которые были формулированы Завойко. «Когда я услышал все эти нелепости –

показывает Керенский – мне показалось, что он (Львов) болен или случилось действительно что-то очень серьезное… Те, кто были возле меня, могут засвидетельствовать, как сильно я был расстроен… Успокоившись несколько, я умышленно уверил Львова, что больше не имею ни сомнений, ни колебаний и решил согласиться. Я стал объяснять Львову, что я не могу представить Временному правительству такое сообщение без доказательств… Под конец я попросил его изложить письменно все корниловские предложения».

Львов написал:

> «1) Объявить в Петрограде военное положение.
>
> 2) Вся военная и гражданская власть должна быть передана в руки Верховного главнокомандующего.
>
> 3) Все министры, не исключая премьера должны подать в отставку. Временно исполнительная власть должна быть передана товарищам министров впредь до сформирования правительства Верховным главнокомандующим».
>
> *В. Львов Петроград 26-го августа.*
>
> «Было необходимо – говорит Керенский – доказать немедленно формальную связь между Львовым и Корниловым настолько ясно, чтобы Временное правительство было в состоянии принять решительные меры в тот же вечерь… заставив Львова повторить в присутствии третьего лица весь его разговор со мной».

Для этой цели был приглашен помощник начальника милиции Булавинский, которого Керенский спрятал за занавеской в своем кабинете во время второго посещения его Львовым. Булавинский свидетельствует, что записка была прочтена Львову и последний подтвердил содержание ее, а на вопрос, «каковы были причины и мотивы, которые заставили генерала Корнилова требовать, чтобы Керенский и Савинков приехали в Ставку», он не дал ответа.

Львов категорически отрицает версию Керенского. Он говорит: «Никакого ультимативного требования Корнилов мне не предъявлял. У нас была простая беседа, во время которой обсуждались разные пожелания в смысле усиления власти. Эти пожелания я и высказал Керенскому. Никакого ультимативного требования (ему) я не предъявлял и не мог предъявить, а он потребовал, чтобы я изложил свои мысли на бумаге. Я это сделал, а он меня арестовал. Я не успел даже прочесть написанную мною

бумагу, как он, Керенский, вырвал ее у меня и положил в карман».

Теперь уже все государственные вопросы отошли на задний план. Глава правительства в наиболее критический момент для государства перестает взвешивать его интересы и, будучи во власти одной болезненно-навязчивой идеи, стремится лишь всеми силами к отысканию неопровержимых улик против «мятежного» Верховного. Перед нами проходит ряд сцен, в которых развернулись приемы сыска и провокации: эпизоды с запиской Львова и с Булавинским, и наконец, разговор Керенского совместно с Вырубовым по аппарату с Корниловым от имени премьера и… отсутствующего Львова. Больше всего Керенский боится, чтобы ответ Корнилова по самому существенному вопросу – о характере его предложений – не внес каких либо неожиданных изменений в толкование «ультиматума», которое он старался дать предложению Корнилова в глазах страны и правительства. Думский и политический деятель, правитель волею революции и юрист по профессии не мог не сознательно облечь в такие умышленно темные формы главное существо вопроса:

– Просим подтвердить, что Керенский, может действовать, согласно сведениям, переданным Владимиром Николаевичем (Львовым).

– Вновь подтверждая тот очерк положения, в котором мне представляется страна и армия, очерк сделанный мною В. Н-чу, с просьбой доложить вам, я вновь заявляю, что события последних дней и вновь намечающиеся повелительно требуют вполне определенного решения в самый короткий срок.

– Я, Владимир Николаевич(?), вас спрашиваю: то определенное решение нужно исполнить, о котором вы просили известить меня Александра Федоровича только совершенно лично; без этого подтверждения лично от вас А. Ф. колеблется мне вполне доверить.

– Да, подтверждаю, что я просил вас передать А. Ф-чу мою настойчивую просьбу приехать в Могилев.

– Я, А. Ф., понимаю ваш ответ, как подтверждение слов, переданных мне В. Н. Сегодня этого сделать и выехать нельзя. Надеюсь выехать завтра. Нужен ли Савинков?

– Настоятельно прошу, чтобы Б. В. приехал вместе с вами… Очень прошу не откладывать вашего выезда позже завтрашнего дня. Прошу верить, что только сознание ответственности момента заставляет меня так настойчиво просить вас.

– Приезжать ли только в случае выступления, о котором идут слухи, или во всяком случае?

– Во всяком случае.

Этот разговор обличает в полной мере нравственную физиономию Керенского, необычайную неосмотрительность Корнилова и сомнительную роль «благородного свидетеля» Вырубова.

Только в этот день поздно вечером, 26 августа, поехал к своим войскам Крымов, которому были даны Верховным две задачи: 1) «В случае получения от меня или непосредственно на месте (сведений) о начале выступления большевиков, немедленно двигаться с корпусом на Петроград, занять город, обезоружить части петроградского гарнизона, которые примкнут к движению большевиков, обезоружить население Петрограда и разогнать советы; 2) По окончании исполнения этой задачи генерал Крымов должен был выделить одну бригаду с артиллерией в Ораниенбаум и по прибытии туда потребовать от Кронштадтского гарнизона разоружения крепости и перехода на материк»[[44]].

Этот документ, которому Керенский придает такое уличающее значение в квалификации корниловского выступления «мятежом», по существу вытекал непосредственно из всей создавшейся обстановки: войска Крымова по требованию правительства шли к Петрограду; ожидавшееся большевистское выступление неизбежно втягивало в себя советы, так как почти половина состава Петроградского совета была большевистской; так же неизбежно было, безотносительно даже от чисто большевистского восстания, выступление революционной демократии в лице советов в тот день, когда объявлены были бы первые меры «правительственной твердости». Наконец, самый сдвиг правительства от Совета к Ставке, который после Львовской миссии и последнего телеграфного разговора считался вопросом ближайших одного – двух дней, должен был произвести оглушительный взрыв в недрах советов… Что же касается ликвидации Кронштадтского мятежного гнезда, то согласие на нее было дано министром-председателем еще 8-го августа.

Утроить 27-го Ставка была поражена неожиданной новостью: получена была телеграмма, передающая личное распоряжение Керенского, в силу которого Корнилов должен был немедленно сдать должность Лукомскому и выехать в Петроград…

Стремление «охранять завоевания революции», нерешительность, обман и провокация – можно называть какими угодно именами те действия и бездействию, которые проявлены были министром-председателем, но сущность их не подлежит никакому сомнению: они были лишены государственной целесообразности и предвидения. Керенский с большим удовлетворением повторяет «образное выражение» Некрасова, что

«благодаря приезду Львова, стало возможным взорвать приготовленную мину на два дня раньше срока». Но это «образное выражение» значительно теряет свое радостное содержание, если вспомнить, что мину взорвали в теле Родины и что можно было, не взрывая, просто потушить фитиль, ставь на прямую открытую дорогу, не угрожавшую завоеваниям революции, и даже в начале не причинявшую большого ущерба политической карьере премьера.

Керенский дает сбивчивые показания о порядке разрешения вопроса об удалении с поста Корнилова, утверждая, что мера эта была принята Временным правительством в заседании 26 августа. Никаких письменных следов такого постановления нет; бурное заседание это, окончившееся в 5 часов утра, обсуждало главным образом требование Керенского о предоставлении ему чрезвычайных (диктаторских) полномочий и хотя и выяснило принципиальное согласие почти всех министров вручить председателю свою отставку, но к окончательным решениям не привело. По крайней мере, по свидетельству Кокошкина, на другой день, 27-го, на 11 часов утра было назначаю новое заседание «для оформления – как заявил Некрасов – всех принятых решений». Но заседание не состоялось. Члены правительства собрались только 28-го на частное заседание, которое явилось последним, так как Керенский действовал уже самостоятельно, считая себя восприявшим единолично верховную власть. «Временное правительство» – этот фетиш, который так крикливо и лицемерно оберегался Керенским от притязай Корнилова, «дерзнувшего предъявить Временному правительству требование передать ему власть», было им распущено и отстранено от участия в государственном управлении. «Дерзать», следовательно, можно было только Керенскому. Тем не менее, среди правительства и советских кругов царила полная растерянность. В Смольном происходили день и ночь тревожные заседания и принимались необычайные меры изолирования здания и самообороны. Еще 28-го новый диктатор в частном заседании бывшего правительства определял положение почти безнадежным: крымовские войска шли на Петроград, и испуганному воображению диктатора уже рисовалось приближение страшных кавказских всадников «Дикой дивизии»… Усиливалось и политическое одиночество премьера: большинство бывших членов правительства высказалось за мирную ликвидацию Корниловского выступления и образования директории с участием генерала Алексеева, с совмещением им должности Верховного; а кадеты, поддержанные извне Милюковым, настаивали даже на том, чтобы Керенский покинул

правительство, передав власть генералу Алексееву. В этом назначении они видели не только перемену правительственной политики, но и наилучший способ бескровной ликвидации корниловского выступления, так как не было сомнений, что Корнилов подчинится тогда Алексееву.

В то же время ряд лиц, в том числе генерал Алексеев, Милюков, президиум казачьего Совета и другие вели настойчивые переговоры с Керенским о примирении его со Ставкой. Даже вдохновитель Керенского г. Некрасов, сыгравший такую печальную Голь в поспешном оповещении страны о «мятеже Корнилова[[45]], по свидетельству Кишкина, в этот день, «лежа в изнеможении на кушетке» на вопрос Керенского ответил:

– Я нахожу, что без того или иного участия генерала Алексеева в составе правительства нельзя разрешить кризиса.

Керенский не хотел слышать ни об оставлении власти, ни о примирении с «мятежным генералом».

– Оставшись один, – заявил он, – я ухожу к «ним».

И ушел в соседнюю комнату, где его ожидали Церетелли и Гоц.

В окончательном итоге судьбы движения решили «они», т. е. советы.

27-го августа Керенский поведал стране о восстании Верховного главнокомандующего, причем сообщение министра-председателя начиналось следующей фразой: «26 августа генерал Корнилов прислал ко мне члена Государственной Думы В. Н. Львова с требованием передачи Временным правительством всей полноты военной и гражданской власти, с тем, что им по личному усмотрению будет составлено новое правительство для управления страной».

В дальнейшем Керенский, триумвират Савинков, Авксеньев и Скобелев, петроградская дума с А. А. Исаевым и Шрейдером во главе и советы лихорадочно начали принимать меры к приостановке движения войск Крымова и, вместе с тем, целым рядом воззваний, обращенных к народу, армии, комитетам, железнодорожникам, местным комиссарам, советам и т. д. стремились опорочить движение и вызвать ненависть против его главы. Во всех этих воззваниях не было правдивого, фактического и юридического обоснования, – они отражали лишь более или менее холерический темперамент составителей. «Мятеж», «измена родине и революции», «обнажение фронта» – вот главные мотивы Но постыднее всех было воззвание Чернова от имени исполнительного комитета Всероссийского съезда крестьянских депутатов. Оно начиналось обращением к «крестьянам в серых солдатских шинелях» и приглашало их «запомнить проклятое имя

человека», который хотел «задушить свободу, лишить вас (крестьян) земли и воли!» Участник Циммервальда, член редакционного комитета газеты «На чужбине», состоявшей на службе у германского генерального штаба, пролил слезу и над участью «родной земли», страдающей от «опустошения, огня, меча чужеземных императоров», – земли, от защиты которой отвлекаются «мятежником» войска.

А в то же время новый петроградский генерал-губернатор, Б. Савинков, собирал революционные войска для непосредственной обороны Петрограда – занятие тем более трудное, что петроградский гарнизон отнюдь не имел желания отдавать свою жизнь за Временное правительство, а юнкерские караулы в Зимнем Двор же, по свидетельству того же Савинкова, приходилось сменять по несколько раз в ночь из опасения «измены». В организации военной обороны, за отсутствием доверия к командному составу, принимали деятельное участие такие специалисты военного дела, как Филоненко и… Чернов, причем последний «объезжал фронт и высказывал неожиданные (стратегические) соображения»[[46]]…

Между прочим, в какой-то газете или информации промелькнуло совершенно нелепое сведение об участии генерала Алексеева совместно с Савинковым в тактической разработке плана обороны подступов к столице против корниловских войск. Не взирая на всю вздорность этого слуха, Корнилов склонен был верить ему и однажды в Быхове, передавая мне этот эпизод, сказал:

– Я никогда не забуду этого.

С большим трудом мне удавалось рассеять его предубеждение.

Должен заметить, что какие то влияния все время усиленно работали над созданием недружелюбных отношений между генералами Алексеевым и Корниловым; искажались факты, передавались не раз вымышленные злые и обидные отзывы, долетавшие извне даже до Быхова. Кому то нужно было внести элемент раздора в ту среду, которую не разъедало политическое разномыслие.

В последние дни августа Петроград представлял из себя разворошенный муравейник. И не взирая на громкие, возбуждающие призывы своих вождей, – призывы, скрывавшие неуверенность в собственных силах, революционная демократия столицы переживала дни смертельной тревоги. Приближение к Петрограду «ингушей» заслонило на время все прочие страсти, мысли и интересы. А некоторые представители верховной власти торопливо запасались уже заграничными паспортами…

Глава VI. Выступление генерала Корнилова. Ставка, военноначальники, союзные представители, русская общественность, организации, войска генерала Крымова – в дни выступления. Смерть генерала Крымова. Переговоры о ликвидации выступления

Если в Петрограде положение было крайне неопределенным, то еще больший хаос царил в противном лагере.

Керенский приказал вступить в верховное командование последовательно начальнику штаба Верховного, генералу Лукомскому[47]], затем главнокомандующему Северным фронтом генералу Клембовскому. Оба отказались: первый – бросив обвинение Керенскому в провокации, второй – «не чувствуя в себе ни достаточно сил, ни достаточно уменья для предстоящей тяжелой работы»… Генерал Корнилова придя к убеждению, что «правительство снова подпало под влияние безответственных организаций и, отказываясь от твердого проведения в жизнь (его) программы оздоровления армии, решило устранить (его), как главного инициатора указанных мер[48]], – решил не подчиниться и должности не сдавать.

27-го в Ставку начали поступать петроградские воззвания, и Корнилов, глубоко оскорбленный их внешней формой и внутренней неправдой, ответил со своей стороны рядом горячих воззвании к народу, армии, казакам. В них, описывая исторический ход событий, свои намерения и «великую провокацию»[49]], он клялся довести страну до Учредительного собрания. Воззвания, искусственные по стилю[50]], благородные и патриотические по содержанию, остались гласом вопиющего в пустыне. «Мы» и без них всей душой сочувствовали корниловскому выступлению; «они» – шли только за «реальными посулами и подчинялись только силе. А, между тем, во всех обращениях слышалась нота душевной скорби и отчаяния, а не сознание своей силы. Кроме того, тяжело переживая события и

несколько теряя равновесие, Корнилов в воззвании 27 августа неосторожно заявил, что „Временное правительство, под давлением большевистского большинства советов, действует в полном согласии с планами германского генерального штаба, и одновременно с предстоящей высадкой вражеских сил на Рижском побережье, убивает армию и потрясает страну внутри“. Это неосторожное обобщение всех членов Временного правительства, которых, за исключением быть может одного, можно было обвинять в чем угодно, только не в служении немцам, произвело тягостное впечатаете на лиц, знавших действительный взаимоотношения между членами правительства, и особенно на тех, кто в среде его были духовно сообщниками Корнилова.

Образ, сравнение, аналогия – в редакции Завойко выражены были словом «согласие». Без сомнения и Корнилов не придавал прямого значения этому обвинению Временного правительства, ибо 28-го он уже приглашал его в Ставку, чтобы совместно с ним выработать и образовать «такой состав правительства народной обороны, который, обеспечивая победу, вел бы народ русский к великому будущему».

28-го Керенский потребовал отмены приказания о движении 3-то конного корпуса на Петроград. Корнилов отказал и, на основании всей создавшейся обстановки придя к выводу, что «правительство окончательно подпало под влияние Совета», решил: «выступить открыто и, произведя давление на Временное правительство, заставить его: 1. исключить из своего состава тех министров, которые по имеющимся (у него) сведениям были явными предателями Родины; 2. перестроиться так, чтобы стране была гарантирована сильная и твердая власть». Для оказания давления на правительство он решил воспользоваться войсками Крымова, которому 29 августа послано было соответствующее приказание.

И так, жребий брошен – началась открыто междоусобная война.

Мне не раз приходилось слышать упреки по адресу Корнилова, что он сам лично не стал во главе войск, шедших на Петроград и не использовал своего огромного личного обаяния, которое так вдохновляло полки на поле сражения… По-видимому и войсковые части разделяли этот взгляд. По крайней мере в хронике Корниловского ударного полка читаем: «настроение корниловцев было настолько приподнятое, что, прикажи им генерал идти с ним на Петроград, много было шансов, что взяли бы. Корниловцы увлекли бы за собой и других… Но почему-то генерал Корнилов, первоначально решившись, казалось, все

поставить на карту, внезапно заколебался и, остановившись на пол дороге, не захотел рискнуть своим последним козырем – Корниловским и Текинским полками». Интересно, что и сам Корнилов впоследствии считал крупной своей ошибкой то обстоятельство, что он не выехал к войскам… Несомненно появление Корнилова с двумя надежными полками решило бы участь Петрограда. Но оно вряд ли было выполнимо технически: не говоря уже о том, что с выходом полков из Ставки весь драгоценный аппарат ее попал бы в руки местных советов, предстояло передвинуть могилевские эшелоны, исправляя пути, местами вероятно с боем – на протяжении 65-и верст! 26-го Корнилов ждал приезда Керенского и Савинкова;

27-го вел переговоры в надежде на мирный исход, а с вечера этого дня пути во многих местах были разобраны и бывшие впереди эшелоны Туземной дивизии и 3-го конного корпуса безнадежно застряли, разбросанные на огромном протяжении железнодорожных линий, ведущих к Петрограду. Было только две возможности: не ведя переговоров, передав временное командование генералу Лукомскому, выехать 27-го с одним эшелоном на Петроград, или позже перелететь на аэроплане в район Дуги, рискуя, впрочем, в том и другом случае вместо «своих» попасть к «чужим», так как с Крымовым всякая связь была прервана. Обе эти возможности сильно ударялись в область приключений.

В Могилеве царило тревожное настроение. Ставка работала по-прежнему, и в составе ее не нашлось никого, кто бы посмел, а, может быть, кто бы хотел не исполнить приказания опального Верховного… Ближайшие помощники Верховного, генералы Лукомский и Романовский и несколько других офицеров сохраняли полное самообладание. Но в души многих закрадывались сомнение и страх. И среди малодушных начались уже панические разговоры и принимались меры к реабилитации себя на случай неуспеха. Бюрократическая Ставка по природе своей могла быть мирной фрондой, но не очагом восстания.

В гарнизоне Могилева не было полного единства: он заключал в себе до трех тысяч преданных Корнилову – корниловцев и текинцев – и до тысячи солдат Георгиевского батальона, тронутых сильно революционным угаром и уже умевших торговать даже своими голосами[51] … Георгиевцы, однако, чувствуя себя в меньшинстве, сосредоточенно и угрюмо молчали; иногда, впрочем, происходили небольшие побоища на глухих городских улицах между ними и «корниловцами». И когда 28-го августа генерал Корнилов произвел смотр войскам гарнизона, он был встречен могучими криками «ура» одних и

злобным молчанием других. «Никогда не забыть присутствовавшим на этом историческом параде – говорится в хронике Корниловского полка – небольшой, коренастой фигуры Верховного… когда он резко и властно говорил о том, что только безумцы могут думать, что он, вышедший сам из народа, всю жизнь посвятивший служению ему, может даже в мыслях изменить народному делу. И задрожал невольно от смертельной обиды голос генерала, и задрожали сердца его корниловцев. И новое, еще более могучее… „ура“ покатилось по серым рядам солдат. А генерал стоял с поднятой рукой… словно обличая тех, кто нагло бросил ему обвинение в измене своей Родине и своему народу»…

Если бы этот могучий клик мог докатиться до тех станций, полустанков, деревень, где столпились и томились сбитые с толку, не понимавшие ничего, в том что происходит, эшелоны крымовских войск!..

Город притих, смертельно испуганный всевозможными слухами, ползущими из всех углов и щелей, ожиданием междоусобных схваток и кровавых самосудов.

* * *

Старый губернаторский дом на высоком, крутом берегу Днепра, в течение полугода бывший свидетелем стольких исторических драм, хранил гробовое молчание. По мере ухудшения положения стены его странно пустели и в них водворилась какая-то жуткая, гнетущая тишина, словно в доме был покойник. Редкие доклады и много досуга. Опальный Верховный, потрясенный духовно, с воспаленными глазами и тоскою в сердце, целыми часами оставался один, переживая внутри себя свою великую драму, драму России. В редкие минуты общения с близкими, услышав робко брошенную фразу, с выражением надежды на скорый подход к столице войск Крымова, он резко обрывал:

– Бросьте, не надо.

Все понемногу рушилось. Последние надежды на возрождение армии и спасение страны исчезали. Какие еще новые факторы могли спасти положение?

Разговор по телеграфу 27 августа с Савинковым и Маклаковым не мог внушить никакого оптимизма. Из них первый в пространном и нравоучительном наставлении убеждал Корнилова «во имя несчастной родины нашей» подчиниться Временному правительству; второй – «принять все меры (чтобы)

ликвидировать недоразумение без соблазна и огласки»… Было ясно, что искусственная редакция обращения Савинкова имеет целью личную реабилитацию его в глазах кругов, стоявших на стороне Керенского, оправдание тех загадочных для революционной демократии и самого Керенского связей, которые существовали между военным министерством и Ставкой. Или, как говорил сам Савинков, – «для восстановления исторической точности».

Поддержка «маршалов»?

Корнилов не верил в стремление к активному выступлению высшего командного состава и не считал поэтому необходимым посвящать его заблаговременно в свои намерения; если не ошибаюсь, никуда, кроме Юго-западного фронта, ориентировка не посылалась. По существу главнокомандующие и командующие не располагали ведь ни реальными силами, ни реальной властью, находясь в почетном, иногда и не в почетном плену у революционных организаций. Тем не менее, создать узлы сопротивления путем формирования послушных частей, хотя бы для удержания в своих руках – более или менее длительного – военных центров и штабных технических аппаратов, было конечно и необходимо, и возможно. Но для этого нужен был некоторый подбор главных начальников, а для всего вместе – время. Между тем, быстро прогрессирующий распад страны и армии, по мнению Корнилова, не давал возможности планомерной подготовки. Наконец, Корнилов считал, что в случае успеха – признание всех старших военных начальников было обеспечено, а при неуспехе – меньшее число лиц вовлекалось в дело и под ответ. Судьба, однако, распорядилась иначе, создав совершенно непредвиденную обстановку длительного конфликта, в решении которого не только материальные силы, но и моральное воздействие, требовавшее, однако,

некоторого самопожертвования и риска, имело бы огромное значение.

Такой нравственной поддержки Корнилов не получил.

27-го на обращение Ставки из пяти главнокомандующих отозвалось четыре[[52]] : один – «мятежным» обращением к правительству, трое – лояльными, хотя и определенно Сочувственными в отношении Корнилова. Но уже в решительные дни 28-29-го, когда Керенский предавался отчаянию и мучительным колебаниям, обстановка резко изменилась: один главнокомандующий сидел в тюрьме; другой (Клембовский) ушел и его заменил большевистский генерал Бонч-Бруевич, принявший немедленно ряд мер к приостановке движения крымовских

эшелонов; трое остальных засвидетельствовали о своем полном и безотговорочном подчинении Временному правительству в форме достаточно верноподданной. Генерал Пржевальский, донося Керенскому, счел нужным бросить укор в сторону Могилева: «я остаюсь верным Временному правительству, и считаю в данное время всякий раскол в армии и принятие ею участия в гражданской войне гибельным для отечества»… Еще более определенно высказался будущий военный министр, ставленник Керенского, полковник Верховский, объявивший в приказе по войскам Московского округа: «Бывший Верховный главнокомандующий… в то самое время, когда немцы прорываются у Риги на Петроград, снял с фронта три лучших казачьих дивизии и направил их на борьбу с правительством и народом русским»…

По мере того, как получались все эти сведения, настроение Ставки все более падало, а Верховный все больше уходил в себя, в свои тяжкие думы.

Поддержка союзников?

Нужно заметить, что общественное мнение союзных стран и их правительств, вначале чрезвычайно благожелательно настроенных к Керенскому, после июльского разгрома армии резко изменилось. И посланный правительством для ревизии наших заграничных дипломатических миссий Сватиков имел полное основание суммировать свои впечатления следующими словами доклада: «Союзники смотрят с тревогой на то, что творится в России. Вся западная Европа – с Корниловым, и ее пресса не перестает твердить: довольно слов, пора приступить к делу»[[53]]. Еще более определенные и вполне доброжелательные отношения сохранили к Верховному иностранные военные представители. Многие из них представлялись в эти дни Корнилову, принося ему уверения в своем почитании и искренние пожелания успеха; в особенности в трогательной форме это делал британский представитель. Слова и чувства. Реально они проявились только в декларации, врученной 28 августа Терещенко Бьюкененом, в качестве старейшины дипломатического корпуса. В ней в изысканной дипломатической форме послы единодушно заявляли, что «в интересах гуманности и в желании устранить непоправимые действия они предлагают свои добрые услуги (посредников) в единственном стремлении служить интересам России и делу союзников».

Впрочем, Корнилов тогда не ждал и не искал более реальных форм интервенции.

Поддержка русской общественности?

Произошло нечто чудесное: русская общественность внезапно

и бесследно сгинула.

Как я говорил!» уже, Милюков, быть может еще два, три видных деятеля упорно и настойчиво поддерживали в Петрограде необходимость примирения с Корниловым и коренной реорганизации Временного правительства. Кадетская группа в правительстве героически и беспомощно боролась за то же в самой среде его. Какое фатальное недоразумение вырастало на почве ненависти к правительству в целом и непонимания его политических группировок, когда и этим четырем «праведникам» в общей «содомской» куче, как оказывается, угрожали большие бедствия со стороны конспиративных организаций, очевидно превышавших свои полномочия… Либеральная печать, в том числе «Речь» и «Русское слово», в первые дни в спокойных лояльных статьях так определяли элементы выступления: «преступность» способов борьбы, правильность целей ее (»подчинение всей жизни страны интересам обороны») и почвенность движения, обусловленная положением страны и ошибками власти. Довольно робко говорили о примирении… Вот и все.

Исчезло и «совещание общественных деятелей», в лице оставленного им «совета». Председатель его М. Родзянко, еще три недели тому назад от имени совещания заявивший, что «всякие покушения на подрыв авторитета (Корнилова) в армии и в России считает преступным», теперь говорил[[54]]:

– Никогда ни в какой контрреволюции я не участвовал и во главе фронды не стоял. О всех злобах дня я узнал только из газет и сам к ним не причастен. А вообще могу сказать одно: заводить сейчас междоусобия и ссоры – преступление перед Родиной.

Ab uno disce omnes!

Офицерство?

Не было никакого сомнения, что масса офицерства всецело на стороне Корнилова и с замиранием сердца следить за перипетиями борьбы, им кровно близкой; но, не привлеченное к ней заблаговременно в широком масштабе и в солидной организации, в той обстановке, в какой оно жило – офицерство могло дать лишь нравственную поддержку.

Одна надежда оставалась на вооруженную силу, каковую представляли войска Крымова и петроградские организации, которые должны были выступить одновременно с войсками. Но с Петроградом, кроме военного министерства, связи не было никакой; о Крымове и сосредоточении его частей ничего не было известно; летчик и целый ряд посланных Ставкой офицеров застревали в дороге или были перехвачены, и никто не возвращался.

Предчувствовалось что-то недоброе…

В Петрограде, как я уже говорил, царил полный развал. Казалось необыкновенно легким с ничтожными силами овладеть столицей, так как в ней не было войск, искренно преданных Временному правительству. Но не было и самоотверженных «корниловцев». Неожиданный поворот событий 27 августа привел в полную растерянность петроградскую организацию. Вновь пошли непрерывные сборища и совещания, обнаружившая только нерешительность и подавленное настроение руководителей.

Между тем, генерал Алексеев тщетно добивался благоприятного разрешения кризиса. Та растерянность, которая царила в Петрограде, и те настроения, которые преобладали среди бывших членов правительства, как будто давали надежду на образование нового правительства с участием в нем в первенствующей роли генерала Алексеева, если с его стороны будет проявлена твердость и настойчивость. Впоследствии он подвергся суровым обвинениям за то, что не сумел использовать положение и согласился стать в подчиненную роль к Керенскому. Приводимый ниже эпизод дает некоторое объяснение его решению.

29 августа ротмистр Шапрон – один из участников организации – застал его в крайне угнетеном состоянии. Старый генерал сидел в глубоком раздумье, и из глаз его текли крупные слезы. Он сказал:

– Только что был Терещенко. Уговаривают меня принять должность начальника штаба при Верховном – Керенском… Если не соглашусь, будет назначен Черемисов… Вы понимаете, что это значит? На другой же день корниловцев расстреляют!.. Мне противна предстоящая роль до глубины души, но что же делать? Неужели нельзя связаться с Крымовым и вызвать сюда хоть один полк? Ведь у вас тут есть организация… Отчего она бездействует? Найдите во что бы то ни стало С. и заставьте его приступить к действиям…

Один из крупных участников конспирации – летчик – заявил, что все летательные машины испорчены; взялся лично пробраться к Крымову на автомобиле, но скоро вернулся, объяснив, что сломалась машина. Этим, собственно, попытка связаться с конным корпусом и ограничилась. Наводит на размышление тот факт, что в те же дни по всему району «внутреннего театра» совершенно беспрепятственно проезжал комиссар Станкевич, а к крымовским войскам проникали свободно всевозможные делегации.

Главного руководителя петроградской военной организации, полковника С., разыскивали долго и безуспешно. Он, как

оказалось, из опасения преследования, скрылся в Финляндию, захватив с собой последние остатки денег организации, что-то около полутораста тысяч рублей. Впоследствии имена нескольких участников организации я встретил в агентурных списках лиц, косвенно содействовавших большевикам или промотавших деньги конспирации. И техническая, и материальная часть дела были поставлены из рук вон плохо.

29-го Керенский отдал указ об отчислении от должностей и предании суду «за мятеж» генерала Корнилова и старших его сподвижников.

Ночь на 30-е послужила решительным поворотным пунктом в ходе событий: генерал Алексеев, ради спасения жизни корниловцев, решился принять на свою седую голову бесчестие – стать начальником штаба у «главковерха» Керенского. Само назначение Керенского на этот пост вносило в дело обороны страны элементы какой-то злой и глупой шутки. Об этом кратком, всего несколько дневном периоде своей жизни Алексеев говорил впоследствии всегда с глубоким волнением и скорбью.

В этот день, 30-го, Ставка потеряла в значительной мере надежду на успех. Между часом и тремя часами дня произошел исторический разговор по телеграфу между Алексеевым и Корниловым. Генерал Алексеев сообщал о принятом «после тяжкой внутренней борьбы» назначении, обуславливая его тем, чтобы «пере ход к новому управлению совершился преемственно и безболезненно» для того, чтобы «в корень расшатанный организм армии не испытал еще лишнего толчка, последствия которого могут быть роковыми»…

Минута для такого перехода очевидно уже назрела, так как еще до этого разговора была заготовлена Лукомским от имени Верховного телеграмма Временному правительству… В ней указывалось на недопустимость перерыва руководства операциями хоть на один день и на необходимость немедленного приезда в Ставку генерала Алексеева, который «с одной стороны мог бы принять на себя руководство по оперативной части, с другой – явился бы лицом, могущим всесторонне осветить обстановку»… Корнилов обещал свою лояльность, под некоторыми условиями: 1. объявления о создании сильного и не подверженного влиянию безответственных организаций правительства, «которое поведет страну по пути спасения и порядка»; 2. прекращения арестов генералов и офицеров и приостановки предания суду генерала Деникина и подчиненных ему лиц;

3. прекращения в интересах армии распространения приказов и воззваний, порочащих имя Корнилова, еще не сдавшего

верховного командования.

Алексеев обещал предъявить эти требования правительству – по-видимому без веры в успех, потребовать временного оставления за Корниловым оперативного руководства войсками и ускорить свое прибытие. Керенский действительно отдал приказ о выполнении армиями всех оперативных приказаний Корнилова и Ставки и даже о продолжении прерванных перевозок, за исключением… направленных к Петрограду, Москве, Могилеву и на Дон, так как – сказано было в телеграмме – «современное положение дел не требует сосредоточения войск к указанным пунктам».

Это не была еще безусловная сдача, как ошибочно поняли в Петрограде.

30-го Корнилов просил Алексеева дать ему возможность переговорить по прямому проводу с Крымовым… 31-го он объявлял войскам и населению Могилева: «генерал Алексеев едет из Петрограда в Могилев для ведения со мной от имени Временного правительства переговоров… Являясь поборником свободы и порядка в стране, я остаюсь непреклонным в защите таковых и буду отстаивать их во все время ведения переговоров».

В ночь с 31-го августа на 1-ое сентября происходит весьма характерный разговор по аппарату между генералами Алексеевым (из Витебска) и Лукомским, который я приведу в подробных извлечениях:

А.: Циркулирующие сплетни и слухи окутывают нежелательным туманом положение дел, а главное вызывают некоторые распоряжения Петрограда, отдаваемые после моего отъезда оттуда и могущие иметь нежелательные последствия. Поэтому прошу ответить мне: 1. считаете ли, что я следую в Могилев с определенным служебным положением, или же только для переговоров. 2. Предполагаете ли, что с приемом мною руководства армиями дальнейший ход событий будет определяться прибывающей в Могилев вероятно 2-го сентября или вечером 1-го сентября следственной комиссией под председательством главного (военного и) морского прокурора… От этого будет зависеть мое собственное решение, так как я не могу допустить себе быть простым свидетелем тех событий, которые подготовляются распоряжениями и которых безусловно нужно избежать.

Л.: Сегодня вечером генерал Корнилов говорил мне, что он смотрит на вас, как на лицо, предназначенное на должность наштаверха, и предполагал после разговоров с вами и показав вам ряд документов, которых вы вероятно не имеете, дать вам свое окончательное решение, считая, что, быть может,

ознакомившись с делом, вы несколько измените тот взгляд, который, по-видимому, у вас сложился. Во всяком случае уверяю вас, что генерал Корнилов не предполагал устраивать из Могилева форт Шаброль и в нем отсиживаться. Я убежден, что ради того, что бы не прерывать оперативной деятельности и дабы в этом отношении не произошло каких либо непоправимых несчастий, вам не будет чиниться никаких препятствие по оперативным распоряжениям. Вот все, что я знаю. Если этот ответ вас не удовлетворяет, я могу разбудить генерала Корнилова и дать вам дополнительный ответ. Нужно ли?

А.: Да, придется разбудить, так как всего сказанного вами недостаточно. После тяжелого размышления я вынужден был силою обстоятельств принять назначение, во избежание других решений, которые могли отразиться на армии. В решении этом я руководствовался только военною обстановкою, не принимая во внимание никаких других соображений. Но теперь возникает вопрос существенной важности: прибыть в Могилев только для оперативной деятельности, при условии, что остальная жизнь армии будет направляться другою волею, невозможно. Или придется взять все, или отказаться совершенно от появления в Могилеве. Я сказал вам, что после моего отъезда из Петрограда, оттуда идут распоряжения, идущие помимо меня, но прямо касающийся событий, которые могут разыграться в Могилеве. Поэтому явиться невольным участником столкновения двух воль, не от меня зависимых, я считаю для себя и недопустимым, и недостойным. Или с прибытием в Могилев я должен стать ответственным распорядителем по всем частям жизни и службы армии, или совсем не должен принимать должности. В этом отношении не могу допустить никакой неясности и недоговоренности, так как это может повлечь за собой непоправимые последствия. Я понимаю, что документы могут осветить мне ход событий. Думаю, что мой взгляд не идет в разрез с сутью этих документов. Но в настоящую минуту вопрос идет о практическом разрешении создавшегося положения.

Л.: Для получения мне вполне определенного ответа от генерала Корнилова на ваши вопросы было бы крайне желательно получить от вас освещение двух вещей: 1. что делается с Крымовым и 2. решено ли направить сюда что-либо для ликвидации вопроса.

А.: Я задержал сегодня свой отъезд до 10 ч. утра, что бы дождаться приезда генерала Крымова в Петроград. Видел его и разговаривал с ним. На пути видел бригадных командиров Туземной дивизии и читал записку, присланную им от генерала Крымова. Записка говорит об отводе Туземной дивизии в район

станции Дно и о прибытии начальников дивизии и бригадных командиров в Петроград. Сейчас в Витебске циркулируют неясные слухи, что с генералом Крымовым что-то случилось, но слухам этим я не доверяю и предполагаю, что он остался в Петрограде. Крымов говорил мне, что в 12 часов он должен был быть у Керенского. На 2-ой ваш вопрос должен сказать, что при отъезде я заявил, что беру на себя спокойно, без всяких толчков вступить в исполнение обязанностей. К глубокому сожалению на пути узнал, что непосредственно из Петрограда отдаются распоряжения, которые становятся мне известными совершенно случайно, – о направлении средств для насильственной, если нужно, ликвидации. Потому то я и высказал, что для меня и недостойно, и недопустимо пребывание при таких условиях в Могилеве. Вот причина, вследствие которой для меня необходим ясный ответ. От него будет зависеть мое решение. Но, к сожалению, я не могу сейчас повлиять на остальные распоряжения. Сознаю только глубоко, что допустить до подобной ликвидации было бы большой ошибкой.

Л.: Генерал Корнилов просит вас приехать, как полномочного руководителя армиями. Но вместе с этим ген. Корнилов настаивает, что бы вы приняли все меры к тому, чтобы никакие войска из других пунктов теперь в Могилев не вводились и к нему не подводились, ибо по настроению здешних войск произойдет кровопролитие, которое ген. Корнилов считает необходимым избежать. Со своей стороны он примет меры, дабы никаких волнений в Могилеве не было. Ген. Корнилов просит вас ответить, можете ли вы ручаться, что эта его просьба, чтобы войска к Могилеву не подводились, будет исполнена?

А.: Сделаю все.

Таким образом, только утром 1-го сентября генерал Корнилов принял окончательное решение подчиниться судьбе.

Что же случилось с войсками генерала Крымова? Вновь назначенный командиром 3-го конного корпуса генерал Краснов прибыль в Могилев только 28 августа. Получив в Ставке приказание ехать через Псков и, узнав там местонахождение частей корпуса, немедленно двигаться по направлению к Петрограду, он задержался в Пскове, где и был арестован.

Приказ о движении к Петрограду войска 3-го конного корпуса и Туземной дивизии получили 27 августа. Войска эти были разбросаны на обширном пространстве между Ревелем – Валком – Псковом – Дно. Ко времени, когда окончательно остановилось железнодорожное движение, передовые части оказались далеко от Петрограда, и только одна бригада Туземной дивизии (Черкесский и Ингушский полки подч. командой князя Гагарина)

дошла своими передовыми частями до станции Семрино, впереди которой и завела бескровную перестрелку с «правительственными» войсками, находившимися у Антропшина. «Правительственные войска», т. е. по преимуществу тыловые запасные батальоны, не выражали склонности к серьезному сопротивлению, нервничали и не раз уходили, бросая свои позиции от одного слуха о приближении казаков и «диких». Путаница была настолько велика, что не редко казачьи квартирьеры мирно разъезжали в районе своего противника и располагали там свои части. Приказы от Крымова высшими штабами получались, но технически их распространение по эшелонам, разбросанным на сотни верст, встречало трудно преодолимые препятствия. До 29-го войска шли на Петроград официально для поддержки Временного правительства. В этот же день Крымов объявил о столкновении Керенского с Верховным и призывал оставаться послушными распоряжениям последнего, напоминая постановление казачества о недопустимости смены Корнилова. Вместе с тем, подтверждал свой приказ двигаться на Петроград, где по его сведениям «начались беспорядки». Такая неопределенная постановка цели уже ни казаков, ни солдат удовлетворить не могла. Вопрос стоял проще и определеннее:

С Временным правительством против Корнилова или с Корниловым против Временного правительства.

Весь старший командный элемент, если и не был в полном составе посвящен в планы и намерения Крымова, то конечно отдавал себе ясный отчет в том, на чью сторону стать. В отношении офицерства, которое далеко не все знало, но все понимало обстановку, разномыслия также не было. Все знали, что необходимо спешить к Петрограду. Необходимо было, следовательно, начальникам, рискуя головами, увлечь за собою части, бросить станции, где шла бешенная противокорниловская агитация, бросить свои обозы и хвосты, жертвуя сосредоточением всех сил, и идти в поле, деревнями, походом, форсированными маршами, только бы скорее дойти до столицы.

Но дерзания не было. Томление, нерешительность, беспомощность потеря времени давали печальные результаты. Тем временем работал «Викжель», задерживая повсюду «корниловские эшелоны». Новый управляющий министерством путей сообщения Ливеровский проявил необыкновенную деятельность в деле противодействия сосредоточению войск. Одновременно двинулись навстречу эшелонам множество делегаций от Керенского, Совета, петроградской думы, мусульманского съезда, от всяких местных комитетов и т. д. Правительственные делегации имели «мандаты» на устранение и

аресты начальствующих лиц. В свою очередь войсковые части послали своих делегатов в Петроград, и мало помалу накопившееся напряжение или рассасывалось в потоке революционных словопрений или срывалось насилиями над офицерами.

Керенский говорит, что корниловское движение было бескровно подавлено в самом начале только благодаря энтузиазму и единению всей страны, которая соединилась вокруг национальной демократической власти[55]]… Какое пристрастие к пафосу! Ведь энтузиазма был уже похоронен на полях июньского наступления, «цветы души» растоптаны на Московском совещании, власть давно опошлена и обескровлена, и вместо яркого светоча ее тлел только фитиль еще два месяца, пока не погас в конце октября окончательно.

Нет, причины были более реальные: энергичная борьба Керенского за сохранение власти и борьба советов за самосохранение, полная несостоятельность технической подготовки корниловского выступления и инертное сопротивление массы, плохо верившей Корнилову, мало знавшей его цели или, во всяком случае, не находившей их материально ценными…

К 30-му на подступах к Петрограду у Крымова была только одна бригада кавказских всадников.

Метод, так успешно примененный в отношении Корнилова со львовской миссией, Керенский повторил и с Крымовьим. Он послал в окрестности Дуги помощника начальника своего кабинета, полковника генерального штаба Самарина, к которому Крымов издавна питал большое расположение, «для выяснения положения», в действительности же, чтобы безболезненно изъять Крымова из войск. Есть основание думать, что Самарин представил Крымову положение безнадежным, подчинение Ставки окончательным и от имени Керенского заверил, что последний желает принять все меры, чтобы потушить возникшее столкновение и представить его стране в примирительном духе. Ни одному слову Керенского Крымов не верил, но Самарину поверил. И поехал в Петроград.

Ранним утром 31-го он вел долгую беседу с генералом Алексеевым в вагоне поезда, уже готового к отправлению. Никто, кроме их двух, не присутствовал в этот глубоко драматичный момент при их беседе, облеченной покровом тайны, и положившей предел корниловскому выступлению. Одно во всяком случае ясно: потерявший сердце Алексеев не мог влить твердость в мятущуюся душу Крымова.

Алексеев уехал в Могилев «для ликвидации Ставки», Крымов

поехал к Керенскому. Его видели проезжавшего по городу в автомобиле – бледного, задумчивого, не замечавшего приветствовавших его знакомых. В Зимнем дворце произошел разговор его с Керенским, который последний передает в английском издании своей книги[56]] в оскорбительном для памяти покойного изложении. По его словам Крымов – смелый, решительный, прямой, честный Крымов – был тих, скромен и подавлен якобы тем, что сказал неправду ему – Керенскому, прозорливо разгадавшему истинную роль Крымова. О том бурном, гневном, обличительном слове Крымова, которое вырывалось из-за стен кабинета, он молчит. В не оставляющей его мании величия, Керенский дает понять между строк английскому читателю, что на финальный выстрел не осталось без влияния и то обстоятельство, что он – Керенский не подал при прощании руки генералу Крымову… Англичанам можно рассказывать что угодно: они не знают, что Крымов всегда и открыто выражал свое глубокое презрение к Керенскому.

Впрочем и Керенский должен был признать посмертно «честную, сильную и храбрую натуру этого человека» и «неоспоримое право его на величайшее уважение своих политических врагов».

Крымов оказался обманутым. Уйдя от Керенского, выстрелом из револьвера он смертельно ранил себя в грудь. Через несколько часов в Николаевском военном госпитале, под площадную брань и издевательства революционной демократии, в лице госпитальных фельдшеров и прислуги, срывавшей с раненого повязки, Крымов, приходивший изредка в сознание, умер.

Но, невидимому и мертвым «политический враг» был страшен и для министра-председателя: публичные похороны были запрещены, и вдове покойного пришлось пройти через новое тяжелое испытание – просить Керенского о разрешении честного погребения. Было, наконец, разрешено похоронить покойного по христианскому обряду, но не позже шести часов утра в присутствии не более девяти человек, включая и духовенство. Вечная ему память!

4-го сентября полковник Самарин за отличие по службе был произведен в генерал-майоры и назначен командующим войсками Иркутского военного округа.

Глава VII. Ликвидация Ставки. Арест генерала Корнилова

Победа Керенского – прелюдия большевизма

«Направление средств для ликвидации Ставки», о котором говорил генерал Алексеев в своем разговоре с Лукомским, принимало угрожающий характер. Еще по пути в Могилев Алексеев узнал, что Витебский и Смоленский комитеты собирают войска для похода на Ставку. В Орше он встретил сводный отряд, набранный из войск Западного фронта, под начальством подполковника Короткова. Отряд шел по приказу Керенского, распорядившегося уже после отъезда генерала Алексеева, о «начатии решительных действий против Могилева»[57], причем военное министерство указывало и способы действия[[58]]… 31-го передовые части отряда находились уже на станции Лотва, последней перед Могилевым. По иронии судьбы Коротков был тот самый председатель боевой контактной комиссии» фронтового комитета, который во время моего июльского наступления явился к генералу Маркову и с неподдельным чувством отчаяния докладывал:

– Господин генерал! Мы совершенно бессильны. Нас никто не слушает. «Они» не хотят идти…

Теперь «они» шли.

Даже 1-го сентября, когда генерал Алексеев находился уже в Могилеве, командующий войсками Московского округа, полковник Верховский говорил ему по аппарату: «сегодня выезжаю в Ставку с крупным вооруженным отрядом для того, чтобы покончить то издевательство над здравым смыслом, которое до сих пор имеет место! Корнилов, Лукомский, Романовский, Плющевский-Плющик, Пронин и Сахаров должны быть арестованы немедленно и препровождены»… Революционный неофит был так нетерпелив в своем желании лично разгромить Ставку, что не соглашался подождать ответа отвлеченного к другому аппарату Алексеева: «выеду непременно… не имею времени ожидать, отдаю распоряжения об отъезде»…

Генерал Алексеев, беседуя с Керенским по аппарату[[59]], указав на создаваемые им осложнения, говорил: «я принял на себя обязательство путем одних переговоров окончить дело… Мне не было сделано даже намека на то, что уже собираются войска для решительных действий против Могилева». Керенский оправдывался и необычайно торопил ликвидацию: «нами был

получен за эти сутки целый ряд сообщений устных и письменных, что Ставка имеет большой гарнизон из всех родов оружия, что она объявлена на осадном положении, что на 10 верст в окружности выставлено сторожевое охранение, произведены фортификационные работы с размещением пулеметов и орудий… Принимая всю обстановку во внимание, не считаю возможным подвергать вас и следственную комиссию возможному риску и предложил Короткову двигаться. Никаких других распоряжений каким бы то ни было другим частям от меня не исходило. Я предлагаю вам передать генералу Корнилову, что он должен сдать вам должность, отдать себя в распоряжение власти, демобилизовать свои войсковые части немедленно, причем ответственность на эти части не упадет, если это будет сделано немедленно… Все это должно быть выполнено… в 2-х часовой срок с момента окончания нашего с вами разговора… Если через два часа не получу от вас ответа, я буду считать, что вы захвачены генералом Корниловым и лишены свободы действий».

Генерал Алексеев возражал, что должность он принял, «безопасность и свобода действий его и следственной комиссии вполне обеспечена», что «в Могилеве никакой артиллерии нет, никаких фортификационных сооружений не возводилось, войска вполне спокойны, и только при наступлении подполковника Короткова столкновение неизбежно». Наконец, что в течение двух часов он не в состоянии собрать всех военных начальников.

Но Керенский очевидно не верил еще в благополучный исход ликвидации и проявлял великое нетерпение и страх. В исходе дня начальник его кабинета, полковник Барановский вновь обратился в Ставку с напоминанием:

> «Верховный главнокомандующий требует, чтобы ген. Корнилов и его соучастники были арестованы немедленно, ибо дальнейшее промедление грозит неисчислимыми бедствиями. Демократия взволнована свыше меры и все грозит разразиться колоссальным взрывом, последствия которого трудно предвидеть. Этот взрыв в форме выступления советов и большевизма ожидается не только здесь, в Петрограде, но и в Москве и других городах. В Омске арестован командующий войсками, власть перешла к совету. Обстановка такова, что дальше медлить нельзя: или промедление и гибель всего дела спасения родины, или немедленные решительные действия, аресты указанных вам лиц и тогда возможна еще борьба. А. Ф. Керенский ожидает, что государственный разум подскажет ген. Алексееву

решение и он примет его немедленно: арестует Корнилова и его соучастников… Сегодня, сейчас необходимо дать это в газеты, чтобы завтра утром об аресте узнала вся организованная демократия. Для вас должны быть понятны те политические движения, которые возникли и возникают на почве обвинения власти в бездействии и попустительстве. Советы бушуют и разрядить атмосферу можно только проявлением власти и арестом Корнилова и других. Повторяю дальнейшее промедление невозможно. Нельзя дальше только разговаривать, надо решаться и действовать»…

В этом панического характера обращении[[60]] к Вырубову с исчерпывающей ясностью установлены взаимоотношения министра председателя с советами и те личные побуждения, которые двигали им во всей истории столкновения. Это впечатление не устраняет введенная в обращении вводная фраза о спасении Родины…

Алексеев ответил:

«Около 12½ часов главковерху отправлена мною телеграмма, что войска, находящиеся в Могилеве верны Временному Правительству и подчиняются безусловно главковерху. Около 22 часов генералы Корнилов, Лукомский, Романовский, полковник Плющевский-Плющик арестованы. Приняты меры путем моего личного разъяснения совету солдатских депутатов установления полного спокойствия и порядка в Могилеве; послан приказ полковнику Короткову не двигать войска его отряда далее станции Лотва, так как надобности в этом никакой нет. Таким образом, за семь часов времени пребывания моего в Могилеве были исполнены только дела и исключены разговоры. Около 24-х часов прибывает следственная комиссия, в руки которой будут переданы чины уже арестованные, и будут арестованы по требованию этой комиссии другие лица, если в этом встретится надобность. С глубоким сожалением вижу, что мои опасения, что мы окончательно попали в настоящее время в цепкие лапы советов, являются неоспоримым фактом».

* * *

Когда велись еще последние переговоры, они имели по

существу информационный, формальный характер, ибо психологически в Ставке все уже было кончено. Еще 29-го весьма поспешно уехал из Могилева Завойко – «подымать Дон»[61]; Многие чины Ставки перестали ходить на занятия; большая группа толпилась днем и ночью в том доме, в котором должен был остановиться генерал Алексеев… В хронике Корниловского полка описывается сцена, как 31-го в одной группе «приближенных» шли разговоры о «бегстве», и только один из присутствовавших с возмущением заявил, что долг всех, стоявших заодно с генералом, до конца оставаться при нем и разделить его участь, хотя бы это была смерть. Заместитель арестованного председателя Главного комитета офицерского союза спрашивал Алексеева по прямому проводу «как быть» и докладывал своему почетному председателю, что «союз до последней минуты шел по тому пути, на который Вы его благословили, и Главный комитет всюду поддерживал те требования, которые предъявлялись генералом Корниловым для устроения армии»… Доклад заканчивался тревожной фразой: «смею добавить, что судьба Главного комитета и всего союза в Ваших руках»…

С полками простился Корнилов в лице их командиров. Он был спокоен и внешне ничем не проявлял внутреннего состояния своей души.

– Передайте Корниловскому полку – сказал он – что я приказываю ему соблюдать полное спокойствие, я не хочу, чтобы пролилась хоть одна капля братской крови.

Капитан Неженцев, командир Корниловского полка, рыдая, как ребенок, говорил:

– Скажите слово одно, и все корниловские офицеры отдадут за вас без колебания свою жизнь…

Более сдержанным был командир Текинского полка, полковник Кюгельген, который на вопрос приближенных Корнилова, можно ли ожидать от полка самопожертвования, ответил:

– Я не знаю.

Полковник Кюгельген не сроднился с полком и говорил только от себя.

Впрочем, все уже было кончено и решено. Даже нечто страшное, еще не высказанное, но уже овладевшее мыслью и сдавившее ее в холодных тисках обреченности…

Наступила ночь, и губернаторский дом погрузился в тревожную, жуткую тишину. Верховный подводил итоги своей жизни. Все кончено, все усилия его спасти страну и армию пошли прахом; поддержки тех, на кого надеялся, не встретил; надежды более нет. Жить дольше не стоит.

Я не знаю, но я уверен, что в эти минуты на решение Верховного влияло и связывающее слово, сказанное им 28-го в «обращении к народу»:.. «Долг солдата, самопожертвование гражданина Свободной России и беззаветная любовь к Родине заставили меня в эти грозные минуты бытия отечества не подчиниться приказанию Временного правительства… Я заявляю всему народу русскому, что предпочитаю смерть устранение меня от должности Верховного». Завойко позволил себе, не имеет нравственного права, поместить в проекте воззвания столь индивидуального характера фразу, которая могла бы исходить лишь от самого лица, обращавшегося с воззванием, оказывала несомненно нравственное давление, и исключение которой для Верховного было психологически трудно или даже невозможно.

Но Корнилов не мог уйти из жизни тайно. Его мысли разгадала друг-жена, делившая с ним 22 года его трудную, беспокойную жизнь… На другой день в той самой комнате, где некогда томился духом свергаемый император, происходила новая мистерия, в которой шла борьба между холодным отчаянием и беспредельной преданной любовью.

Выйдя из кабинета мать сказала дочери:

– Отец не имеет права бросить тысячи офицеров, которые шли за ним. Он решил испить чашу до дна.

Так как все чины Ставки, причастные к выступлению, подчинились добровольно, то арест их, произведенный 1-го сентября генералом Алексеевым, имел скорее характер необходимой предосторожности против «правительственных отрядов» и революционной демократии, враждебно настроенной в отношении «мятежников». Губернаторский дом окружили постами георгиевцев, внутренние караулы заняли верные текинцы. На другой день генерала Корнилова и его соучастников перевели в одну из могилевских гостинниц, а в ночь на 12 сентября всех повезли в Старый Быхов, в наскоро приспособленное для заключения арестованных здание женской гимназии.

Ставка и город начали мало помалу приходить в себя. Гарнизон несколько еще волновался: корниловцы испытывали тяжелое чувство недоумения, внутренних противоречий и подавленности от пережитой драмы; георгиевцы подняли головы. Ген. Алексеев поддержал нравственно первых, пристыдил вторых, обещая прочесть длинные списки полученных ими за городские выборы «денежных подарков» от еврейского населения Могилева. На первом же смотру корниловцев он громко в присутствии собравшейся толпы солдат и граждан сказал, что Корнилов не виновен в приписываемых ему преступлениях, и что праведный

суд снимет с него тяжелое и необоснованное обвинение…

Одно это коренное расхождение во взглядах до крайности затрудняло совместную службу его с Керенским. Но и кроме этого атмосфера Ставки становилась совершенно невыносимой: «корниловские мероприятия для оздоровления армии были отброшены; армия волновалась, офицерство попало в еще более мучительное положение. „Я сознаю – писал Алексеев одному из союзных военных агентов – свое бессилие восстановить в армии хоть тень организации: комиссары препятствуют выполнению моих приказов, мои жалобы не доходят до Петрограда; Керенский рассыпается в любезностях по телеграфу и перлюстрирует мою корреспонденцию; не взирая на все обещания его, судьба Корнилова остается загадочной“[62] … Еще более определенно высказался генерал Алексеев в письме своем к Каледину: «три раза я взывал к совести Керенского, три раза он давал мне честное слово, что Корнилов будет помилован; на прошлой неделе он показывал мне даже проект указа, одобренный, якобы, членами правительства… Все ложь и ложь! Керенский не подымал даже этого вопроса… По его приказу украдены мои записки. Он или к… или сумасшедший. По моему – к… В этом письме совершенно ново требование помилования. В Быхове шел разговор исключительно о реабилитации, и амнистия считалась совершенно неприемлемой. Также безрезультатны были его усилия вырвать из Бердичева находившуюся там в тюрьме группу генералов. Генерал Алексеев, не достигнув в этом отношении никаких результатов в смысле воздействий на Керенского, написал горячее письмо редактору „Нового Времени“ Б. Суворину, требуя, чтобы немедленно была поднята газетная кампания „против убийства лучших русских людей и генералов“. Действительно, вскоре печать занялась нашим делом, хотя, впрочем, усилия ее только разжигали еще более страсти бердичевских военно-революционных организаций.

Но совершенно невыносимым стало положение ген. Алексеева, когда он получил неожиданное сведение, что его действия вызывают осуждение со стороны… ген. Корнилова, который считает, что с ликвидацией Ставки роль генерала Алексеева окончена и что дальнейшее пребывание столь авторитетного лица на посту начальника штаба только укрепляет морально позицию Керенского… Дальнейшая жертва оказалась ненадобной, и генерал Алексеев ушел.

На должность начальника штаба Верховного был призван генерал Духонин, начальник штаба Западного фронта.

Корниловское выступление закончилось.

В ряду катаклизмов русской революции – это был едва ли не

наиболее спорный в оценке его целесообразности и последствий. По первому вопросу я высказался раньше: нет надобности говорить о целесообразности явления, когда оно стало исторически неизбежным. По второму… Керенский считает корниловское движение «прелюдией большевизма» – оценка, имеющая вполне правильное обоснование, если только довести мысль до логического конца, определив, какой именно момент движения считать «прелюдией».

Таким моментом была без сомнения победа Керенского.

Победа Керенского – поражение Корнилова. Этот этап в историческом ходе революции своими ближайшими видимыми результатами, вне исторической перспективы, заслонил истинный характер движения, создав теории настолько же элементарные, насколько и близорукие: «контрреволюция», «бонапартизм», «авантюризм». Между тем, выступление Корнилова было только хотя и односторонней, но яркой вспышкой на фоне долгой, тягучей и бездейственной борьбы между социалистической и либеральной демократией[63]]. Корпус Крымова и офицерские организации, не взирая на преобладание, быть может, в командном составе их элементов более правых, являлись все же в силу сложившейся обстановки и характера организующего центра, орудием либеральной демократии. Поэтому, когда в стане своих врагов корниловцы увидели всю революционную демократию и особенно приостановивший на время свое вооруженное выступление левый сектор ее (большевиков) – это было понятно и естественно. Но что из среды рыхлой, боязливой или инертной интеллигентской массы, сохранявшей «нейтралитет», на т о и стороне оказалось много, очень много видных либеральных деятелей – это являлось совершенно неожиданным, представляя большое и роковое историческое недоразумение. Газеты начала сентября наполнены резолюциями отделов партии народной свободы и общественных комитетов, из которых одни призывали к осторожности в. вопросе осуждения Корнилова, другие выносили ему резкое осуждение, третьи присоединялись к клеветническим выпадам против него революционных организаций. Даже, когда последние призывали русских воинов «не верить тем, кто во имя восстановления старого порядка готовь предать свободу, предать родину и открыть путь немцам».

И это говорили или по крайней мере с этим соглашались те самые люди, которые только две недели тому назад на Московском совещании пели «осанну» Верховному главнокомандующему, возлагая на него все свои надежды.

Вообще, в эти дни несуществующее[64]] правительство

получило от самых разнообразных кругов огромную массу телеграмм и постановлений, выражавших доверие к нему, сочувствие и обещание активной поддержки: революционный этикет имел точно установленные и строго обязательные формы, скрывавшие истинную сущность…

Русская либеральная демократия в этот исторический момент проявила удивительное отсутствие прозорливости и даже простого политического такта. Все ждали, все хотели изменения порядка государственного управления, не могли заблуждаться относительно тех путей, которыми придет это изменение и, тем не менее, остались теплыми среди холодных и горячих – для того, очевидно, чтобы через два месяца приступить к лихорадочной организации «центров» и очагов восстания и сопротивления.

Буржуазия, распыленная и физически, и духовно, терялась во враждебной ей стихии, и часть ее из чувства самосохранения присоединяла свой голос к голосу тех, кто шествовал за победной колесницей.

Каким образом слагалась эта психология общественности в корниловские дни, поясняют следующие строки одного из видных общественных деятелей того времени:

> «Перед страной было неудавшееся, сорванное выступление, которое нельзя было уже ни спасти, ни переделать.
>
> Как могли отнестись ко всему этому, так называемые общественные круги?»

> «Многие поникли головой и опустили руки. Другие, еще державшиеся на поверхности и пытавшиеся еще что-то спасти, не имели ни времени, ни оснований останавливаться на несостоявшихся действиях и оценивать их в отвлеченности. Им оставалось только идти дальше. Наконец, третьи с резкостью напали на неудачную попытку, которая сыграла в пользу противников».

> «Эти три течения были в кругах не социалистических. А среди этих последних стоял скрежет зубовный и клокотала небывалая ярость».

> «Я нарочно очерчиваю сейчас общее обывательское состояние, ибо тогда все реагировало, все воспринимало, все отзывалось. Под этим общим настроением разумею и настроение массы членов партии к. д. и примыкавших к

ним. Эти настроения возникали и слагались сами, ибо никакой общей команды из центра партии не было»

«Нужно принять также во внимание и то, что во многих местах к. – д были связаны разными техническими соглашениями с умеренными социалистами, входили в разные коалиции, которые отражали на местах коалицию Временного правительства. Наконец, нужно иметь в виду, что к. д. были в составе Вр. правительства. И вдруг, это самое Вр. правительство объявляет стране, что готовилось на него, а не на советы покушение. Очевидно, что для недоумения, соблазнов и неразберихи полной и общей было более чем достаточно оснований. Истинное положение стало выясняться только позднее. В „первые же дни“, как это всегда бывает при неудаче, вихрем понеслись обвинения, порицания и проклятия. Эсэровские думы выли от злобы и бешенства. К.-д. фракция отражала названные выше настроения».

Правда, были и объективные условия, способствовавшие углублению недоразумения. В широких провинциальных кругах, мало посвященных в тайны носато «двора», настоящая физиономия Временного правительства и истинная роль в нем триумвирата и Керенского были недостаточно хорошо известны. Еще менее определенным казался политический облик Корнилова, в силу исключительного положения его как военного вождя и вследствие конспиративного характера деятельности его окружения. Наконец, с самого своего начала в силу ряда неблагоприятных обстоятельств успех выступления представлялся весьма проблематичным…

Последнее обстоятельство – едва ли не самое главное. Я глубоко убежден, что техническая удача выступления в корне изменила бы всю политическую оценку корниловского движения. Нашлась бы и глубокая почвенность и сочувствие широких либеральных кругов и самое яркое кричащее его проявление. В бесстрастном отражении истории отпадает вся театральная бутафория, созданная человеческой слабостью: резолюции общественных деятелей – дань революционной традиции, приносимая не раз «страха ради иудейска»… Проявление покорности правительству генералов – не только просто ненавидевших его, но и причастных к подготовке выступления… Постановления о своей непорочности и с порицанием «мятежу» – войсковых частей, военно-общественных организаций, неведомых

«офицерских депутатов», даже столичных военных училищ, чуть ли не поголовно причастных к конспиративным кружкам… Все эти декорации создавали картину пожарища, где на обширном поле, объединенные в несчастье, сидят среди своего спасенного скарба – «завоеваний революции» – негодующая демократия, порицающая буржуазия, и «обманутые» войска. А посреди мрачно высятся обгорелые стены Быховской тюрьмы.

Генерал Корнилов чувствовал себя всеми покинутым и болезненно нервно относился к сообщениям печати о своем «деле»:

– Я понимаю, что лбом стены не прошибешь, но зачем они так стараются…

Особено удручали его слухи, что даже его детище – Корниловский полк снял свои нарукавные знаки[65]] и пошел «на поклонение новым богам». Слухи были не верны. Возмущенный ими командир полка, капитан Неженцев, писал: «я приказал снять эмблему, так как был бессилен в борьбе с темной солдатской массой, разжигаемой… агитаторами, заполняющими все железнодорожные станции и, подобно кликушам, выкрикивающими с надрывом голосовых связок против Вас и полка, носящего Ваше имя… Но, сняв дорогую нам эмблему… мы ею прикрыли наш ум, наше сердце и волю»…

Как бы то ни было, после августовских дней в словаре революции появился новый термин – «корниловцы». Он применялся и в армии, и в народе, произносился с гордостью или возмущением, не имел еще ни ясных форм, ни строго определенного политического содержания, но выражал собою, во всяком случае, резкий протест против существовавшего режима и против всего того комплекса явлений, который получил наименование «керенщины».

К половине октября буржуазная пресса открыла кампанию в пользу реабилитации Корнилова, а на возобновившемся многолюдном «Совещании общественных деетелей» в Москве вновь послышалась «осанна» мятежному Верховному. Сначала робко – из уст Белевского, который говорил: «…нас называют корниловцами. Мы не шли за Корниловым, ибо мы идем не за людьми, а за принципами. Но поскольку Корнилов искренно желал спасти Россию, – этому желанию мы сочувствовали». Потом смелее – устами А. И. Ильина: «Теперь в России есть только две партии: партия развала и партия порядка. У партии развала – вождь Александр Керенский. Вождем же партии порядка должен был быть генерал Корнилов. Не суждено было, чтобы партия порядка получила своего вождя. Партия развала об этом постаралась». Оба заявления были встречены «громом

аплодисментов».

Мало помалу положение стало проясняться. Снова начинало организовываться сбитое с толку в августовские дни общественное мнение, теперь уже явно сочувственное корниловскому движению.

Керенский победил.

Все трагическое значение этой победы обнаружилось на другой же день после ареста Корнилова: 2-го сентября 3-му конному корпусу ведено было двигаться к Петрограду для защиты государственного строя, Временного правительства и министра-председателя от готовившихся посягательств анархо большевиков. В составе корпуса были все те же офицеры, которые вчера еще шли сознательно против Временного правительства, и только во главе корпуса вместо «мятежного» генерала Крымова стоял подлинно «царский» генерал Краснов, притом между Ставкой и Керенским происходили трения: последний намечал на должность корпусного командира генерала Врангеля.

Победа Керенского означала победу советов, в среде которых большевики стали занимать преобладающее положение, упрочила позицию самочинно возникших левых боевых организаций, в виде военно-революционных комитетов, комитетов защиты свободы и революции и т. д. Не приобретя ни в малейшей степени доверия революционной демократии – этот термин в понимании масс переместился теперь значительно влево – Керенский окончательно оттолкнул от себя и Временного правительства те либеральные элементы, которые, пережив период паники, не могли потом простить ему своего ослепления; оттолкнул окончательно и офицерство – единственный элемент – забитый, загнанный, попавший в положение париев революции и все же сохранивший еще способность и стремление к борьбе. Потеряв решительно всякую опору в стране, Временное правительство считало возможным продолжать еще два месяца свои функции, заключавшиеся преимущественно в словесной регистрации тех явлений окончательного распада, которые переживало государство.

В октябре известная часть петроградской печати, с легкой руки Бурцева, выпускала зажигательные статьи и летучки под», общим аншлагом: «Керенский должен поехать в Быхов и сказать генералу Корнилову: виноват!»

Это предложение вызывало у одних гнев, у других улыбку и казалось тогда лишь более или менее остроумным полемическим приемом – не более того. Между тем, официальная реабилитация Корнилова действительно была единственным выходом из положения, требовавшим от Керенского по нашему разумению

справедливости, по его психологии – политического и нравственного самопожертвования; выходом, который в бесстрастном и нелицеприятном освещении истории стал бы актом высокой государственной мудрости.

В Быхов Керенский не поехал. Но… в конце ноября судьба заставила его поехать в Новочеркасск и постучаться в двери другого «мятежника», генерала Каледина, ища убежища и защиты. Дверь оказалась запертой.

В оправдание свое революционной демократией часто высказывается мнение, что корниловское выступление окончательно развалило армию, ибо «вся трудная работа армейских организаций по созданию новой дисциплины и взаимного доверия в армии была снесена этим неслыханным актом мятежа высшего офицерства»[[66]]… Та картина состояния армии, которую я привел в 1 томе, свидетельствует, что развал шел неизменно прогрессируя, ибо не ставилось никаких преград этому процессу. И, если дни выступления вызвали ряд новых кровавых расправь над несчастным офицерством, то это были только пароксизмы в общем течении социальной болезни, ставшей или вовсе неизлечимой или требовавшей хирургического вмешательства. Подмена генерала революционным деятелем на посту Верховного не внесла большого доверия к военной власти; массовые перемены в старшем командном составе не изменили его внутреннего существа, так как в этой среде были «корниловцы», были перелеты, но не было вовсе «керенцев»; выброшенный за борт по подозрению в «контрреволюционности» новый десяток тысяч офицеров, ослабив интеллектуально армию, не сделал оставшийся состав более однородным и революционным.

Армия шла к предначертанному ей концу. Но и в самом офицерстве под влиянием августовских событий произошло замешательство и некоторый психологический сдвиг.

Замешательство при виде неустойчивого и сомнительного поведения многих старших начальников… Сдвиг – пока еще не в области политического миросозерцания, а лишь в поисках тех общественных группировок, которые удовлетворяли бы элементарным запросам их оскорбленного человеческого достоинства и возмущенного чувства патриотизма. В корниловские дни офицерство видело, что либеральная демократия, в частности кадеты, за немногими исключениями находятся или «в нетях» или в стане врагов. Это обстоятельство они учли и запомнили. Оно сыграло впоследствии не маловажную роль в создании известных политических настроений в стане антибольшевистских армий. Офицерство

больно почувствовало тогда, что его бросила морально часть командного состава, грубо оттолкнула социалистическая демократия к боязливо отвернулась от него – либеральная.

Все описанные явления произвели бурное волнение лишь в верхних слоях – политически действенных – русского взбаламученного моря и отчасти в армии. Глубин народных, – того народа, во имя которого строилась, боролась, низвергалась власть, корниловское выступление не всколыхнуло. Совершенно безразлично отнеслась к нему деревня, занятая черным переделом; несколько более экспансивно рабочая среда в массе своих «беспартийных»; а безликий обыватель, еще более павший духом, продолжал писать теперь уже в Быхов – с мольбою о спасении, тщательно изменяя при этом свой почерк и опуская письма подальше от своего квартала.

Глава VIII. Переезд «Бердичевской группы» в Быхов. Жизнь в Быхове. Генерал Романовский

«Бердичевская группа арестованных» ехала беспрепятственно в Старый Быхов[67]]. Предполагалась враждебная встреча на станции Калинковичи, где сосредоточено было много тыловых учреждений, но ее проехали ранним утром, и вокзал был пусть. Из конского вагона в Житомире нас перевели в товарный – приспособленный, с нарами, на который мы тотчас улеглись, и после пережитых впечатлений вероятно все заснули мертвым сном. Когда проснулись утром – вся обстановка в вагоне так разительно отличалась от той – вчерашней, которая еще давила на мозг и память, как тяжелое похмелье… Наша стража – караульные юнкера – относились к нам с трогательным, каким-то застенчивым вниманием. Помощник фронтового комиссара Григорьев, зашедший в вагон, воодушевлено рассказывал, как его на вокзале «помяли» и как он «честил» революционную толпу. Казалось, что мы находимся в кругу своих доброжелателей, и единственный, кто чувствует себя арестованным, это – очередной комитетский делегат, вооруженный револьвером в какой-то огромной кобуре, хранящий молчание и беспокойно поглядывающий по сторонам.

В Старом Быхов мы простились с нашими спасителями – юнкерами. Я не знаю ни имен их, ни судьбы: всех разметало по лицу земли, многих погубило русское безвременье. Но если кому-нибудь из уцелевших попадутся на глаза эти строки, пусть примет мой низкий поклон.

На станции нас ожидал автомобиль польской дивизии и брички. Я с Бетлингом[68]] и двумя генералами сели в автомобиль; комитетчики запротестовали: пришлось одного взять на подножку. Покружили по грязным улицам еврейского уездного города и остановились перед старинным зданием женской гимназии. Раскрылась железная калитка, и мы попали в объятия друзей, знакомых, незнакомых – быховских заключенных, которые с тревогой за нашу судьбу ждали нашего прибытия.

Явился к Верховному.

– Очень сердитесь на меня за то, что я вас так подвел? – говорил, обнимая меня Корнилов.

– Полноте, Лавр Георгиевич, в таком деле личные невзгоды не причем.

Мы уплотнили население Быховской тюрьмы; я и Марков расположились в комнате генерала Романовского. Все пережитое казалось уже только скверным сном. У меня наступила реакция – некоторая апатия, а самый молодой и экспансивный из нас – генерал Марков писал 29-го к» своих летучих заметках: «…Нет, жизнь хороша. И хороша – во всех своих проявлениях!..»

Ко 2-му октября в тюрьме находились: генералы 1. Корнилов, 2. Деникин, 4. Эрдели, 3. Ванновский, 5. Эльснер, 6. Лукомский, 8. Романовский, 7. Кисляков, 9. Марков, 10. Орлов; подполковники 17. Новосильцев, 13» Пронин, 20. Соотс; капитаны Ряснянский, 18. Роженко, 12. Брагин; есаул 19. Родионов; штабс-капитан Чунихин; поручик 21. Кяецандо; прапорщики 14. Никитина 15. Иванов; военный чиновник Будилович: 16. И. В. Никаноров – сотрудник «Нового Времени»; 11. А. Ф. Аладьин – член I-ой Государственной Думы[[69]].

Быховские узники менее всего похожи были на опасных заговорщиков.

Люди самых разнообразных взглядов, в преобладающем большинстве совершенно чуждые политики и объединенные только большим или меньшим соучастием в корниловском выступлении и безусловным сочувствием ему. Одни принимали в нем фактическое участие, другие попали на таких же основаниях, на которых можно было привлечь 9/10 всего офицерства, третьи – просто по недоразумению. Жизнь разметала их впоследствии; семеро из них погибло[[70]]; некоторые по своим взглядам и позднейшей деетельности ушли далеко от идейного содержания корниловского движения… Но, тем не менее, 1½ месяца пребывания в Быховской тюрьме, близкое общение, совместные переживания, общая опасность и общие надежды оставили после себя живой след и добрую память. Отбросим темные пятна…

Быховские узники пользовались полной внутренней автономией в пределах стен тюрьмы. Ни Верховная следственная комиссия, ни представитель Совета – Либер, ни комиссары Вырубов и Станкевич, посещая тюрьму, не делали никаких посягательств на изменение внутреннего режима. Создавалось такое впечатление, будто всем было очень неловко играть роль наших «тюремщиков».

Корнилов в глазах всех заключенных оставался «Верховным»; его распоряжения исполнялись одинаково охотно как заключенными, так и чинами Текинского полка и офицерами георгиевского караула. Впрочем распоряжения эти не выходили за пределы лояльности, за исключением разве льготного допуска посетителей и корреспонденции.

День в тюрьме начинался в 8 час. утра. После чая – прогулка

и посещение нас близкими. Это право двукратного посещения в день для многих было особенно ценным и мирило с тягостным лишением свободы. С особого разрешения следственной комиссии, на практике – с разрешения коменданта, подполковника Текинского полка Эргардта, допускались и посторонние. Это было по преимуществу офицерство: члены комитета офицерского и казачьего союзов, чины Ставки, приятели… небольшого чина – все люди преданные и не стеснявшиеся столь «компрометирующей» в глазах правительства и Совета близостью к Быхову. За все полуторамесячное пребывание мое в Быховской тюрьме из старших чинов я видел там только генералов Абрама Драгомирова и Субботина. Из числа политических деятелей, так или иначе прикосновенных к корниловскому движению, не был никто; они не вели и переписки и, вообще, не подавали никаких признаков жизни.

Чаще других приезжали «по должности» комендант Ставки, полковник Квашнин-Самарин, бывший в мирное время адъютантом Архангелогородского полка, которым я командовал, и командир Георгиевского батальона, полковник Тимановский, ранее – офицер «железной дивизии». Оба они были глубоко преданы и корниловскому делу и лично нам и выдерживали яростный напор со стороны могилевских советов, которым не давала покою Быховская тюрьма. Квашнин-Самарин парировал нападки советов необыкновенным хладнокровием и тонкой иронией; Тимановский терпел, мучился и ждал только дня нашего освобождения, чтобы освободиться самому от нестерпимой жизни в развращенной среде георгиевских солдат.

Обедали за общим столом. Иногда присутствовал и Корнилов, который вообще предпочитал столоваться в своей камере и по нескольку дней не выходил на прогулку, чтобы, на всякий случай, приучить прислугу и георгиевский караул к своему длительному отсутствию[[71]]… Я приглядывался и прислушивался к новым людям. Разговор за столом также мало обличал «заговорщиков», перебегая с одной, подчас весьма неожиданной, темы на другую. Вот Аладьин, как то особенно скандируя слова, что должно было означать английскую манеру, с пафосом говорит о Бердичеве, который за наши обиды «нужно стереть с лица земли так, чтобы на месте его выросли джунгли»… Ему возражает Марков: «какая кровожадность в штатском человеке; и почему непременно джунгли, а не чертополох?»

– Зачем вы сидите здесь, сэр Аладьин? – вмешивается шутя генерал Корнилов. Неужели вам еще не надоело с нами.

Это деликатный вопрос: во всех свидетельских показаниях говорится, что Аладьин попал по недоразумению; его предлагают

освободить – он не соглашается.

На другом конце стола Новосильцев с трудом отбивается от атаки Никанорова и Родионова, бичующих кадетскую политику. Новосильцев изнемогает, но по счастью появляется «громоотвод»: вмешивается Аладьин, оказавшийся единомышленником с крайними правыми.

– Позвольте, как так? Это говорит «трудовик»-Аладьин, который после разгона 1-й Думы поднимал финскую красную гвардию?..

В другом месте Эрдели начал о Толстом, с которым он в дальнем родстве и знаком был лично, и кончил параллелью между литературными типами французской и русской женщины, обнаружив неожиданно большую эрудицию и тонкое литературное чутье.

Мрачный. Ванновский вполголоса, угрюмо бурчит о том, что «впереди мерзость запустения», и что «всему виною… отмена крепостного права».

Ему возражает Романовский:

– Конечно – это только образ? Но и он не верен: виною очевидно запоздалая отмена крепостного права…

Иногда в спор вмешивается Лукомский солидно, категорично, с некоторой иронией.

А с левого фланга по рукам передают рукопись кого-то из наших поэтов: Брагин – злободневный бытовик, Будилович – лирик.

Пополудни приходят газеты, и поэтому за ужином разговор ведется исключительно на злобу дня: ругаем правительство и Керенского, поносим Совет и ищем проблеска на политическом горизонте. Проблеска, однако, не видно. С 8-го октября, после внушения, посланного Корниловым общественным деятелям, газеты переполнены нашим делом. У Маркова под этой датой записано: «до нас доходят тысячи слухов. Рекомендуют опасаться ближайших 10–12 дней. В какой еще водоворот попадешь».

Кисляков, проштудировав последний номер «Известий», меланхолически заявляет:

– Не важно… Как вы думаете – прикончат?

– Нас не за что, а вас – несомненно: подумайте, «какой позор!» – сам на себя восстал![72]]…

Талантливый и веселый человек, но не слишком мужественный. Напророчил себе несчастье: осенью 1919 года в дни большевистской вспышки в Полтаве, вскоре подавленной, проезжая по улице в генеральской форме, был буквально растерзан толпой.

Нет, положительно, не стан мятежников, а «клуб

общественных деятелей» или военное собрание.

Вечером в камере 6, как самой поместительной, собирались обыкновенно арестованные для общей беседы и слушания очередных докладов. Иногда доклады были дельные и интересные, иногда совсем дилетантские. Темы – крайне разнообразные: Кисляков докладывала например, стройную систему организации временного управления с «вопросительным знаком» во главе, долженствовавшим изображать фигурально диктатуру; Корнилов рассказывал о мартовских днях в Петрограде; Никаноров – о торговых договорах и православной общине (приходы); Новосильцев рисовал милую пастель на тему о русской старине и роде Гончаровых;

Аладьин делал экскурсии в область потустороннего мира. Никогда не выступал Лукомский. Он только оппонировал или поддерживал высказанные положения; характерной чертой его речи было всегда конкретное, реальное трактование всякого вопроса: он не вдавался в идеологию, а обсуждал только целесообразность. Его речь с некоторым оттенком скептицизма и обыкновенно хорошо обоснованная не раз умеряла пыл и фантазию увлекавшихся.

Все разговоры сводились, однако, в конце концов к одному вопросу, наиболее мучительному и больному – о русской смуте и о способах ее прекращения.

Впрочем, политические идеалы вообще не углублялись и поэтому быховцев не разделяли. Средством же спасения страны, не взирая на постигшую недавно неудачу, всеми признавалось только одно – заключавшееся в схеме Кислякова.

День кончался обыкновенно в нашей камере, иногда с гостями, иногда в беседе втроем: Романовский, Марков и я.

Иван Павлович Романовский.

Человек, оставивший после себя яркий след в истории борьбы за спасение Родины. Человек, олицетворявший собою светлый облик русского офицера и павший от преступной руки заблудившегося духовно русского офицерства. Человек – «загадочный»…

Это впечатление «загадочности» создалось действительно впоследствии среди широкого круга людей, даже без предубеждения относившихся к Романовскому, не имеет решительно никаких оснований в искренней, прямой натуре покойного. «Загадочность» явилась извне, как результат противоречий между жизненной правдой и той тиной лжи, которую создавала вокруг него сложная политическая интрига. Об этом – речь впереди. Тогда же личность Ивана Павловича была кристально ясной и привлекла к нему общие симпатии.

Я мало знал тогда Ивана Павловича, но много слышал о нем от других, в том числе от Маркова – его наиболее близкого друга.

Родился он в семье армейского офицера. Отлично окончил константиновское артиллерийское училище и вышел в гвардейскую артиллерию; прослушал академию генерального штаба и тотчас же, против желания начальства, уехал на войну, в Манджурскую армию. Тогда уже впервые сложилась боевая репутация «капитана Романовского» из многих мелких бытовых и боевых фактов, о которых сам он никогда не рассказывал, но которые становились известными в кругу людей, знавших его.

Потом служба в Туркестанском округе. Трогательные отношения, установившиеся между молодым офицером и старым ветераном – генералом Мищенко. Не смотря на разницу в возрасте, характере и мировоззрении, было нечто удивительно близкое и общее в этих представителях двух эпох, двух поколений русского офицерство: то особенное рыцарское благородство, преломленное в многократной призме времени, но словно только что навеянное страницами «Войны и мира» или старой кавказской были… Воспоминания о Туркестане, о поездках на Памир, в Бухару, к границам Афганистана сохранились особенно ярко в его памяти. Там вдали от людской пошлости и злобы, среди буйной и дикой природы не раз мечтал он отдохнуть когда-либо от каторжного труда, который судьба взвалила на его плечи…

Потом Петроград. Сначала в Генеральном, потом в Главном штабе. Этот период службы Ивана Павловича имел уже более общественный характер. В жизни главного штаба, после длительного периода отчуждения от армии, наступил перелом. Три человека – генералы Кондзеровский (дежурный генерал), Архангельский (начальник отдела) и полковник Романовский (начальник II отделения), ведавший назначениями, внесли новое направление в деятельность учреждения, довлеющего над бытом армии: своим беспристрастием и доброжелательством они сумели умиротворить ту вереницу придавленного, робкого и возмущенного офицерства, которое не раз обивало пороги импонирующего своей надменной важностью желтого дома под триумфальной аркой.

Иван Павлович с необыкновенным терпением выслушивал всех, исполнял, что мог и что позволяла совесть, а когда приходилось отказывать, делал это от себя, не сваливая на начальника и не обнадеживая просителя – с той исключительной прямотой, которая впоследствии, в добровольческий период, создала ему так много врагов.

Офицеры генерального штаба, состоявшие в главных управлениях, перед войной специализировались каждый в своем

узком деле, зачастую чуждом стратегии и боевых вопросов. «Не было никакого общего руководства нашим образованием – говорить один из них – Мы были предоставлены сами себе и имели полную возможность мирно спать, довольствуясь ролью военных чиновников»… Чтобы хоть несколько расширить военные горизонты, компания молодежи, по инициативе Романовского, Маркова и Плющевского-Плющика организовали военную игру. «Среди нас – говорил один из участников – особенно крупной фигурой выделялся Иван Павлович. Спокойный, скромный, но, вместе с тем, уверенный в себе он поражал нас верностью и обоснованностью своих решений… Даже такие строптивые, как покойный Марков – наш общий и незабвенный друг – молчаливо признали его авторитет».

С началом отечественной войны Иван Павлович состоял начальником штаба 25 пехотной дивизии, а потом командиром Сальянского полка. Только удивительная скромность его привела к такой обидной несообразности, что храбрейший офицер этот не носил георгиевского креста. Многократные представления его где то застревали и не приводили к желанным результатами В одном из случайно сохранившихся представлений Ивана Павловича в чин генерала так была охарактеризована его боевая деятельность:

> «24 июня – Сальянский полк блестяще штурмовал сильнейшую неприятельскую позицию… Полковник Романовский вместе со своим штабом ринулся с передовыми цепями полка, когда они были под самым жестоким огнем противника. Некоторые из сопровождавших его были ранены, один убит и сам командир… был засыпан землей от разорвавшегося снаряда… Столь же блестящую работу дали Сальянцы 22 июля. И этой атакой руководил командир полка в расстоянии лишь 250 шагов от атакуемого участка под заградительным огнем немцев… Выдающиеся организаторские способности полковника Романовского, его умение дать воспитание войсковой части, его личная отвага, соединенная с мудрой расчетливостью, когда это касается его части, обаяние его личности не только на чинов полка, но и на всех, с кем ему приходилось соприкасаться, его широкое образование и верный глазомер – дают ему право на занятие высшей должности»…

В тяжеловесных несколько словах официальной реляции – глубокая внутренняя правда, не поблекшая до последнего часа, когда люди с исступленным разумом и гнилою совестью грязнили

светлый облик Ивана Павловича и убили его.

Помню, как в начале революции в дни своего начальствования Ставкой я получил однажды из армии пять настойчивых предложений для Ивана Павловича различных высоких назначений по генеральному штабу; и как он, запрошенный о своем желании, категорически отказался выбирать, предоставив Ставке назначить его «туда, где служба его будет признана более полезной». Его назначили тогда начальником штаба 8 армии к Каледину, с которым служить пришлось недолго, так как вскоре по требованию Брусилова Каледина отчислили в Военный Совет. Но и двух недель совместной службы было очевидно достаточно, чтобы создать те теплые отношения, которые я потом наблюдал между ними в Новочеркасске и которые были не совсем обычны для хмурого и замкнутого Каледина.

Я знал, что в корниловском выступлении Иван Павлович был доверенным лицом Верховного и поэтому тем более ценной была в нем удивительная простота и скромность во всем, что касалось его роли и взаимоотношений к Корнилову. Никогда – никакой фразы, никакого подчеркивания, никакой «ревности» к чужому влиянию на Верховного. В его речи как будто совсем исключались местоимения «я» и «мы», которыми так играла хлестаковщина, случайно прикосновенная или вовсе чуждая выступлению, расцветшая махровым цветом особенно тогда, когда первая опасность миновала и когда звание «корниловца» давало некоторые моральные, иногда даже и материальные выгоды.

В быховском «альманахе» записаны слова Романовского:

> «Могут расстрелять Корнилова, отправить на каторгу его соучастников, но „корниловщина“ в России не погибнет, так как „корниловщина“ – это любовь к Родине, желание спасти Россию, а эти высокие побуждения не забросать никакой грязью, не затоптать никаким ненавистникам России».

Иван Павлович был убежден в правоте корниловского дела и без фразы, без позы и жеста отдал ему свои силы, сердце и мысль. И сделал это так просто, как только мог сделать человек высокой души. Это обстоятельство тем более характерно, что его несколько тяготили и параллельное существование в Ставке двух штабов – официального и неофициального, и физиономия ближайшего «окружения», и… отсутствие веры в успех выступления.

Это последнее обстоятельство побудило Ивана Павловича отнестись с величайшей осторожностью к технике отдачи

распоряжений, относившихся к выступлению, чтобы возможно меньшее число подчиненных лиц подвести под ответ. Всю вину и всю ответственность он брал на себя. 2-ой генерал-квартирмейстер Ставки, полковник Плющевский-Плющик рассказал мне характерный эпизод:

Все вызовы надежных офицеров из армии под предлогом обучения их пулеметному делу были сделаны Романовским, за его подписью, хотя это входило в обязанность П. П-ка. Эти подписи впоследствии послужили серьезнейшим поводом к обвинению Ивана Павловича. «Он сознательно спасал меня – говорил П. П. – и не только спасал, но сумел скрыть это от меня же. Я узнал об этом совершенно случайно, присутствуя при подписании Романовским последнего вызова, кажется уже на второй день корниловского выступления.

– Что ты делаешь? – спросил я его. – Ведь это моя обязанность.

– С какой стати я стану подводить тебя. Я уже человек обреченный, и лишняя подпись разницы не составить. Ты же фактически в деле не участвовал, и ввязываться теперь не имеет смысла.»

Чем дольше я присматривался к Ивану Павловичу, тем ближе, роднее становился он мне. И жизнь в камере текла мирно, беседы, оживляемые пылким воображением Маркова и добродушной иронией Романовского, еще теснее сближали нас в обстановке неволи и томления духа.

О прошлом говорили мало, больше о будущем. Помню, как однажды, после обсуждения судеб русской революции, ходивший крупными шагами по комнате Марков, вдруг остановился и с какой-то детской доброй и смущенной улыбкой обратился к нам:

– Никак не могу решить в уме и сердце вопроса – монархия или республика? Ведь если монархия – лет на десять, а потом новые курбеты, то, пожалуй не стоит…

Эти слова весьма знаменательны: они являются отражением тех внутренних переживаний, которые испытывала часть русского офицерства, мучительно искавшая ответа: где проходить грань между чувством, атавизмом, разумом и государственной целесообразностью.

Глава IX. Взаимоотношения Быхова, Ставки и Керенского. Планы будущего. «Корниловская программа»

Председатель следственной комиссии Шабловский принял поручение не от Керенского, а от Временного правительства. Это обстоятельство и давало ему довольно широкую свободу в определении «мер пресечения» и порядка содержания арестованных. Вмешательство Керенского не могло играть поэтому решающей роли, тем более, что по ходу дела он являлся если не стороной, то, во всяком случае, главным свидетелем. Тем не менее, Керенский требовал от комиссии скорейшего выполнения следствия и ограничения его в отношении военного элемента только установлением виновности «главных участников». Он понимал, что если углубить вопрос о корниловском движении, то правительство останется вовсе без офицеров.

Наружную охрану несла полурота георгиевцев – весьма подверженная влиянию советов; внутреннюю – текинцы, преданные Корнилову. Между ними существовала большая рознь, и текинцы часто ломанным языком говорили георгиевцам:

– Вы – керенские, мы – корниловские; резать будем.

Но так как в гарнизоне текинцев было значительно более, то георгиевцы несли службу исправно и вели себя корректно.

Неоднократно проходившие через станцию Быхов солдатские эшелоны проявляли намерение расправиться с арестованными. Были случаи высадки и движения их в город. Впрочем, такие неорганизованные попытки быстро ликвидировались польскими частями, расквартированными в городе. Командир польского корпуса, генерал Довбор-Мусницкий, считая свои войска на положении иностранных, отдал распоряжение начальнику дивизии – не вмешиваясь во «внутренние русские дела» и в распоряжения Ставки, не допускать насилия над арестованными и защищать их, не стесняясь вступать в бой Действительно, два-три раза, ввиду выступления проходивших эшелонное, поляки выставляли сильные дежурные части с пулеметами, начальник дивизии и командир бригады приходили к нам уславливаться с Корниловым относительно порядка обороны.

Тем не менее, угроза самосуда все время висела над Быховцами. Советский официоз, за ним вся левая печать громко,

иногда истерически требовала вывода нас из Быхова и применения каторжного или, по крайней мере, арестантского режима. Переведенный в Ставку большевистский генерал Бонч-Бруевич[73]], назначенный начальником могилевского гарнизона, на первом же заседании местного совета солдатских и рабочих депутатов сказал зажигательную речь, потребовав удаления Текинцев и перевода Быховцев в могилевскую тюрьму, и с этим требованием во главе депутации явился к Керенскому… Эволюция генерала Бонч-Бруевича по моральным его свойствам хотя и не была неожиданной, но представляет все же известный психологический интерес: в дни первой революции (1905-07 г.г.) в печати появился ряд его статей, изданных потом отдельным сборником, в которых, на ряду с проявлением крайних правых воззрений, он призывал к бессудному истреблению мятежных элементов…

Мелочи жизни: книжку Бонч-Бруевича быховцы отыскали и послали могилевскому совету с надписью, приблизительно такого содержания: «Дорогому могилевскому совету от преданного автора». Не воздействовало: совдеп знал цену людям… с таким широким моральным диапазоном.

Одновременно принимались меры воздействия на Текинцев, с целью их удаления из Быхова. С месть шли вести, что Закаспийскую область постиг полный неурожай, и семьям Текинцев угрожает небывалый голод. В то же время Туркменский областной съезд ходатайствовал перед Керенским об отправлении полка в Персию – «вдаль от колес русской революции и лиц, могущих воспользоваться им, как слепым орудием», считая что в корниловском деле полк «действовал против русского народа», уронив себя в глазах «товарищей-солдат, вполне основательно могущих питать (к нему) недоверие и подозрительность». Несомненно это постановление съезда было инспирировано извне. Корнилов в письме к Каледину, прося его оказать помощь хлебом семьям Текинцев, так объяснял происхождение постановления: «Г. Керенский, которому не удалось заставить Текинский полк покинуть меня в критическую минуту, для того, чтобы по уходе его организовать над нами самосуд, теперь пытается сбить с толку Текинцев, стараясь повлиять на них через Закаспийский Областной комитет»…

В то же время шли переговоры между Керенским и Исполнительным комитетом о замене Текинской охраны сводным отрядом, составленным по выбору от… армейских комитетов.

Ставка под напором всех этих давлений начала сдавать. Получено было сведение о переводе нас в местечко Чериков, удаленное верст на 80 от железной дороги и занятое гарнизоном

из четырех разложившихся запасных батальонов… Позднее уже в дни октябрьского выступления большевиков польский гарнизон получил распоряжение об уходе из Быхова, и начальник польской дивизии прибыль к нам в тюрьму со своим недоумением. Все это заставляло нервничать быховских заключенных; генерал Корнилов слал в Ставку грозные и резкие послания; было заявлено, что увод поляков и Текинцев, а также перевод в Чериков равносильны выдаче нас на самосуд черни, что из Быхова мы не уйдем и не остановимся перед вооруженным сопротивлением, оставляя последствия его всецело на совести начальства Ставки.

Ставка нервничала еще более. Генерал Дитерихс (генерал-квартирмейстер) присылал от себя и от имени начальника штаба успокоительные заверения, 29-го октября он, между прочим, писал генералу Лукомскому: «увод Текинцев – вымысел. Пока мы здесь с Духониным, этого не будет; и для того, чтобы сохранить текинскую охрану как у вас, так и у нас, мы согласились на уступку влияниям со всех сторон (что было необходимо для данного момента) временно взять комендантом этого субъекта[[74]]… С поляками вышло недоразумение… Будьте покойны». В конце он прибавлял: «Ради Бога, желательно смягчать выражения генерала Корнилова, так как они истолковываются в совершенно определенном смысле. Сегодня в Минске вспышка, т. к. разнесся слух, что генерал Корнилов бежал. Из-за этого на весь сегодняшний день невероятно осложнилась обстановка на Западном фронте, и нам не пропускают ни одного эшелона, то есть потерян еще один день».

В лице Духонина, ставшего фактически Верховным главнокомандующим, Керенский и революционная демократия, представленная комиссарами и комитетами, нашли действительно тот идеал, который они долго и напрасно искали до тех пор. Духонин – храбрый солдат и талантливый офицер генерального штаба принес им добровольно и бескорыстно свой труд, отказавшись от всякой борьбы в области военной политики и примирившись с ролью «технического советника» – той ролью, которую революционная демократия мечтала навязать всему командному составу. Судьба как будто хотела, чтобы и этот последний опыт подчиненного сотрудничества с революционной демократией быль произведен над умирающей армией – опыт, оказавшийся наименее удачным. Духонина никто из них не заподозривал в малейшем отсутствии лояльности. Он не препятствовал продолжавшимся упражнениям новоявленных творцов «революционной армии», хотя и не облекал свое отношение к ним в пафос и ложь Брусиловской тактики.

Духонин стал оппортунистом раг excellence. Но в противовес другим генералам, видевшим в этом направлении новые перспективы для неограниченного честолюбия или более покойные условия личного существования, – он шел на такую роль заведомо рискуя своим добрым именем, впоследствии и жизнью, исключительно из-за желания спасти положение. Он видел в этом единственное и последнее средство.

Взаимоотношения Быхова и Могилева (Ставки и «Подставки», как острили в Совете) были поэтому весьма оригинальны. Ставка несомненно сочувствовала в душе корниловскому движению. Духонин и Дитерихс испытывали тягостное смущение неловкости, находясь между двух враждебных лагерей. Сохраняя полную лояльность в отношении к Керенскому, они в то же время тяготились подчинением ему и отожествлением с этим лицом, одиозным для всего русского офицерства; их роль – наших официальных «тюремщиков» также была не особенно привлекательна; моральный авторитет Корнилова в глазах офицерства сохранился и с ним нельзя было не считаться. Не раз Быхов давал некоторые указания Могилеву, которые в мере возможности Ставка исполняла. Однажды Духонин прислал словесно просьбу Корнилову не приводить в исполнение его, якобы, намерения – выйти из Быхова и завладеть Ставкой, приводя ряд мотивов о нецелесообразности, несвоевременности и гибельности для общего дела этого шага. Из тревожных и искренних слов Духонина можно было заключить, что он, осуждая в принципе ожидавшийся переворот, решительно никакого противодействия появлению Корнилова не окажет… Духонин, конечно, получил из Быхова успокоительные заверения, что это только вздорные слухи.

Между тем, в Быхове слагался определенный взгляд на характер дальнейшей деятельности.

Вскоре после прибытия бердичевской группы, на общем собрании заключенных поставлен был вопрос:

– Продолжать, или считать дело оконченным?

Все единогласно признали необходимым «продолжать». Загорелся спор о формах дальнейшей борьбы. По инициативе кажется Аладьина, нашлось не мало защитников создания «корниловской политической партии». Я решительно протестовал против такой своеобразной постановки вопроса, так не соответствовавшей ни времени и месту, ни характеру корниловского движений ни нашему профессиональному призванию. Я считал, что имя Корнилова должно стать знаменем, вокруг которого соберутся общественные силы, политические партии, профессиональные организации – все те элементы,

которые можно объединить в русле широкого национального движения в пользу восстановления русской государственности. Что, став в стороне от всяких политических течений, нам нужно лишь восполнить пробел прошлого и объявить строго деловую программу – не строительства, а удержания страны от окончательного падения. Этот взгляд был принят и в результате работы небольшой комиссии при моем участии, появилась утвержденная Корниловым так называемая «корниловская программа».

> «1) Установление правительственной власти, совершенно независимой от всяких безответственных организаций – впредь до Учредительного собрания.
>
> 2) Установление на местах органов власти и суда, независимых от самочинных организаций.
>
> 3) Война в полном единении с союзниками до заключения скорейшего мира, обеспечивающего достояние и жизненные интересы России.
>
> 4) Создание боеспособной армии и организованного тыла – без политики, без вмешательства комитетов и комиссаров и с твердой дисциплиной.
>
> 5) Обеспечение жизнедеятельности страны и армии путем упорядочения транспорта и возстановления продуктивности работы фабрик и заводов; упорядочение продовольственного дела привлечением к нему кооперативов и торгового аппарата, регулируемых правительством.
>
> 6) Разрешение основных государственных, национальных и социальных вопросов откладывается до Учредительного Собрания».

Так как технически было неудобно опубликовывать «программу Быхова», то в печати она появилась не датированной, под видом программы прошлого выступления.

Другой серьезный вопрос был разрешен в более тесном кругу старших генералов вполне единодушно: хотя побег из Быховской тюрьмы не представлял затруднений, но он недопустим по политическим и моральным основаниям и может дискредитировать наше дело. Считая себя – если не юридически, то морально – правыми перед страной, мы хотели и ждали суда. Желали реабилитации, но отнюдь не «амнистии». И когда в начале октября нам сообщили что Керенский заявил Аджемову и Маклакову, что суда не будет вовсе, это обстоятельство сильно разочаровало многих из нас.

Побег допускался только в случае окончательного падения

власти или перспективы неминуемого самосуда. На этот случай обдумывали и обсуждали соответствующий план, но чрезвычайно несерьезно. В конечном итоге заготовлены были револьверы, несколько весьма примитивных фальшивых документов, штатское платье и записаны три-четыре конспиративных адреса, в возможность использования которых у меня лично не было никакой веры.

Генерал Корнилов тяготился несколько вынужденным бездействием, но до большевистского выступления вопроса этого больше не подымал. О «занятии Ставки» говорили только разве шутя.

Тем не менее, вне Быховских стен создалось совершенно определенное убеждение о предстоящем нашем побеге. Ставка умоляла не делать этого; советская печать несколько раз сообщала о побеге, как о совершившемся факте; Завойко из Петрограда в каждом письме к Корнилову предостерегал от «необдуманного и беспричинного побега», который «может послужить к провалу всего дела»; Быхов «провожал» нас ежедневно, и однажды я был не мало изумлен, когда священник, служивший у нее в тюрьме вечерню, взволнованно и с глубоким чувством вознес особые молитвы, чином вечерни не установленные… о путешествующих.

Общее мнение укрепилось окончательно, когда Текинский полк стал чинить вьюки и ковать лошадей…

Я думаю, что больше всех наш побег доставил бы удовольствие Керенскому.

Чтобы облегчить нам вынужденный уход из Быхова, в особенности, если бы пришлось идти походом с Текинцами, принимались меры к постепенному освобождению арестованных. В этом нам содействовали и Ставка, и Верховная следственная комиссия. Корнилов не раз убедительно просил Духонина путем сношения с Керенским или с Шабловским добиться скорейшего освобождения из Быхова ряда лиц, «привлечение которых к его делу и дальнейшее содержание в заключении является сплошным недоразумением.» Действительно, к 27 октября ушла из тюрьмы половина заключенных, позднее и прочие, за исключением генералов Лукомского, Романовского, Маркова и меня, которые принципиально должны были оставаться до конца с генералом Корниловым.

Большое затруднение для нас представляло полное отсутствие денежных средств. Широкое субсидирование корниловского выступления крупными столичными финансистами, о котором так много говорил в своих показаниях Керенский – вымысел. В распоряжении «диктатора» не было даже

нескольких тысяч рублей, чтобы помочь впавшим в нужду семьям офицеров, выброшенных за борт и вообще пострадавших в связи с выступлением. Необходимо было помочь закупкой хлеба семьям текинцев, позаботиться приобретением для всадников Текинского полка на случай зимнего похода теплой одежды и т. д. Наконец, не легко было положение самих Быховцев, которых Керенский лишил содержания. Семейные бедствовали. Вместо содержания Керенский, лишенный чувства элементарного такта, приказал выдавать небольшие пособия из своих (по должности Верховного главнокомандующего) экстраординарных сумм. Одни отвергли, другие по нужде брали. Это распоряжение было совершенно незаконным, так как даже подследственным арестованным полагалось половинное содержание, а быховские узники по компетентному разъяснению председателя комиссии Шабловского «не могли почитаться состоящими под следствием[[75]] и поэтому не лишены были права на получение содержания.»

По этому поводу одним из заключенных прапорщиком Никитиным подана была жалоба в сенат, с просьбой: «1) распоряжение Главковерха отменить, 2) привлечь присяжного поверенного Александра Керенского, по должности Верховного главнокомандующего, к ответственности по таким то статьям за превышение власти»…

Для поддержания средств существования быховцы затеяли издание альманаха, из которого, впрочем, ничего не вышло.

Генерал Алексеев через Милюкова еще 12 сентября обратился к Вышнеградскому, Путилову и друг… «Семьи заключенных офицеров – писал Алексеев – начинают голодать. Для спасения их нужно собрать и дать комитету союза офицеров до 300 тыс. рублей. Я настойчиво прошу их прийти на помощь. Не бросят же они на произвол судьбы и голодание семьи тех, с которыми они были связаны общностью идеи и подготовки». Результаты этого обращения мне неизвестны.

Только в конце октября Корнилову привезли из Москвы около 40 тыс. рублей, которыми он мог удовлетворить важнейший нужды.

Между тем, на этой почве в столице и других местах развивался крупный шантаж. В Быхов начали поступать сведения, что к состоятельным людям и в банки приходят какие то неведомые лица и обращаются с требованием больших сумм на «тайную корниловскую организацию». Предъявляют записки московских общественных деятелей, иногда «собственноручные», якобы, письма Корнилова.

Под влиянием этих сведений, после большевистского

переворота, в начале ноября генерал Корнилов, по настоянию прапорщика Завойко, которому продолжал еще доверять, согласился на образование им «единой центральной кассы в Новочеркасске, особого комитета и контроля для распоряжения этими (собираемыми) деньгами, и наблюдения за их использованием». Вместе с тем, Корнилов подписал присланный Завойко письма к 12 финансистам[[76]], с предложением жертвовать в пользу создающихся вокруг него организации для борьбы с большевизмом, указывая, что единственным его доверенным лицом по сбору денег является Завойко. Я не знаю, откликнулись ли адресаты, но к декабрю в Новочеркасске – и в распоряжении Корнилова, и в фонде Добровольческой армии, организовавшейся Алексеевым – денег не оказалось.

Последний эпизод, быть может, обусловлен недоверием к новому Минину (Завойко), но вообще постановка финансового вопроса весьма показательна. Я остановился несколько на ней, считая небезынтересным своеобразное отношение крупной буржуазии к антисоветскому и антибольшевистскому движению, – той самой крупной буржуазии, которую революционная демократия тщится представить вдохновительницей и покровительницей движения, созданного якобы на ее средства и для ее благоденствия. От буржуазии генералы Алексеев и Корнилов требовали жертв, но служили не ей, а народным, национальным интересам. Быть может это обстоятельство и вызывало те трудно преодолимые препятствия, которые они встречали не только в среде враждебной, но в другой, Казалось бы, заинтересованной в наступлении правового порядка.

Куда уходить в случае нужды?

Только на Дон. Вера в казачество была сильна по-прежнему;

совет казачьих войск, находившийся в постоянных сношениях с Быховым, гальванизировал эту веру, добросовестно заблуждаясь и не чувствуя, что он, как и вся казачья старшина, оторваны от казачьей массы и давно уже не держат в своих руках ее реальной силы – войска. В Быхове составлялась преподанная Ставке дислокация казачьих частей для занятия важнейших железнодорожных узлов на путях с фронта к югу, чтобы в случае ожидаемого крушения фронта, сдержать поток бегущих, собрать устойчивый элемент и обеспечить продвижение его на Юг. В то же время шла деятельная переписка между Корниловым и Калединым.

Каледин сам еще находился в опале и в совершенно неопределенном служебном положении. В дни корниловского выступления Временное правительство, обвинив его «в мятеже и в

желании путем занятия донскими частями железнодорожных узлов отрезать Донецкий бассейн от центра», отдало приказ об отрешении Каледина от должности, об аресте его и предании суду. Дон не выдал своего атамана и не допустил его устранения. Керенский лихорадочно собирал улики и не находил ничего решительно, что могло бы изобличить в нелояльности донского атамана. Временное правительство оказалось в чрезвычайно неловком положении и тщетно искало не слишком компрометирующего его выхода. 17 октября Керенский в разговоре с донской депутацией признал эпизод с калединским мятежем «тяжелым и печальным недоразумением, которое было следствием панического состояния умов на юге». Это не совсем верно: паника имела место главным образом на севере; ее создали своими заявлениями Авксентьев, Либер, Руднев (Московский городской голова), Верховский, Рябцев (помощник команд, войск. Московс. округа)[77]] и многие другие. Официальной реабилитации, однако, так и не последовало, и атаман, объявленный мятежником, к соблазну страны два месяца уже правил в таком почетном звании областью и войском.

Каледин едва ли не трезвее всех смотрел на состояние казачества и отдавал себе ясный отчет в его психологии. Письма его дышали глубоким пессимизмом и предостерегали от иллюзий. Даже на прямой вопрос, даст ли Дон убежище быховским узникам, Каледин ответил хотя и утвердительно, но с оговорками, что взаимоотношения с Временным правительством, положение и настроение в области чрезвычайно сложны и неопределенны.

Таким образом, начало возникать сомнение в ценности единственной, как тогда представлялось, исходной базы для дальнейшей борьбы. Корнилов быль склонен приписывать это освещение субъективным побуждениям казачьих верхов. В этом убеждении его усиленно поддерживал Завойко, пробравшийся в Новочеркасск. В каждом своем письме он рисовал широкими мазками народные, якобы, настроения: «… Ваше имя громадно, его двигает вперед уже стихия; за ним стоят не отдельные силы или люди, а в полном смысле слова – стихия»… И кстати добавлял: «Здесь на Дояу Ваше имя и значение – бельмо на глазу Богаевскаго[78]]; он полностью забрал в свои руки Каледина и в этом направлении влияет на него; здесь политика по отношению к Вам – двуличная и большая личная ревность. Боятся, что Вы будете на верху, боятся, что Вы не позволите пожить за счет других (?) и т. д.»…

Подобные ориентировки не проходили бесследно, отражаясь на взглядах и настроении Корнилова. Весьма сдержанно отнесся

он также к полученному известию, что 2 ноября приехал в Новочеркасск генерал Алексеев и приступил там к формированию вооруженной силы.

Вообще, на ряду с ожиданием самосуда, в Быховскую тюрьму набегала волна, заносимая многочисленными посетителями и обширной почтой, – волна, выносившая «Быховских узников» на авансцену политической жизни. Не в таких кричащих тонах, как в письмах Завойко, но в таком же свете представляли они общественные настроения в отношении корниловского движения. Цель Завойко, отдаленного от Быкова, довольно определенно сквозила в строках одного из писем: «помните, что стихия за Вами; ничего, ради Бога, не предпринимайте, сторонитесь всех; Вас выдвинет стихия; Вам не надо друзей, ибо в должный момент все будут Вашими друзьями… За Вами придут – это делаю и я»… Другие приносили Корнилову свою искреннюю веру и свое добросовестное, но чисто индивидуальное и зачастую ошибочное понимание текущих событий.

А стихия действительно бушевала. Но стихия всецело враждебная корниловскому движению. В его орбите оставалось только неорганизованное офицерство и значительная масса интеллигенции и. обывательщины, распыленная, захлестываемая, могущая дать искреннее сочувствие, но не силы, нужные для борьбы.

Глава X. Результаты победы Керенского: одиночество власти; постепенный захват ее советами; распад государственной жизни. Внешняя политика правительства и советов

Керенский победил.

Значение этой победы сказалось не только в отношении военной мощи страны, где армия осталась без вождей, но и в области государственного управления, где остались одни вожди без «армии».

Перед страной встал снова кардинальный вопрос о построении верховной власти, ибо прежняя власть разбилась окончательно в «бескровной победе» над корниловским выступлением. Таково было мнение не только «побежденных», но и «победителей». Газета Горького говорила: «Бессильная в самостоятельной борьбе с контрреволюцией, неспособная к положительной творческой работе в деле обороны и борьбы с разрухой, живущая целиком за счет авторитета и поддержки совета и его руками выводящая страну из под смертельного удара корниловщины, – наша власть чувствует себя достаточно „независимой“ и „неограниченной“… в пределах Зимнего дворца».

В центре стояла по-прежнему – одинокая и уже обреченная всем ходом предшествовавших событий фигура Керенского. Разгромив действенные силы не социалистической России, он призывал ее вновь к участию в коалиции, ведя борьбу за попираемые права буржуазии и не видя вне союза с нею иного исхода, как «ликвидацию всего Временного правительства, с премьер-министром во главе».

Революционная демократия в лице Петроградского совета, огромным большинством голосов левых с. р-ов и большевиков, требовала устранения от власти не только партии народной свободы, но и всех цензовых элементов и передачи ее в руки исключительно «революционного пролетариата и крестьянства». Если верить Штейнбергу, из 165 резолюций разных провинциальных организаций не менее 115 высказались за переход всей власти в руки революционной демократии, причем

солдатские комитеты оказывались часто левее рабочих.

К этому времени из состава президиума Совета должны были выйти Чхеидзе, Церетелли, Скобелев и Чернов, как слишком «умеренные». В состав президиума вошли большевики и левые с. р-ы. Новый председатель Совета Бронштейн (Троцкий), сменивший Чхеидзе, считал, что народные массы уже вполне подготовлены к восприятию советской власти, но «после жестокого урока июльских дней стали только более благоразумными, отказались от собственной инициативы и ожидают призыва свыше»…

Прежние вожди – Церетелли, Чхеидзе, Чернов и другие, словом вся та социалистическая интеллигенция, которая вначале стояла во главе советов, потом группировались вокруг Исполнительных комитетов и в течении шести месяцев пыталась руководить судьбами революции, оказалась, как и Керенский, в пустом пространстве. За ними не было больше никого. Они продолжали священнодействовать по инерции, все еще произнося установленные ритуалом речи, в которых, однако, доминировала явно – смертельная тревога за будущее и, может быть, тайно – заглушаемое раскаяние за погубленное прошлое. Выбора не было. Если раньше в числе различных комбинаций можно было еще говорить об однородном социалистическом министерстве, когда большинство состояло из умеренных элементов (оборонческий блок), то при новом соотношении сил вопрос стоял значительно проще: или коалиция с буржуазией, имевшая за собой по крайней мере одно преимущество – давность, или – «вся власть большевистским советам». Независимо от общегосударственного значения того вопроса, он имел для них и чисто личное: первая комбинация оставляла их на авансцене политической жизни страны, вторая низвергала в подполье…

Остановившись на первом решении, Исполнительные комитеты, очевидно только лишь для соблюдения революционных традиций вели длительные, нудные и неискренние переговоры с Керенским. Вначале появилось ультимативное требование устранения от власти кадет – единственного организованного представительства демократии и буржуазии, под предлогом их участия в деле Корнилова, – требование, делавшее фактически не выполнимой идею коалиции. Потом, в результате страстных словопрений состоялся компромисс, в силу которого непосредственое руководство делами государства впредь до окончательного сформирования кабинета временно возложено было на пятичленную директорию[[79]]. Постановление исполнительных комитетов ставило окончательное разрешение вопроса в зависимость от

решения созываемого ими съезда всей организованной демократии (»Демократическое совещание»).

На ряду с преобладающим элементом «революционной демократии» из состава советов, комитетов, Демократическое совещание заключало в себе и значительные контингенты просто демократии, вкрапленные в городские и земские самоуправления, профессиональные союзы, кооперативы и т. д. Совещание должно было по мысли инициаторов установить единый демократический фронт, организовать власть и составить постоянный «революционный парламент» для руководства ею впредь до Учредительного Собрания.

Эта идее и возможность одностороннего захвата власти вызвали большую тревогу и протесты не только в стане буржуазии, но даже в среде самой демократии: так, совет кооперативных съездов заявил, что «Всероссийское совещание должно быть общенациональным и должно быть созвано государственною властью. В нем должны быть представлены все слои населения»…

Надежды и страхи не оправдались.

Совещание проявило поразительное отсутствие чувства государственности и полный разброд мысли, полное отсутствие среди демократии какого бы то ни было единства взглядов даже по основным вопросам государственной жизни. Этот раскол и немощность как нельзя более ярко определились в резолюции по тому главному вопросу, ради которого собиралось совещание. Голосование формулы за необходимость коалиции дало 766 голосов против 688; поправка об исключении к. д. – принята 565 голосами против 483; наконец после этого резолюция в целом о необходимости коалиции отвергнута 813 голосами против 183.

Это голосование нанесло несомненно моральный удар демократии и лишило всякого авторитета Демократическое совещание. Чтобы выйти из положительно непристойного положения, вожди революционной демократии, сняв совершенно вопрос о коалиции, с огромным трудом провели новое постановление, в силу которого будущее правительство должно было руководствоваться «программой 14 августа»[[80]], из состава совещания выделялся представительный орган – предпарламент, причем, «в случае привлечения в состав правительства и цензовых элементов», таковой должен был пополниться делегатами от буржуазных групп; наконец, предусмотрена была ответственность правительства перед парламентом.

Почти вся пресса, хотя и по различным побуждениям, напутствовала безвременно угасшее Демократическое совещание

однообразной эпитафией: «В потоке слов погибла еще одна революционная иллюзия».

Неудивительно, что Керенский счел возможным игнорировать все положения совещания. И после знаменитых заседаний в Малахитовом зале, где в бесконечном словесном турнире еще раз столкнулись представители революционной демократии и «цензовые элементы», к 26-му сентября было достигнуто, наконец, соглашение, в силу которого признана была коалиция и независимость правительства; предпарламенту, переименованному в «Совет российской республики»[81]], решено было дать законосовещательный характер и предоставить созыв его правительству. Наконец, после длительных споров совместными усилиями двух борющихся сторон выработана и опубликована декларация, заключавшая в себе обычные перепевы программ, воззваний, резолюций, имевших один общий недостаток – нереальность в обстановке войны, голода и анархии. И хотя «основными и первейшими задачами» своими правительство поставило «защиту родины от врага внешнего, восстановление законности и порядка и доведение страны до полновластного Учредительного Собрания», т. е. те именно задачи, которые поставлены были и «корниловской программой», но оставалось совершенно не ясным, какими методами будет добиваться верховная власть своей цели.

Методами государственного принуждения, или правительственной кротости?

Немедленно откликнулся Петроградский совет, возглавленный в эти дни Бронштейном (Троцким), резолюцией от 25-го сентября: «Совет заявляет: правительству буржуазного всевластия и контрреволюционного насилия мы – рабочие и гарнизон Петрограда не окажем никакой поддержки… Весть о новой власти встретит со стороны всей революционной демократии один ответ: в отставку!.. И опираясь на этот единственный голос подлинной демократии. Всероссийский съезд советов создаст истинную революционную власть. Совет призывает пролетарские и солдатские организации к сплочению своих рядов»…

И так, открытая война объявлена.

Какой же отклик находила эта борьба за власть вождей среди их «армии» – народных масс – этого многоликого сфинкса, в котором каждое течение находило основание своего первородства.

Никакого.

Народ интересовался реальными ценностями, проявлял глубокое безразличие к вопросам государственного устройства и,

видя ежечасное ухудшение своего правового и хозяйственного положения, роптал и глухо волновался. Народ хотел хлеба и мира. И не мог поверить, что хлеб и мир немедленно не могут дать ему никто: ни Корнилов, ни Керенский, ни Церетелли, ни Ленин.

В атмосфере полного недоверия, в непрестанных больших и малых кризисах, отвлекавших время, внимание и силы, нарушавших душевное равновесие, Директория и Временное правительство нового состава[[82]] продолжали свою работу в сентябре и октябре. Теперь не было уже ни одного класса, ни одной партии, ни одной социальной и политической группировки, на искреннюю поддержку которых могла рассчитывать власть. Она держалась только в силу инерции; только потому, что правая половина верхних слоев русского народа боялась нового катаклизма, левая считала его пока преждевременным, а нижние слои непосредственно правительством не интересовались.

Между тем, распад всей государственной жизни с каждым днем становился все более угрожающими В 1-м томе приведен схематический очерк внутреннего состояния и хозяйственной жизни страны и на этих вопросах я остановлюсь теперь лишь в самых кратких чертах. Все первопричины разрухи оставались в силе, и лишь элемент времени расширил и углубил ее проявления.

Самоопределялись окончательно окраины.

Туркестан пребывал в состоянии постоянной дикой анархии. В Гельсингфорсе открывался явочным порядком финляндский сейм, и местные революционные силы и русский гарнизон предупреждали Временное правительство, что не позволять никому воспрепятствовать этому событию. Украинская центральная рада приступила к организации суверенного учредительного собрания, требовала отдельного представительства на международной конференции, отменяла распоряжения главнокомандующего Юго-западным фронтом, формировала «вольное казачество» – не то опричнину, не то просто разбойные банды – угрожавшее окончательно затопить Юго-западный край.

В стране творилось нечто невообразимое. Газеты того времени переполнены ежедневными сообщениями с месть, под много говорящими заголовками: Анархия, Беспорядки, Погромы, Самосуды и т. д. Министр Прокопович поведал «Совету Российской республики», что не только в городах, но и над армией висит зловещий призрак голода, ибо между местами закупок хлеба и фронтом – сплошное пространство, объятое

анархией, и нет сил преодолеть его. На всех железных дорогах, на всех водных путях идут разбои и грабежи. Так, в караванах с хлебом, шедших по Мариинской системе в Петроград, по пути разграблено крестьянами, при сочувствии или непротивлении военной стражи 100 тыс. пудов из двухсот. Статистика военного министерства за одну неделю только в тыловых войсках и только исключительных событий давала 24 погрома, 24 «самочинных выступления» и 16 «усмирении вооруженной силой». В особенности страдала страшно прифронтовая полоса. Начальник Кавказской туземной дивизии в таких, например, черных красках рисовал положение Подольской губернии, где стояли на охране его части… «Теперь нет сил дольше бороться с народом, у которого нет ни совести, ни стыда. Проходящие воинские части сметают все, уничтожают посевы, скот, птицу, разбивают казенные склады спирта, напиваются, поджигают дома, громят не только помещичьи, но и крестьянские имения… В каждом селе развито винокурение, с которым нет возможности бороться, вследствие массы дезертиров. Самая плодородная страна – Подолия погибает. Скоро останется голая земля».

Замечательно, как своеобразно и элементарно объясняла революционная демократия эти неотвратимые последствия социальной классовой борьбы и безвластия, которые должны были лежать тяжелым камнем на ее душе: «в различных местностях России толпы озлобленных, темных, а часто и отуманенных спиртом людей, руководимые и натравливаемые темными личностями, бывшими городовыми и уголовными преступниками, грабят, совершают бесчинства, насилия и убийства… Может считаться точно установленным, что во всем этом погромном движении участвует смелая и опытная рука черной контрреволюции… Погромная антисемитская агитация и проповедь вражды, насилия и ненависти к инородцам и евреям являются, как показал опыт 1905 года, наилучшей формой (?) для торжества контрреволюционных настроений и Идей»[83]]… Комитет призывал местные советы зорко следить за происками контрреволюционеров и подавлять вооруженной силой их погромные попытки и агитацию. Эти призывы находили благодарную почву в революционной массе, действительно разбавленной более чем ста тысячами амнистированных преступников, совершенно чуждых контрреволюционным побуждениям и заполнявших чиновные места на всех ступенях советской иерархии. Все же не советское и не уголовное поступило в разряд контрреволюционеров.

Со времени корниловского выступления ко всем прежним революционным учреждениям «для борьбы с контрреволюцией»

присоединились еще расцветшие пышным цветом по всей стране особые «революционные комитеты», «комитеты спасения и охраны революции», ознаменовавшие свое существование всевозможными насилиями. Правительство, «свидетельствуя от имени всей нации о чрезвычайных заслугах этих комитетов», признало однако необходимым упразднить их: «самочинных действий в дальнейшем допускаемо быть не должно, и Временное правительство будет с ними бороться как с действиями самоуправными и вредными республике»[84]]. А в тот же день из недр Исполнительного комитета вышел приказ[85]], чтобы органы эти «ввиду продолжающагося тревожного состояния работали с прежней энергией»… Впрочем и само правительство было настолько одержимо боязнью контрреволюции, что для борьбы с нею в начале октября восстановляло «охранные отделения» старого режима, с их кругом ведения, характером и приемами. Только название дано было новое – «особые отделы общественной контрразведки», и в состав включались представители советов, городских управлений и магистратуры.

Правительство было бессильно справиться с анархией и кроме воззваний не делало к этому никаких попыток. Местный представитель его – губернский комиссар был едва ли не наиболее трагикомической фигурой правительственного аппарата. Без какой-либо силы – среди вопиющего бесправия и торжествующего беззакония… Назначаемый «по соглашению с подлежащим комитетом общественных объединенных организаций» и обязанный «действовать в единении с комитетом», – он подвергался однако единоличной ответственности за законность и правильность своих распоряжений[86]].

Власть терпела и не могла порвать цепей, приковывавших ее к советам – даже теперь, когда советы порвали с ней окончательно.

В деревнях земля давно была взята и поделена. Теперь догорали помещичьи усадьбы и экономии, дорезывали племенной скот и доламывали инвентарь. Иронией поэтому звучали слова правительственной декларации, возлагавшей на земельные комитеты упорядочение земельных отношений и передавшей им земли «в порядке, имеющем быть установленным законом и без нарушения существующих форм землевладения»…

Советы подвергали секвестру и социализации одну за другой фабрики и заводы, и в то же время шло массовое закрытие промышленных заведений – к половине октября до тысячи, создавая быстро растущую безработицу и выбрасывая на улицу сотни тысяч обозленных, голодных людей – готовые кадры

будущей Красной гвардии.

Государственная экспедиция допечатывала девятнадцатый миллиард кредитных рублей, и бездонное народное чрево, поглощало бесследно обесцененные бумажные деньги; в то же время агитация против банков и в пользу конфискации капиталов приостановила вклады, нарушила кредитный оборот и вызвала хроническое состояние денежного голода.

Министр путей сообщения Ливеровский в отчаянных посланиях читал отходную железнодорожному транспорту, а в то же время Викжель организовывал всеобщую железнодорожную забастовку. В дни войны и голода! Забастовка состоялась фактически – где три дня, где дольше, пока правительство не подчинилось требованиям железнодорожников и не ассигновало им прибавки содержания в 705 миллионов рублей. Но и эта капитуляция не удовлетворила Викжель, который продолжал предъявлять различные требования политически-правового характера, держа все время власть и командование под угрозой возобновления забастовки.

В такой обстановке протекала работа Временного правительства в последние два месяца его существования.

Что народные массы, освобожденные от всяких сдерживающих влияний, опьянения свободой, потеряли разум и принялись с жестоким садизмом разрушать свое собственное благополучие, это еще понять можно. Что у власти не нашлось силы, воли, мужества, чтобы остановить внезапно прорвавшийся поток, это также неудивительно. Но что делала соль земли, верхние слои народа, социалистическая, либеральная и консервативная интеллигенция, наконец, просто «излюбленные люди», более или менее законно, более или менее полно, но все же представлявшие подлинный народ – это выходит за пределы человеческого понимания. Перечтите отчеты всех этих советов, демократических, государственных и проч. совещаний, комитетов, заседаний, предпарламентов и вас оглушит неудержимый словесный поток, льющий вместо огнегасительной – горючую жидкость в расплавленную народную массу. Поток слов умных, глупых или бредовых; высокопатриотических или предательских; искренних или провокаторских. Но только слов. В них отражены гипноз отвлеченных формул и такая страстная нетерпимость к программным, партийным, классовым отличиям, которая переносит нас к страницам талмуда, средневековой инквизиции и спорам протопопа Аввакума. Они облечены внешней искренностью и внутренней ложью – не только у людей злой воли, но иногда и в устах честных и правдивых. У последних – ложь во спасение. Историк и мыслитель, изучая впоследствии

течение русской революции по этим человеческим документам, вряд ли сумеют установить правильное понимание ее законов, если не обратятся в область патологии: не только для истории, но и для медицины состояние умов в особенности у верхнего слоя русского народа в годы великой смуты представит высокоценный неисчерпаемый источник изучения.

Не удивительно, что после «Московского государственного совещания», «Демократического совещания», «Совета Российской республики» и кратковременного «Учредительного собрания 1918 г.» в глазах многих людей либерального образа мыслей возникло сомнение в непогрешимости основной демократической догмы перевоплощенной в русской пословице: «Глас народа – голос Божий».

В области внешних сношений положение России становилось рее более тяжелым и унизительным.

Министр иностранных дел Терещенко, в стремлении своем быть приемлемым для революционной демократии, безнадежно запутался в сочетании идей интернационализма, преобладавшего в Совете, «революционного оборончества», не искренно проводимого Исполнительным комитетом, и национальной обороны, исповедуемой «цензовыми элементами». Эта тройственность составляет характерную особенность всех его актов. И в последней декларации правительства от 25 сентября механическое смешение всех трех идеологий выразилось в такой дипломатической форме: «…правительство будет неустанно развивать свою действенную внешнюю политику в духе демократических начал, провозглашенных русской революцией, сделавшей эти начала общенациональным достоянием (?), стремясь к достижению всеобщого мира и исключая насилия с чьей бы то ни было стороны». Какие начала: Ленина, Цедербаума (Мартова), Гурвича (Дана), Чернова или… Милюкова? «… Временное правительство… все свои силы положить на защиту общесоюзнического дела, на оборону страны, на решительный отпор всяким попыткам отторжения национальной территории и навязывания России чужой воли, на изгнание неприятельских войск из пределов. родной страны». В этом изложении достаточно определенно проводились в политике – status quo в стратегии – отказ от полной победы и переход от наступления к активной обороне. Только сокровенный смысл фразы «защита обще-союзнического дела», предназначенный для успокоения союзных стран, нарушал несколько общий тон «декларации бессилия», как назвала этот акт печать.

Такая внешняя политика имела своим прикладным результатом лишь возможность длительного пребывания на посту

г. Терещенко и встречала осуждение решительно со всех сторон. Слева ее считали «прямым продолжением внешней политики царизма… не заключающей в себе ни демократического, ни революционного элементов»[87]. Справа говорили о «стиле официального лицемерия», которым о чести и достоинстве России отказываются говорить, о национальных интересах говорят с большой осторожностью»[88]. Любопытно, что сам г. Терещенко в различных интервью определял нашу внешнюю политику, как «политику парадоксов»…

Декларацией предусматривалась посылка на конференцию союзных держав в числе уполномоченных правительства и лица «облеченного особенным доверием демократических организаций». Таковым оказался М. Скобелев. Ему дан был выработанный Центральным исполнительным комитетом наказ, который перейдет в историю, как яркий показатель того политического, морального и патриотического уровня, на котором стояли умеренные вожди революционной демократии. П. Милюков в Совете республики дал тонкий анализ этого постыдного акта, разделив содержание его на «три концентрических круга мыслей»: общепацифистский[89], стокгольмский[90] и специально-советский, представлявший переложение стокгольмского, исправленного в духе утопизма и… германских интересов. От более точного определения этого последнего «круга мыслей» он воздержался. Но было ясно, что это просто предательство Родины, для которой безразлично, поступаются ли ее интересами за серебренники или даром.

Национальные интересы России, ее будущие судьбы и возможность мирного существования, понесенные ею великие жертвы, чудовищное расстройство народного хозяйства обеспечивались в этом акте только следующими положениями: «непременным условием мира является вывод немецких войск (а австрийских, и турецких?) из занятых областей России. Россия предоставляет полное самоопределение Польше, Литве и Латвии». И дальше – общее требование: «все воюющие отказываются от требования возмещения всяких издержек в прямом и скрытом виде». Нигде более в наказе имя России не упоминалось.

Забота об интересах союзников ограничивалась восстановлением Бельгии, Сербии[91], Черногории и Румынии в прежних границах, возмещением убытков Бельгии и материальной помощью Сербии и Черногории из… интернационального фонда, т. е. и за счет союзных и нейтральных держав.

Идее самоопределения вылилась по существу в отторжении

от России – Литвы и Латвии, от Румынии – Добруджи и от Турции – Армении; в сохранении за Германией ее колоний, Познани и польской Силезии (в Эльзасе и Лотарингии допущен быт плебисцит); за Австрией – румынской Трансильвании и всех славянских земель; только в итальянских областях ее допускался плебисцит. Зарубежные поляки, чехословаки, южные славяне, румыны повидимому не заслуживали самоопределения… Массарик, с большой горечью напоминая о забытых, указывал Совету, что такое одностороннее толкование им идеи самоопределения народов, сближает его совершенно со взглядами немецкого империализма.

Неудивительно, что это выступление русской демократии произвело в центральных странах весьма благоприятное впечатление: австро-германская печать отозвалась сдержанным одобрением «перемене курса русской политики», а канцлерский официоз Norddeutsche Allgemeine Zeitung обмолвился даже такой знаменательной фразой: «этот дух программы русской демократии по-видимому воспринял нечто от того примирительного духа, которым проникнуты речи, произнесенные в германском рейхстаге по поводу ноты папы, а также заявление графа Чернина в Будапеште». Воспринял несомненно – через благодать Стокгольмского банка, Циммервальд, руссоненавистничество и духовное затмение.

Наконец, для осуществления скорого мира наказ требовал заключения его «через уполномоченных, выбранных органами народного представительства» – для чего нужно было изменение конституций всех воюющих стран – и не иначе, как «на всемирном конгрессе».

Все эти «парадоксы» официального политического курса и откровения неофициального были бы однако лишь пустым словопрением, без всякого реального значения, если бы они не давали почвы и оправдания тем сумбурным настроениям, который царили в армии – армии, не желавшей знать никаких «целей войны», а жаждавшей немедленного мира во что бы то ни стало. Так смотрели на нашу дипломатию и союзники. С развалом армии она теряла всякий авторитет и влияние, на союзническую политику. В союзных правительствах, парламентах, в печати, не исключая части социалистической, за редкими исключениями отзывались на откровения русской революционной демократии поучающе снисходительно, с иронией или с осуждением, но не придавали им слишком серьезного значения. Крупная английская печать находила, что идеи джентельменов из Совета представляются весьма интересными и будут иметь вероятно большое значение… после окончания войны и

заключения мира. Клемансо резко высказывал удивление, что советы, имеющие в своем активе только поражения, «навязывают французам с их длительными блестящими успехами условия мира, внушенные их мечтаниями».

Что касается социал-демократии союзных стран, то хотя в недрах ее происходил процесс расслоения, и меньшинство все более принимало облик русского большевизма, значительное большинство оставалось верным принятым с начала войны идеям национальной обороны. Почти в то же время, когда составлялся скобелевский наказ, французская социалистическая конференция в Бордо выносила резолюцию, которая, на ряду с проповедью общепацифистских идей, высказывалась за поддержку буржуазного правительства и за решительное продолжение войны до победы.

Союзников глубоко интересовал и тревожил один главный вопрос – о русском фронте.

26 сентября к министру-председателю явились посланники Англии, Франции и Италии и обратились к нему с коллективным заявлением от имени своих держав, – что «общественное мнение их стран требует отчета у правительств по поводу материальной помощи, оказанной России; что русское правительство должно доказать свое стремление использовать все средства, чтобы восстановить дисциплину и истинный воинский дух в армии»[[92]]

Камбон объяснял этот шаг создавшимся в парижских кругах убеждением, что «Временное правительство может, опираясь на верные войска, восстановить боеспособность армии и раздавить большевиков». А Сонино в беседе с нашим послом сообщил, что «коллективное выступление имело именно целью дать поддержку Временному правительству»…

Как бы то ни было, такое выступление являлось тревожным фактом в особенности в связи с упорными слухами о возможности заключения союзниками сепаратного мира.

Позднее, в начале октября, слухи о сепаратном мире получили уже реальное обоснование: после неудачного выступления палы, немецкое правительство в лице министра иностр. дел Кюльмана сделало неофициальное заявление Франции через Бриана, что оно готово обсуждать вопрос об Эльзасе и Лотарингии, о Триесте и восстановлении независимости Бельгии на условиях компенсаций на Востоке… Рибо во французском парламенте, Лорд Сесиль в английском, подтверждая верность союзу, ответили решительным отказом; их заявление успокоило правительство и русскую общественность, Вызвав в России смешанное чувство досады за себя и умиления по

адресу союзников. Министр Прокопович на кооперативном съезде в Москве заявил о нашем отчаянном международном положении: «Мир приближается к нам. Но мир неслыханно позорный для России, мир исключительно за наш счет. Нас спасает пока только благородство союзников, отвергающих делаемые Германией, выгодные для них, но гибельные для нас мирные предложения». Но «быть может чаша терпения их скоро переполнится».

Трудно теперь, после четырехлетнего опыта подходить к мотивам, двигавшим действиями международной дипломатии с точки зрения чистого альтруизма. Его конечно не было. Быль холодный, ясный расчет. Не даром Рибо называл предложение Кюльмана «ловушкой». Самый факт открытия сепаратных переговоров произвел бы в России глубочайший переворот не только в политических взаимоотношениях, но и в психологии русского народа, бросив его в объятия Германии и тем смешав все карты новой игры. Наконец, даже «удачный» исход переговоров, приведя к чрезмерному усилению Германии, нисколько не менял бы того напряженного состояния, которое царило в Европе до войны, не уничтожал, а наоборот увеличивал опасность германского империализма, стремления к политической и экономической гегемонии. Немецкий бронированный кулак, благодаря взращенной в течении трех лет злобе и чувству мести, стал бы вновь огромной угрозой европейскому миру. И в особенности угрозой – если не бытию, то великодержавности Франции, которой с устранением России предстояло в будущем жуткое политическое одиночество.

Вот почему отсечение даже больного духовно и парализованного физически члена Согласия обрекало на бесцельность и бесполезность все громадные жертвы, усилия и затраты союзников.

И когда в дни, приближавшие нас к роковому исходу, за две недели до большевистского переворота, во французском парламенте новый министр иностранных дел Барту с большим подъемом говорил:

– Мы единодушно утверждаешь, что питаем доверие к России

А Тома перебил:

– Надо оказать ей действительную помощь! – в этом диалоге французских государственных людей отразились не столько вера и желание, сколько смертельный страх за судьбы своей родины.

Глава XI. Военные реформы Керенского – Верховского – Вердеревского. Состояние армии в сентябре, октябре. Занятие немцами Моонзунда

После корниловского выступления во главе военного министерства Керенский поставил произведенного им в генералы Верховского и во главе морского – адмирала Вердеревского, который только что был освобожден из под следствия по обвинению его в неисполнении приказа Временного правительства под влиянием флотского комитета. Главной причиной, которая послужила к выдвижению этих лиц была их удивительная приспособляемость к господствующим советским настроениям, постепенно переходившая в чистую демагогию. Этот элемент ярко окрашивает их двухмесячную деятельность. Любопытную характеристику обоим дает сам Керенский[[93]]. Вердеревский по его мнению умный и очень дипломатичный человек, который ради ограждения от дальнейшего поношения, может быть даже истребления, морских офицеров стал «исключительным оппортунистом». Верховский «был не только не способен овладеть положением, но даже понять его». Он был выдвинуть политическими игроками слева и быстро поплыл «без руля и без ветрил» прямо навстречу катастрофе… Верховский ввел в свою деятельность «комический элемент». К этому определению можно добавить еще легкую возбуждаемость на почве не то истерии, не то пристрастия к наркозам… Но Верховский в свое время резко выступил против Корнилова, и это обстоятельство сыграло по признанию Керенского решающую роль: «принимая во внимание колеблющееся поведение во время корниловского выступления всех других желаемых кандидатов, мне буквально не из кого было выбирать, а, между тем, с обеих сторон – правой и левой – проявилось внезапное желание видеть на посту военного министра – военного человека»…

При таких условиях ничто не могло изменить трагической судьбы русской армии.

Изложив немедленно после своего назначения Исполнительному комитету свою программу, заслужившую его одобрение, военный министр приступил к работе, носившей необыкновенно сумбурный характер, не оставившей после себя

никакого индивидуального следа и как будто заключавшейся исключительно в том, чтобы излагать грамотным военным языком безграмотные по смыслу советские упражнения в военной области.

Реформы начались с нового изгнания лиц командного состава. В течение месяца было уволено «за контрреволюцию» 20 высших чинов командования и много других войсковых начальников. Они были заменены лицами, по определению Верховского, имевшими в своем активе «политическую честность, твердость поведения в корниловском деле и контакт с армейскими организациями». В каком то самоослеплении Керенский в конце октября заявил «Совету республики» о необыкновенных результатах этого механического отсеивания: «я счастлив заявить, что в настоящее время ни на одном фронте, ни в одной армии вы не найдете руководителей которые были бы против той системы управления армией, которую я проводил в течение 4 месяцев». Как будто в разъяснение этого заявления Верховский, продолжавший эволюционировать, теперь уже решительными шагами в сторону большевизма, там же в Совете счел нужным обратить внимание армейских организаций на одну очень характерную черту армейского быта: «и сейчас, при новом режиме, появились генералы, и даже в очень высоких чинах, которые определенно поняли, куда ветер дует, и как нужно вести свою линию». Несомненно тяжкое обвинение командного состава, вытекающее из слов Керенского, преувеличено на общем фоне обезличенных начальников, сведенных на степень «технических, советников», кроме типа Черемисова, существовал еще тип Духонина. Между нравственным обликом одного и другого – непроходимая пропасть. Но все те, кто по разным побуждениям примирились внешне с военной политикой правительства, в душе считали политику эту гибельной и ненавидели творцов ее.

Вопрос о революционных организациях оставался в прежнем, если не в худшем положении. Накануне своего удаления от должности, 30 сентября, Савинков успел выпустить приказ, с изложением общих оснований реорганизации этих институтов, в редакции отвергнутой в свое время Корниловым. Власть комиссаров была усилена. Им предоставлены прокурорские обязанности в отношении войсковых организаций в смысле наблюдения за закономерностью деятельности последних, надзор за печатью и устной агитацией и регламентирование права собраний в армии. Вместе с тем на комиссаров возложено было уже официально наблюдение за командным составом армии, аттестация лиц «достойных выдвижения» и возбуждение вопроса об удалении начальников, «не соответствующих занимаемой ими

должности». Тягость положения командного состава усугублялась тем, что приказ не предусматривал границ комиссарского усмотрения (политика, служба, военное дело, общая преступность?) и не определял точно решающей инстанции.

Войсковым комитетам, на ряду с руководством общественной и политической жизнью войск, предоставлялся контроль над органами снабжения и опят-таки надзор за командным составом и аттестование его путем сбора «материалов о несоответствии данного начальника в занимаемой им должности» Революционный сыск, возведенный в систему и оставивший далеко позади черные списки Сухомдиновско-Мясоедовского периода, повис тяжелым камнем над головами начальников, парализуя деятельность даже крайних оппортунистов.

Официальное лицемерие продолжало возносить армейские революционные организации, как важнейшие «устои демократической армии» – очевидно не по убеждению, а по тактическим соображениям. В союзе с ними, хотя и весьма неискреннем, все те, что группировались вокруг Керенского, видели известный демократический покров политического курса и последнюю свою надежду. Порвав с ними, власти нельзя было сохранить даже неустойчивое равновесие и неминуемо приходилось сделать последний шаг вправо или влево: к советам и Ленину или к диктатуре и «белому генералу».

А «покров» почти истлел.

Какой автеритет могли иметь в армии комиссары – представители Временного правительства, если, например, комиссар Северного фронта Станкевич, посетивший в сентябре ревельский гарнизон, имеет задачей «защищать Временное правительство», встречает такой прием: «…я чувствовал всю тщету попыток, так как само слово „правительство“ создавало какие-то электрические токи в зале, и чувствовалось, что волны негодования, ненависти и недоверия сразу захватывали всю толпу. Это было ярко, сильно, непреодолимо и сливалось в единственный вопль: Долой!» В других местах отношение солдатской массы к правительству если и не проявлялось так экспансивно, то, во всяком случае, выражало полнейшее равнодушие или пассивное сопротивление, ежеминутно готовое вылиться в открытый бунт.

Комитеты также изменяли постепенно свой облик. Многие высшие комитеты, которые с весны не переизбирались, сохраняли еще прежние традиции оборончества и условной поддержки правительству (»постольку, поскольку»), теряя постепенно связь с войсками и всякое влияние на них, тогда как другие и большинство низших переходили окончательно в большевистский

лагерь. Из среды комитетов и помимо них текли непрерывно в Петроград делегации и там, минуя Зимний дворец, направлялись в Петроградский совет, черпая в недрах его советы, указания и надежды.

Особенно угрожающее положение занимали флотские организации. Если главный общеармейский комитет завел междоусобие даже с оппортунистической Ставкой Керенского, то Центрофлот предъявлял уже ультиматумы Керенскому и Вердеревскому, угрожая «прервать с ними дальнейшие отношения» и побудить к тому же своих избирателей. А когда в конце сентября Керенский, ввиду немецкого десанта, призывал флот «опомниться и перестать вольно и невольно играть в руку врагу», не замедлил ответ от Съезда представителей Балтийского флота: «потребовать немедленного удаления из рядов правительства Керенского, как лица, позорящего и губящего своим бесстыдным политическим шантажем великую революцию, а вместе с ней весь революционный народ»..

К концу сентября в основание реформ положена была докладная записка, подписанная Духониньим и Дитерихсом[[94]].

Записка Духонина представляет попытку согласования основных начал военной службы с «завоеваниями революции» и поэтому вся проникнута была двойственностью идеи и половинчатостью мер. Поставлено было требование «полного прекращения какой бы то ни было агитации в войсках, независимо от партий», которое сейчас же вступало в неумолимое противоречив с организацией комиссарами и комитетами предвыборной кампании. Устанавливалось два положения военнослужащего «на службе» и «вне службы», причем во втором – все являлись равноправными гражданами, ограниченными лишь «правилами общественного порядка и гигиены» Возстановлялась дисциплинарная власть начальников и право предания ими подчиненных суду, но первая – условно (»если дисциплинарный суд в 24 часа не вынесет решения»), а второе в значительной мере парализовалось предоставлением расследования – выборным комиссиям. Восстановлено отдание чести – только прямым начальникам. Начальник, по мысли записки, становился «представителем власти правительства», а комиссар только его помощником «по части проведения в армии начал государственности». Но этот помощник, «в случае явного направления деятельности начальника в разрез правительственных интересов», имел право «применять решительные меры для поддержания правительственной власти». Компетенция комитетов, правда, сильно ограничивалась и устанавливалась их ответственность. Записка признавала

возможным отказаться от смертной казни, «если все эти меры будут проведены полностью». Вместе с тем, записка намечала целый ряд мер по изменению уставов и насаждению военного и технического образования. Словом, вся реорганизация армии, рассчитанная на длительный период, была поставлена так, как будто Ставка имела впереди много времени и жила в нормальной обстановке, а не имела дело с массой, давно переставшей повиноваться, работать и учиться.

Но и эти робкие попытки восстановления армии оставались в области теоретических предположений. Вводить их в жизнь должно было военное министерство, а Верховский, предвидя события, ставил свою деятельность в зависимость от взглядов Совета. Кажется единственное мероприятие проведено им было скоро и легко – это роспуск из армии четырех старших возрастных классов, который окончательно укрепил солдат в мысли о предстоящей демобилизации.

На практике никаких мер к поднятию дисциплины не было принято. Впрочем, сделать это было бы тем более трудно, что идеология воинской Дисциплины у руководителей вооруженных сил проявлялась официально в формах весьма неожиданных: Верховский, в согласии с мнением советов, видел главную причину разрухи «в непонимании войсками целей войны» и предлагал Правительству и Совету «сделать для каждого человека совершенно ясным, что мы не воюем ради захватов своих и чужих» Ни Рига, ни занятие немцами Моонзунда очевидно не уясняли вопроса в глазах военного министра. Керенский по требованию Совета приостановил приведение в исполнение смертных приговоров в армии, т. е. фактически отменил смертную казнь; Вердеревский проповедывал, что «дисциплина должна быть добровольной. Надо сговориться с массой (!) и на основании общей любви к родине побудить ее добровольно принять на себя все тяготы воинской дисциплины. Необходимо, чтобы дисциплина перестала носить в себе неприятный характер принуждения»[[95]].

Официальное лицемерие продолжало поддерживать легенду о жизнеспособности фронта. Еще 10 октября Верховский говорил «Совету республики»: «люди, которые говорят, что русской армии не существуете не понимают того, что они говорят. Немцы держат на нашем фронте 130 дивизий… Русская армия существует, исполняет свою задачу и исполнит ее до конца». А через несколько дней в заседании комиссии «Совета республики» заявил: у нас нет более армии, необходимо заключить немедленно сепаратный мир с немцами[[96]].

Такое направление военной политики расчищало пути

большевизму в армии. Те самые комиссары и председатели фронтового и армейских комитетов Юго-западного фронта, которые вели со мной столь успешную и победную борьбу в августе, на съезде своем в Киеве в половине октября с большой тревогой обсуждали вопрос, какие меры необходимы, чтобы остановить допущенную, в связи с выборами в Учредительное Собрание, преступную агитацию, переходящую в призыв – бросить окопы и идти домой.

Эту своеобразную «поддержку» получала армия главным образом от тыла. Армия, погрязшая в своих собственных грехах и беззакониях, имела все же право обратиться с недоуменным вопросом к тылу:

– Воюем мы или не воюем?

> «К тылу, к стране, ко всей Российской республике и прежде всего в революционной демократии. Не сваливайте вину на буржуазию, потому что армия обращается не к ней, а к вам, – революционерам и демократам, потому что не буржуазия, вы, – большевики, меньшевики и социалисты-революционеры, называете солдат товарищами. Или товарищеская верность до смерти, или слово „товарищ“ – лживое слово»…

Так писал 3 октября не кто иной, как официоз революционной демократии «Известия».

Тыл ответил словом и делом:

– Не воюем.

Определеннее всех говорил большевизм. В армию, как мы знаем, он пришел с прямым приглашением – отказать в повиновении начальникам и прекратить войну, найдя благодарную почву в стихийном чувстве самосохранения, охватившем солдатскую массу. Впереди предстояла дождливая осень, холодная зима, с неизбежными тяжелыми лишениями, осложненными сильнейшим расстройством тыла. Делегаты, отправляемые со всех фронтов в Петроградский совет с запросами, просьбами, требованиями, угрозами, слышали там иногда от немногочисленных представителей оборонческого блока упреки и просьбы потерпеть, но находили за то полное сочувствие в большевистской фракции Совета, унося с собой в грязные и холодные окопы убеждение, что мирные переговоры не начнутся, пока вся власть не перейдет к большевистским советам.

Осенью в одном из заседаний Петроградского совета, прибывший с фронта офицер Дубасов сказал: «солдаты сейчас не хотят ни свободы, ни земли. Они хотят одного – конца войны. Что бы вы здесь ни говорили, солдаты больше воевать не будут»… Это

заявление, как передавал газетный хроникер, произвело «непередаваемое впечатление». Было бы напрасно, однако, в этом рефлекторном движении искать признаков сожаления или раскаяния. Оно объясняется тем обстоятельством, что в прогрессирующем развале армии была очевидно такая черта, переход которой считался угрозой даже для… большевизма. По крайней мере, по словам Троцкаго, одним из побудительных мотивов к скорейшему захвату большевиками власти было опасение, что «события на фронте могут произвести в рядах революции чудовищный хаос и ввергнуть в отчаяние рабочий массы»[97]].

Петроградский гарнизон, не перестававший играть роковую роль в судьбах революции, составлял предмет исключительного внимания большевистских руководителей. В середине октября Керенский, пришел к необходимости осуществить корниловский план подчинения Петроградского военного округа главнокомандующему Северным фронтом и вывода на фронт частей Петроградского гарнизона. Мера эта уже запоздала. Гарнизон решительно отказал в повиновении, и Петроградский совет всеми доступными мерами противодействовал выводу частей из столицы. Такое отношение усилило в значительной степени влияние Совета и самыми тесными узами связало судьбу гарнизона с судьбой большевизма.

В стране не было ни одной общественной или социальной группы, ни одной политической партии, которая могла бы, подобно большевикам и к ним примыкающим, так безотговорочно, с такой обнаженной откровенностью призывать армию – «воткнуть штыки в землю». Ибо, хотя в среде, пропитанной духом интернационализма, само слово «Родина» было изъято из обращения, но чувство к ней тлело еще в сердцах.

Армии предстояло сыграть решающую роль в октябрьском перевороте: как прямым содействием ему Петроградского гарнизона, так и отказом фронта от борьбы и сопротивления.

Верховский был прав в одном: русская армия, помимо своей воли, не взирая на разлагающие влияния извне и изнутри и бессилие власти, «исполняла свою задачу» – правда весьма односторонне – в интересах союзников: русский фронт все еще удерживал против себя 127 вражеских дивизий[98]]; в этом числе – 80 немецких, т. е. одну треть состава германской армии. Глубина общего развала русских войск учитывалась немецкой главной квартирой, и Гинденбург говорил, что для него не существует совершенно препятствий на русском фронте, в отношении которого он руководствуется только мотивами целесообразности. Петроград казался поэтому весьма заманчивой

целью и гипнотизировал общественное мнение по обе стороны линии фронта. У нас – вызывая сильнейшее беспокойство за участь столицы, за рубежом – возбуждая чрезмерно большие иллюзии. Гинденбург и Людендорф иронизирует над этими настроениями людей, которые настолько не владеют нервами, что «потеряли всякое понятие о времени и пространстве» и не могут хотя бы «прикинуть циркулем расстояние от фронта до Петрограда». Гипноз русской столицы подчинил себе и немецкие войска, и их начальников, стремившихся продолжать наступление хотя бы до Нарвы. Гинденбург свидетельствует, что с этим стремлением приходилось вести серьезную борьбу, чтобы отвратить внимание от Риги и перенести его к берегам Адриатического моря».

Еще с лета немецкая главная квартира решила перенести всю потенцию борьбы исключительно на Запад, отнюдь не расходуя силы и средства на Востоке, не втягивая в длительные операции армию и флот, держа там войска сосредоточено и наготове, в ожидании дня окончательного крушения русской армии и только способствуя его приближению моральным растлением русских солдат и в особенности широкой организацией братания; в октябре братание приняло исключительные размеры на всем огромном фронте от Риги до Тульчи.

Но даже и такая необыкновенно благоприятная для центральных держав обстановка на Востоке не могла спасти их положение.

Для возможности продолжения кампании немцам нужен был мир с Россией во что бы то ни стало. Еще в середине лета Людендорф подготовил проект перемирия, получивший одобрение союзных немцам правительств, канцлера и императора, и с величайшим нетерпением ждал возможности осуществления его. Пока же шли только частные переброски и замена частей, бывших на русском фронте, другими, более слабыми морально и потрепанными в боях на Западе. Общее расстройство транспорта вызывало у немецкого командования беспокойство – успеют ли железные дороги перебросить огромную массу войск, которая освободится После падения русского фронта, к началу весны на Запад, где должна была решиться участь кампании, союзных стран и немецкого народа.

Это обстоятельство, вопреки общей пацифистской тенденции немцев на нашем фронте, побудило их дать новый толчок (Рига) для ускорения процесса распада русской армии и парализования «мозга России» нервирующей, непосредственной угрозой столице путем занятия Моонзундского архипелага.

Для широкой публики обеих мировых группировок – это был

поход на Петроград. Для немецкой главной квартиры – только частная операция, вызванная кроме необходимости психологического воздействия на нас – желанием создать выход накопившимся воинственным настроениям в стране и армии и дать работу германскому флоту, который на почве долгого бездействия и пропаганды «независимых с. д.» только что пережил тревожные дни мятежа. Попутно занятие Моонзудского архипелага создавало выгодное стратегическое положение, отдавая в руки немцев Рижский залив и морские пути к Риге, создавая новую близкую базу для морского и воздушного флота и ставя под серьезную угрозу правый фланг нашего Северного фронта при возможности высадки где-нибудь у Гапсаля и Пернова.

29 сентября сильный германский флот, насчитывавший в своем составе до 12 дредноутов, до 12 крейсеров и большую минную и транспортную флотилию, появился вблизи островов; в тот же день под прикрытием части флота немецкий десант в составе одной пехотной дивизии и бригады самокатчиков начал высадку в Тагалахтской бухте, произведя одновременно небольшую демонстрацию против Даго. Наши сухопутные войска на Эзеле, за исключением некоторых артиллерийских частей, не оказали никакого сопротивления, и немцы на другой день появились уже у дамбы, соединяющей острова Эзель и Моон, и в Аренсбурге; островные батареи наши были частью сметены огнем немецкой судовой артиллерии, частью захвачены войсками десанта. Одновременно, кроме судов, прикрывавших высадку, обозначилось наступление германского флота в трех направлениях:

На юге к Ироенскому проливу сосредоточилась эскадра в составе нескольких дредноутов, 6 крейсеров и многих миноносцев, имея целью прорваться в Рижский залив, вход в который, после падения Церельских батарей, оказался совершенно свободным и требовал лишь серьезного траления ирбенских вод.

Минный отряд – не менее 20 судов – прорвался 29-го в Саэлезунд» угрожая отрезать сообщение о Эзеля по Моонской дамбе и нашу флотилию, находившуюся в Рижском заливе, – от Балтийского моря. Небольшой отряд наших миноносцев отразил неприятеля. 1 октября немецкие миноносцы, поддержанные огнем дредноута, повторили свой маневр, но после горячего боя наш, трижды меньший численно, отряд, потеряв потопленным миноносец «Гром», заставил противника повернуть назад.

В то же время еще одна эскадра из трех дредноутов, в сопровождении миноносцев и подводньгх лодок, появилась в

устье Финского залива, сев. восточнее мыса Дагерорта, угрожая выходам из Моон-Эунда.

В ночь на 4-ое южная германская эскадра, закончив траление, проникла в Рижский залив. Здесь произошел длительный неравный бой с ней эскадры адмирала Бахирева[[99]], в результате которого, после гибели корабля «Славы» и тяжких повреждений, нанесенных прочим судам эскадры, она вынуждена была отойти во внутренние воды Моонзунда.

Главные силы Балтийского флота участия в операции не приняли. На решение это повлияли несомненно не только безнадежность обороны Рижского залива без участия сухопутных войск и технические неудобства плавания в Моонзундских водах, но и моральное состояние личного состава Балтийского флота.

К 7-му весь архипелаг (Эзель, Моон, Даго) был в руках немцев. Они взяли в плен до 20 тысяч человек, около 100 орудий и богатую военную добычу. Началась демонстративная высадка немецкого десанта на материк южнее Гапсаля.

Эскадра Бахирева благополучно ушла в Финский залив.

После страстных столкновений в августе вокруг вопроса о поведении войск при падении Риги, Ставка и буржуазная печать теперь воздерживались от непосредственной оценки. За то яркую и до боли обидную картину нарисовали нам печать и органы самой революционной демократии. От них мы узнали, что из состава русских полков, занимавших Моонзундские позиции, наиболее активные элементы устремились к моонской дамбе и к плавучим средствам, а масса с огромным воодушевлением рвалась… сдаваться в плен. Бросая оружие, с музыкой и пением.

Единодушный отзыв начальников и комитетов свидетельствовал также о высоко доблестном поведении в бою экипажей флотилии Бахирева. Не хочется отравлять душу ядом сомнений. Пусть останется еще одно светлое воспоминание недолгой, но яркой вспышки национального самосознания, жертвенного подвига, воинского долга. Но и к этому отрадному явлению тянулись уже грязные руки с тыла: людей, далеких и в большинстве чуждых боевой страды, торговавших и Родиной, и совестью, и просто… мануфактурой. С фальшивым пафосом и в волнующей своим бесстыдством форме «Съезд представителей Балтийского флота» 5 октября из Гельсингфорса обратился по радиотелеграфу к «народам мира»:

> «Братья! В роковой час, когда звучит сигнал боя, сигнал смерти, мы посылаем вам привет и предсмертное завещание… Наш флот гибнет в неравной борьбе. Ни одно из наших судов не уклонится от боя, ни один моряк

не сойдет побежденным на сушу… Мы выполним (свое обязательство) не по приказу какого-нибудь жалкого русского Бонапарта, царящего лишь милостью революции. Мы исполняем верховное веление нашего революционного сознания. И наша борьба с отечественными хищниками дает нам святое право призвать вас, пролетарии всех стран, твердым перед лицом смерти голосом к восстанию против своих угнетателей».

Как бы то ни было, новое национальное несчастие должно было, казалось, всколыхнуть дремавшее народное самосознание и заставить, по крайней мере, политические верхи переменить свое отношение к вопросу национальной обороны и соединить свои силы для борьбы.

Этого не случилось. Расчеты Людендорфа оправдались вполне. Петроградом действительно овладело паническое настроение, но страна и армия в толще своей отнеслись к новому поражению совершенно равнодушно. В разных сферах русской общественности и в правящих кругах Балтийская катастрофа вызвала самые разнообразные, подчас неожиданные отклики.

Буржуазные элементы и печать в жуткой тревоге за судьбы страны призывали к борьбе с немцами

Умирающие исполнительные комитеты также призывали демократию, но в несколько иной форме «стойко защищать родную землю» и «напрячь все силы для обороны столицы», угрожаемой вражеским нашествием и «погромной агитацией, которую явно ведет контрреволюция»

Совет решил, что Керенский желает отдать немцам столицу и что спасение Петрограда и страны заключается в переходе власти в руки советов и в скорейшем заключении мира.

Войсковые организации присоединились частью к оборонческой, частью к большевистской точке зрения

Петроградская дума также откликнулась многоречивыми заседаниями, образованием «центрального комитета общественной безопасности» и новых пяти комиссий.

Временное правительство постановило эвакуировать Петроград. Это решение, вызванное не столько стратегической обстановкой или паническим настроением, сколько желанием освободиться от невыносимого гнета петроградской революционной демократии, встретило дружный и резкий отпор в ее рядах: переезд правительства в Москву по словам Троцкого изменил бы условия борьбы, и Петроград мог оказаться отрезанным от всей России…

Но наиболее безотрадную картину распада явил собою «Совет Российской республики». После долгого обсуждения вопроса об обороне государства, 18 октября на голосование Совета было поставлено борющимися в нем партиями шесть формул, все шесть были отвергнуты, и вопрос снят с обсуждения; «Совет российской республики» в дни величайшей внешней опасности и накануне большевистского переворота не нашел ни общего языка, ни общего чувства скорби и боли за судьбы Родины. Поистине и у людей не предубежденных могла явиться волнующая мысль: одно из двух – или «соборный разум» – великое историческое заблуждение, или в дни разгула народной стихии прямым и верным отображением его в демократическом фокусе может быть только «соборное безумие».

Глава XII. Большевистский переворот. Попытки сопротивления. Гатчина. Финал диктатуры Керенского. Отношение к событиям в Ставке и Быхов

Огромная усталость от войны и смуты; всеобщая неудовлетворенность существующим положением; неизжитая еще рабья психология масс; инертность большинства и полная безграничного дерзания деятельность организованного, сильного волей и беспринципного меньшинства; пленительные лозунги: власть – пролетариату, земля – крестьянам, предприятия – рабочим и немедленный мир… Вот в широком обобщении основные причины того неожиданного и как будто противного всему ходу исторического развития русского народа факта – восприятия им или вернее непротивления воцарению большевизма. И это в стране, где «степень экономического развития… и степень сознательности и организованности широких масс пролетариата делают невозможным немедленное и полное освобождение рабочего класса»… Где «без сознательности и организованности масс, без подготовки и воспитании их открытой классовой борьбой со всей буржуазией, о социалистической революции не могло быть и речи…» Так по крайней мере думал и писал никто иной, как Ленин в 1905 году[[100]].

Власть падала из слабых рук Временного правительства, во всей стране не оказалось, кроме большевиков, ни одной действенной организации, которая могла бы предъявить свои права на тяжкое наследие во всеоружии реальной силы. Этим фактом в октябре 1917 года был произнесен приговор стране, народу революции.

Троцкий имел основание сказать в Совете за неделю до выступления: «нам говорят, что мы готовимся захватить власть. В этом вопросе мы не делаем тайны… Власть должна быть взята н путем заговора, а путем дружной демонстрации сил».

Действительно, весь процесс захвата власти происходил явно и открыто.

Северный областной съезд советов, Петроградский совет, вся большевистская печать, в которой работал под своим именем и скрывшийся Ленин, призывали к восстанию. 16 октября Троцкий

организовал военно-революционный комитет, к которому должно было перейти фактическое и исключительное право распоряжения петроградским гарнизоном. В последующие дни, после ряда собраний полковых комитетов, почти все части гарнизона признали власть революционного комитета, и последний в ночь на 22-ое объявил приказ о неподчинении войск военному командованию.

Исполнительный комитет возмущенно протестовал: «только безумцы или непонимающие последствий выступления могут к нему призывать. Всякий вооруженный солдат, выходящий на улицу по чьему либо призыву, помимо распоряжений штаба округа… явится преступником против революции…» Это воззвание было актом лицемерия. Ибо те же люди, когда они, казалось, обладали властью, в конце апреля говорили петроградскому гарнизону: «Товарищи солдаты! Без зова Исполнительного комитета (Петроградского совета) в эти тревожные дни не выходите на улицу с оружием в руках. Только Исполнительному комитету принадлежит право располагать вами». Не все ли равно, чьими руками хоронилась правительственная и военная власть – апрельской «семерки»[[101]] или октябрьской «шестерки»[[102]]… С 17 октября при полном непротивлении служащих из казенных складов выдавалось оружие и патроны по ордерам революционного комитета рабочим Выборгской стороны, Охты, Путиловского завода и друг. 22-го в различных частях Петрограда состоялся ряд митингов, на которых виднейшие большевистские деятели призывали народ к вооруженному восстанию. Власть и командование находились в состоянии анабиоза и делали бесплодные попытки «примирения» с Советом, предлагая усилить его представительство при штабе округа. Только 24 октября в заседании «Совета республики» председатель правительства решился назвать то положение, в котором находилась столица, – восстанием.

Заседание это, не имевшее никакого реального влияния на ход Событий, представляет, однако, большой интерес для характеристики настроений правивших кругов и демократии. Из речи Керенского страна узнала о великом долготерпении правительства, почитавшего своей целью стремление, «чтобы новый режим был совершенно свободен от упрека в не оправдываемых крайней необходимостью репрессиях и жестокостях». Что достоинства этого режима вполне признаны даже организаторами восстания, считающими, что «политические условия для свободной деятельности всех политических партий наиболее совершенны в настоящее время в России» Что до сих пор большевикам «предоставлялся срок для того, чтобы они

могли отказаться от своей ошибки», но теперь все времена и сроки вышли и необходимы решительные меры, на принятие которых власть испрашивает поддержку и одобрен Совета.

Только в правой «цензовой» части правительство нашло нравственную поддержку. Демократия в ней отказала. Поставленная на голосование формула левого блока (с.-д. меньшевики и интернацион., лев. с. р-ы и с. р-ы) вместо поддержки выразила осуждение деятельности правительства и потребовала немедленной передачи земли в ведение земельных комитетов и решительных шагов к начатию мирных переговоров; что касается ликвидации выступления, то она возлагалась на «комитет общественного спасения», который должны были создать городское самоуправление и органы революционной демократии. Формула прошла 122 голосами против 102 (прав. блока), при 26 воздержавшихся; в числе последних были нар. социалисты (Чайковский), часть кооператоров (Беркенгейм) и земцев.

Мотивы такого решения революционная демократия привела с полной откровенностью устами Гурвича (Дана): предстоящее выступление большевиков несомненно ведет страну к катастрофе, но бороться с ним революционная демократия не станет, ибо «если большевистское восстание будет потоплено в крови, то, кто бы ни победил – Временное правительство или большевики – это будет торжеством третьей силы, которая сметет и большевиков и Временное правительство и всю демократию». Что касается левых с. р-ов, То, по свидетельству Штейнберга, накануне открытия «Совета республики» между ними и большевиками состоялось полное соглашение и последним обещана полная поддержка в случае революционных выступлений вне Совета[[103]].

И так, пусть гибнет страна во имя революции!

Вопрос решился конечно не речами, а реальным соотношением сил. Когда 25-го в столице началось вооруженное столкновение, на стороне правительства не оказалось никакой вооруженной силы. Несколько военных и юнкерских училищ вступили в бой не во имя правительства, а побуждаемые к тому сознанием общей большевистской опасности; другия считавшияся лояльными части, вызванные из окрестностей столицы, после моральной обработки их посланными Троцким агитаторами отказались выступить; казачьи полки сохраняли «доброжелательный» к большевикам нейтралитет. Весь остальной гарнизон и рабочая красная гвардия были на стороне Совета; к ним присоединились прибывшие из Кронштадта матросы и несколько судов флота.

Снова, как восемь месяцев тому назад, на улицы столицы

вышел вооруженный народ и солдаты, но теперь уже без всякого воодушевления, с еще меньшим, чем тогда, пониманием совершающегося, в полной неуверенности и в своих силах и в правоте своего дела, даже без чрезмерной злобы против свергаемого режима.

Описания жизни обеих столиц в эти дни свидетельству ют о невероятной путанице, нелепости, противоречиях и о той непроходимой, подавляющей пошлости, которая, вместе с грязно кровавым налетом, облекла первые шаги большевизма. Вообще самый переворот перейдет в историю без легенды, без всякой примеси героического элемента, заслоняя декорациями из «Вампуки» и подлинные личные драмы, и великую трагедию русского народа. Не многим лучше была обстановка и в противном лагере: наступление на Петроград войск Краснова, отъезд – бегство Керенского, диктатура в Петрограде в лице глубоко мирного человека доктора Н. М. Кишкина, паралич штаба петроградского округа и метание «комитета спасения», рожденного петроградской думой.

Только военная молодежь – офицеры, юнкера, отчасти женщины – в Петрограде и в особенности в Москве – опять устлали своими трупами столичные мостовые, без позы и фразы умирая… за правительство, за революцию? Нет. За спасение России.

* * *

Генерал Алексеев в эти дни принимал самое живое участие в работе «Совета республики», предоставляя свой авторитет, свой богатый опыт и знание русской армии – либеральному блоку и, в частности, находясь в постоянном общении с к. д. – ским центром. Одновременно он проявлял большое участие в судьбе бездомного нищего офицерства, выброшенного буквально на улицу – в результате обстоятельств корниловского выступления и не прекращавшихся гонений солдатской среды. Ему, удалось, в качестве почетного председателя одного благотворительного общества, путем изменения устава его, распространить благотворительную деятельность на пострадавших воинов. Общество с тех пор стало оказывать негласную помощь офицерам, юнкерам, кадетам и другим военным лицам, в целях спасения их от преследования большевиков, а впоследствии и направления их на Дон. Помощь оказывалась самая разнообразная:

советом, деньгами, одеждой, фальшивыми пропусками на большевистских бланках, железнодорожными билетами и

удостоверениями о принадлежности к одному из казачьих войск или самоопределяющихся окраин.

Еще 25-го видели характерную фигуру генерала Алексеева на улицах города уже объятого восстанием. Видели, как он резко спорил с удивленным и несколько опешившим от неожиданности начальником караула, поставленного большевиками у Мариинского дворца, с целью не допускать заседания «Совета республики». Видели его спокойно проходившего от Исакия к Дворцовой площади сквозь цепи «войск революционного комитета» и с негодованием обрушившегося на какого-то руководителя дворцовой обороны за то, что воззвания приглашают офицерство к Зимнему дворцу «исполнить свой долг», а, между тем, для них не приготовлено ничего – ни оружия, ни патронов…

Приближенные генерала крайне беспокоились за его судьбу, при резком с его стороны противодействии, принимали некоторые меры к его безопасности и настоятельно советовали ему выехать из Петрограда.

В ближайший день вечером в конспиративную квартиру, в которую перевезли генерала Алексеева с Галерной, прибыль Б. Савинков в сопровождении какого-то другого лица и с холодным деланным пафосом, скрестив руки на груди, обратился к генералу:

– И так, генерал, я вас призываю исполнить свой долг перед Родиной. Вы должны сейчас же со мной ехать к донским казакам, властно приказать им седлать коней, стать во главе их и идти на выручку Временному правительству. Этого требует от вас Родина.

Присутствовавший при разговоре ротмистр Шапрон стал горячо доказывать, что это – бессмысленная и непонятная авантюра. Сегодня еще он беседовал с казачьим советом, который заявил, что надежд на 1, 4, 14 донские полки, бывшие в составе петроградского гарнизона, нет никаких. Казаки сплошь охвачены большевизмом или желанием «нейтралитета», и появление генерала, не пользующегося к тому же особенным их расположением, приведет только к выдаче его большевикам. Шапрон указал, что если кому-нибудь можно повлиять на казаков, то вероятно скорее всего «выборному казаку» Савинкову.

– Где же ваши большие силы, организация и средства, о которых так много было всюду разговоров? – закончить он, обращаясь к Савинкову.

Генерал Алексеев отклонил предложение Савинкова, как совершенно безнадежное. Опять патетическая фраза Савинкова:

– Если русский генерал не исполняет своего долга, то я, штатский человек, исполню за него.

И в эту же ночь он уехал. Но не к полкам, а в Гатчину к Керенскому.

Эпизоды вооруженной борьбы под Петроградом описаны подробно и красочно многими участниками[[104]]. Я не могу внести в них ничего нового. Остановлюсь лишь на общей картине, чрезвычайно характерной, как эпилог первого восьмимесячного периода революции, в котором, как в фокусе, отразилась вся внутренняя ложь революционной традиции, приведшей к нелепейшим противоречиям в области политического мышления верхов, к окончательному затмению сознания массы, к вырождению революции.

Гатчино – единственный центр активной борьбы: Петроград агонизирует, Ставка бессильна, Псков (штаб Черемисова) сталь явно на сторону большевиков: генерал Черемисов, предавая и своего благодетеля Керенского, и Временное правительство, еще 25-го приказал приостановить все перевозки войск к Петрограду, склоняя к этому и главнокомандующего Западным фронтом.

В Гатчине собрались все.

Керенский – сохраняющий внешние признаки военной власти, но уже оставленный всеми, по существу – не то узник, не то заложник, отдавший себя на милость «царского генерала» Краснова, которого он «поздравляет» с назначением командующим армией… армией в 700 сабель и 12 орудий![[105]]..

Савинков, который два месяца тому назад с таким пылом осуждал «мятеж» генерала Корнилова, теперь возбуждающий офицеров гатчинского гарнизона против Керенского и предлагающий Краснову свергнуть Керенского и самому стать во главе движения… В поисках «диктатора», создаваемого его руками, он отбрасывал уже всякие условные требования «демократических покровов» и от идеи власти, и от носителя ее.

Циммервальдовец Чернов, прибывший неизвестно с какой целью и одобряющий решение лужского гарнизона «сохранять нейтралитет»…

Верховный комиссар Станкевич, приемлющий и пораженчество и оборончество, но прежде всего мир – внутренний и внешний и ищущий «органического соглашения с большевиками ценою максимальных уступок».

Представители «Викжеля», который держал вначале «нейтралитет», т. е. не пропускал правительственных войск, потом выставил ультимативное требование примирения сторон.

Господа Гоц, Войтинский, Кузьмин и т. д.

И среди этого цвета революционной демократии – монархическая фигура генерала Краснова, который всеми своими

чувствами и побуждениями глубоко чужд и враждебен всему политическому комплоту, окружающему его и ожидающему от его военных действий спасения – своего положения, интересов своих партий, демократического принципа, «завоеваний революций» и т. д.

Поистине трагическое положение. Здесь – обломки Временного правительства; в Петрограде – «комитет спасения», не признающий власти правительства. Здесь на военном совете обсуждают даже возможность вхождения большевиков в состав правительства… Какие же политические цели преследует предстоящая борьба в практическом, прикладном их значении? Свержение Ленина и Троцкого и восстановление Керенского, Авксентьева[[106]], Чернова?[[107]]

Особенно мучительно переживало это трагическое недоумение офицерство отряда; оно с ненавистью относилось к «керенщине» и, если в сознательном или безотчетном понимании необходимости борьбы против большевиков, стремилось все же на Петроград, то не умело передать солдатам порыва, воодушевления, ни даже просто вразумительной цели движения. За Родину и спасение государственности? Это было слишком абстрактно, недоступно солдатскому пониманию. За Временное правительство и Керенского? Это вызывало злобное чувство, крики «Долой!» и требование выдать Керенского большевикам. Столь же мало, конечно, было желание идти и «за Ленина».

Впрочем никаким влиянием офицерство не пользовалось уже давно; в казачьих частях к нему также относились с острым недоверием, тем более, что казаков сильно смущали их одиночество и мысль, что они идут «против народа».

Офицерский корпус в эти дни вступал в новую, наиболее тяжелую и критическую фазу своего существования: на той стороне, как говорил Бронштейн (Троцкий), было также «большое число офицеров, которые не разделяли наших (большевистских) политических, взглядов, но, связанные со своими частями (»loyalement attasches»), сопутствовали своим солдатам на поле боя и управляли военными действиями против казаков Краснова»[[108]].

В результате этого общего великого «недоумения» шли небольшие стычки, в которых сбитый с толку «вооруженный народ» в лице солдат, казаков, матросов, красногвардейцев, то постреливал друг в друга, то бросал оружие и уходил, то целыми часами митинговал – совместно оба лагеря. Вчерашние враги, сегодняшние друзья спорили до одури, воспламенялись истеричными криками какого-нибудь случайного оратора и расходились с еще более затемненным разумом, унося глухую

злобу одинаково – против правительства и командиров, Ленина и большевиков. И у всех было одно неизменное и неизбывное желание – окончить как можно скорее кровопролитие.

Окончилось все 1 ноября бегством Керенского[109]] и заключением перемирия между генералом Красновым и матросом Дыбенко. Судьба жестоко мстила теперь творцам истории о «корниловском мятеже», повторяя в обратном, уродливом преломлении все важнейшие этапы его. Все те элементы, на которых опиралась правительственная власть в борьбе против Корнилова, теперь отвернулись от нее: вожди революционной демократии уже делили ее ризы; советы отрекались от правительства; армейские комитеты один за другим составляли постановления с нейтралитете; «Викжель» остановил перевозку правительственных войск. Совет народных комиссаров, возглавивший Российскую державу 26 октября, писал декреты об «изменниках народа и революции» и ввергал в тюрьмы членов Временного правительства. Единственными элементами, к которым можно было обратиться за помощью для спасения государственности, по иронии судьбы, оказались все те же «корниловские мятежники» – офицеры, юнкера, ударники, Текинцы, все тот же 3-й конный корпус. Только уже лишенные сердца, ясного стимула борьбы и вождя.

1 ноября ген. Духонин, в виду безвестного отсутствия Керенского, принял на себя верховное командование и приказал прекратить отправку войск на Петроград. Он призывал фронт сохранять спокойствие, в ожидании «происходящих между различными политическими партиями переговоров для сформирования Временного правительства».

Подчинившись всецело политическому руководству комиссара Станкевича и Общеармейского комитета, Ставка отказалась от всякой активной борьбы. Такое положение в отношении «правительства народных комиссаров» – без борьбы и без подчинения – не могло быть долговечным. 7 ноября Совет народных комиссаров «повелел» Верховному главнокомандующему тотчас же «обратиться к военным властям неприятельской армии с предложением немедленного приостановления военных действий, в целях открытия мирных переговоров». Духонин 8-го ответил по аппарату комиссару по военным делам Крыленко, что он также считает «в интересах России – заключение скорейшего мира», но что это может сделать только «центральная правительственная власть, поддержанная армией и страной». В тот же день Совет комиссаров «за неповиновение и поведение, несущее неслыханное бедствие трудящимся всех стран и в особенности армиям» сместил

Духонина, предписав ему «продолжать ведение дела, пока не прибудет в Ставку новый главнокомандующий» – Крыленко.

Духонин, опираясь на решение Общеармейского комитета, не признал возможным оставить свой пост.

Положение Ставки, между тем, становилось критическим. Техническое управление фронтом принимало все более фиктивный характер, так как отдельные части дивизии, корпуса, целые армии мало помалу переходили на сторону большевиков. Крыленко на фронте 5 армии вступал уже в переговоры с немецким командованием, и вскоре в Ставке получены были сведения о движении матросского эшелона с новым «Главковерхом» на Могилев сквозь сплошное расположение правительственных войск, объявивших себя «нейтральными». В Могилеве в это время Общеармейский комитет, Чернов, Авксентьев, Скобелев и друг. представители революционной демократии вели нескончаемые разговоры о создании новой власти, потонув в партийных догмах и, как будто не замечая, что они одни, совершенно одни – никому ненужные, никому неинтересные – среди взбаламученного и их руками народного моря.

Быхов переживал чрезвычайно больно новое народное несчастие. Много раз мы обсуждали события. Ген. Корнилов входил в сношения со Ставкой, с Советом казачьих войск, Довбор Мусницким и Калединым и 1 ноября он обратился к Духонину с письмом, которое я привожу в подробном извлечении и с пометками Духонина, рисующими взгляд Ставки на тогдашнее положение:

> «Вас судьба поставила в такое положение, что от Вас зависит изменить исход событий, принявших гибельное для страны и армии направление главным образом благодаря нерешительности и попустительству старшего командного состава. Для Вас наступает минута, когда люди должны или дерзать, или уходить, иначе на них ляжет ответственность за гибель страны и позор за окончательный развал армии.
>
> По тем неполным, отрывочным сведениям, которые доходят до меня, положение тяжелое, но еще не безвыходное. Но оно станет таковым, если Вы допустите, что Ставка будет захвачена большевиками, или же добровольно признаете их власть.
>
> Имеющихся в Вашем распоряжении Георгиевского батальона, наполовину распропагандированного, и слабого Текинского полка далеко недостаточно.

Предвидя дальнейший ход событий, я думаю, что Вам необходимо безотлагательно принять такие меры, которые, прочно обеспечивая Ставку, дали бы благоприятную обстановку для организации дальнейшей борьбы с надвигающейся анархией.

Таковыми мерами я считаю:

1. Немедленный перевод в Могилев одного из Чешских полков и польского уланского полка.

Пометка: «Ставка не считает их вполне надежными. Эти части одни из первых пошли на перемирие с большевиками».

2. Занятие Орши, Смоленска, Жлобина и Гомеля частями польского корпуса, усилив дивизии последнего артиллерией за счет казачьих батарей фронта.

Пометка: «Для занятия Орши и Смоленска сосредоточена 2 Кубанская дивизия и бригада Астраханских казаков. Полков 1 польской дивизии из Быхова не желательно (брать) для безопасности арестованных. Части 1 дивизии имеют слабые кадры и потому не представляют реальной силы. Корпус определенно держится того, чтобы не вмешиваться во внутренняя дела России»[[110]].

3. Сосредоточение на линии Орша – Могилев – Жлобин всех частей Чешско-Словацкого корпуса, Корниловского полка, под предлогом перевозки их на Петроград и Москву и 1–2 казачьих дивизий из числа наиболее крепких.

Пометка: «Казаки заняли непримиримую позицию не воевать с большевиками».

4. Сосредоточение в том же районе всех английских и бельгийских броневых машин с Заменой прислуги их исключительно офицерами.

5. Сосредоточение в Могилеве и в одном из ближайших к нему пунктов, под надежной охраной запаса винтовок, патронов, пулеметов, автоматических ружей и ручных гранат для раздачи офицерам и волонтерам, которые обязательно будут собираться в указанном районе.

Пометка: «Это может вызвать эксцессы».

6. Установление прочной связи и точного соглашения с атаманами Донского, Терского и Кубанского войск и с комитетами польским и чехословацким. Казаки определенно высказались за восстановление порядка в стране[[111]], для поляков же и чехов вопрос восстановления порядка в России – вопрос их собственного существования.

Вот те соображения, которые я считал необходимым высказать Вам, добавляя, что нужно решиться не теряя времени».

Безотрадный взгляд Ставки на общее положение обрисовался и в письме генерал-квартирмейстера Дитерихса к генералу Лукомскому. По словам Дитерихса главное усилие Духонину и ему приходилось направлять для того, чтобы удержать на месте армию – в сущности большевистскую и дать собраться новому правительству, которое, «какое бы оно ни было, первым вопросом поставить мир». «К Вам, представители всей русской демократии – говорил Духонин в своем обращении к стране – к вам, представители городов, земств и крестьянства – обращаются взоры и мольбы армии: сплотитесь все вместе во имя спасения Родины, воспряньте духом и дайте исстрадавшейся земле Русской власть, – власть всенародную, свободную в своих началах для всех граждан России и чуждую насилия, крови и штыка».

Но надежд на это объединение было не много, так как по словам Дитерихса «борьба с большевизмом как бы отошла на задний план, а на главный выдвигается партийность и личности – Искренней же, бескорыстной поддержки нет ни от кого, в том числе и от казачества, ибо оно поставило девизом – поддержку только коалиционного правительства»… Ставка как будто защищала идею могилевских организаций – однородное социалистическое министерство от народных социалистов до большевиков включительно, с Черновым во главе – против донского «либерализма». Это уже значительно суживало базу «всенародности», отзываясь оппортунизмом хотя и последовательным, но в данных условиях вовсе беспочвенным и бесполезным. Действительно, к середине ноября могилевское совещание революционной демократии распалось, не придя ни к какому соглашению. Общеармейский комитет объявил «нейтралитет» Ставки, как военно-технического аппарата, обещая ей вооруженную защиту, явно неосуществимую за отсутствием войск.

Было ясно, что Ставка, обезличенная долгими месяцами Керенского режима, упустив время, когда еще были возможны организация и накопление сил, не может стать моральным организующим центром борьбы.

Глава XIII. Первые дни большевизма в стране и армии. Судьба быховцев. Смерть генерала Духонина. Наш уход из Быхова на Дон

В первые же дни после переворота Совет народных комиссаров издал ряд оглушительных декретов: предложение всем воюющим державам немедленного перемирия на всех фронтах и немедленного открытия переговоров о демократическом мире; о передаче всей земли в распоряжение волостных земельных комитетов; о рабочем контроле в промышленных заведениях; о «равенстве и суверенитете народов России… вплоть до отделения и образования самостоятельных государств;» об отмене судов и законов и т. д.

Однако за смелыми, казалось, до безрассудства действиями новой власти чувствовалась еще полная неуверенность ее в успехе, а в народных массах – недоумение и колебание. В широких кругах не только чисто обывательских, но и зрелых политически царило убеждение, что новый режим – только злокачественный нарыв на теле революции, который очень скоро вскроется, оздоровив наконец немощный, отравленный организм страны.

– Две недели.

Эти «две недели» – плод интеллигентского романтизма – и потом в течение долгих лет черной ночи озаряли тьму своим обманчивым светом, чередуясь с днями отчаяния и безнадежности…

Тем временем в стране шла борьба, принявшая наиболее реальные формы в трех ее проявлениях: в центробежном стремлении окраин, в противодействии местных самоуправлений и в сопротивлении и саботаже со стороны городской демократии.

Объявили о своем суверенитете Финляндия и Украина, об автономии – Эстония, Крым, Бессарабия, казачьи области, Закавказье, Сибирь… Это явление, нося внешние признаки государственной целесообразности в непризнании самозванной центральной власти, заключало в себе серьезную опасность для будущего, как в ослаблении и, может быть, порыве внутренних исторических связей некоторых окраин с Россией, так, главным образом, в полном разъединении материальных и моральных сил при предстоящей борьбе с большевизмом. Внешне как будто все обстояло благополучно:

Киев, Новочеркасск, Екатеринодар, Тифлис заговорили о федерации и коалиционном составе центрального правительства. Но на практике картина получалась иная: Украина «аннексировала» уже Харьковскую, Екатеринославскую, Херсонскую, часть Таврической губерний; Дон вел тяжбу с Украиной о границах и из за пустого в сущности вопроса Екатерининской ж. дороги обе «высокий стороны» придвигали к «пограничным» пунктам гарнизоны; самоопределившиеся «горские народы» огнем и оружием начали уже разрешать спорные исторические вопросы с Тереком; Тифлис накладывал руку на огромные общегосударственные средства Кавказского фронта. Но наиболее гибельной и предопределившей весь исход борьбы явилась идее, воспринятая по убеждению национальными шовинистами и по заблуждению – лояльным элементом: сначала отгородиться совершенно в территориальных, областных, национальных рамках не только от районов, пораженных большевизмом, но и от сравнительно «здоровых» соседей, заняться внутренней организующей работой и накоплением сил, а потом уже выступить активно сообразно со сложившейся политической обстановкой. Эта глубоко ошибочная идее давала большевизму время и возможность, действуя по «внутренним операционным направлениям» стратегического и политического фронта, разбить по частям и смести разрозненные противодействовавшие силы.

Политически-действенные элементы октябрьский переворот разбил на три группы: 1) решительно отрицающих большевизм – в том числе к. д-ты, народные социалисты, кооператоры, группа Единства, правые с. р-ы и большинство профессиональных союзов;

2) приемлющих соглашение с большевиками – с. д. меньшевики и

3) большевики с примыкавшими к ним левыми с. р-ами и интернационалистами. В зависимости от численного или интеллектуального преобладания той или другой группы, в городах сохранялись и возникали самые разнохарактерные центры местного управления, как то правительственные комиссариаты, общественные комитеты спасения, городские самоуправления и, наконец, большевистские военно-революционные комитеты. Иногда одновременно существовало несколько органов власти. Шла борьба, тестами принимавшая ожесточенный и кровавый характер, и в этой борьбе решающее значение получила опять таки тыловая чернь – армия. Мартиролог русских городов, все более растущий, носил характер трагический и однообразный:

по получении известия о падении Временного правительства в городе образовывалась обыкновенно общественная власть; подымался гарнизон; после краткой борьбы, иногда жестокого артиллерийского обстрела, власть сдавалась, и в городе начинались повальные обыски, грабежи и истребление буржуазии.

Весьма длительную и упорную борьбу, хотя и чисто пассивную, повела городская демократия – в широком смысл этого слова, главным образом служилый элементы Служащие государственных и общественных учреждений, инженеры, техники, писцы, железнодорожники, телеграфисты, телефонисты, лица либеральных профессий – прямо или косвенно отказывались служить новому режиму, не пугаясь угроз и насилий, терпеливо перенося отсутствие заработка и содержания, изгнание из квартир и лишение пайков. Это сопротивление как будто грозило остановить весь государственный механизм нового «крестьянско-рабочего» правительства, которое не на шутку испугалось «саботажа буржуазии», призывало ее образумиться и грозило жестокой расправой.

Фронт был покорен «миром».

Союзные правительства через своих военных представителей протестовали перед Ставкой «против нарушения условий договора 23-го августа 1914 г.» и грозили, что «всякое нарушение договора со стороны России повлечет за собою самые тяжелые последствия». Духонин и общеармейский комитет рассылали воззвания и приказы. Главнокомандующий Юго-западным фронтом генерал Володченко признал гражданскую власть Центральной Рады, оставит» за собою оперативную свободу. Этот фронт и Румынский, где наличие румынской армии сдерживало буйные порывы, внешне еще держались. Закавказье переживало дни смертельного страха за свою судьбу перед лицом турецкого нашествия и перестраивало фронт на национальных началах.

Но мало помалу становилось совершенно ясно, что все это только последние пароксизмы «оборончества». Северный и Западный фронты перешли в подчинение советской власти, а от края и до края русских линий началось стихийное ничем уже непредотвратимое «сепаратное заключение мира» – армиями, полками и даже ротами.

В эти же дни, в середине ноября по всем железнодорожным линиям непрерывной вереницей потянулись эшелоны немецких войск с востока на запад.

* * *

В связи с падением Временного правительства, юридическое положение Быховцев становилось совершенно неопределенным. Обвинение в покушении на ниспровержение теперь ниспровергнутого строя принимало совершенно нелепый характер. Кто наши обвинители, наши судьи, какой трибунал может судить нас? Перед нами встал вопрос, не пора ли оставить гостеприимные стены Быховской тюрьмы, тем более, что вся совокупность обстановки указывала на возможность и необходимость большой работы. Генерал Корнилов, истомленный вынужденным бездействием, рвался на свободу. Его поддерживали некоторые молодые офицеры. Но генералы были против: ничего определенного о формировании нового правительства не известно; нам нельзя уклоняться от ответственности; сохранилась еще законная и нами признаваемая военная власть Верховного главнокомандующего, генерала Духонина; а эта власть говорить, что наш побег вызовет падение фронта.

Падение фронта!

Этот фатум тяготел над волей и мыслью всех военоначальников с самого начала революции. Он давал оправдание слабым и связывал руки сильным. Он заставлял говорить, возмущаться или соглашаться там, где нужно было действовать решительно и беспощадно. В различном отражении, в разных проявлениях его влияние наложило свою печать на деятельность таких несхожих по характеру и взглядам людей, как император Николай II, Алексеев, Брусилов, Корнилов. Даже когда разум говорил, что фронт уже кончен, чувство ждало чуда, и никто не мог и не хотел взять на свои плечи огромную историческую ответственность – дать толчок его падению – быть может последний. Кажется, только один человек уже в августе не делал себе никаких иллюзий и не боялся нравственной ответственности – это Крымов…

Вопрос остался открытым. Однако вскоре мы узнали, что Корнилов приказал Текинскому полку готовиться к походу, назначив в один из ближайших дней выступление. Побеседовали совместно – Лукомский, Романовский, Марков и я и решили, чтобы мне переговорить по этому поводу с Корниловым. Я пошел к Верховному.

– Лавр Георгиевич! Вы знаете наш взгляд, что без крайней необходимости нам уходить отсюда нельзя. Вы решили иначе. Ваше приказание мы исполним беспрекословно, но просим предупредить по крайней мере дня за два.

– Хорошо, Антон Иванович, повременим.

Некоторая подготовка, между тем, продолжалась. Составили

маршрут на случай походного движения с Текинцами. Приготовили поддельные распоряжения от имени следственной комиссии Шабловского об освобождении пяти генералов[[112]] на случай, если бы Текинцы остались, чтобы не подводить их и коменданта. Изучали железнодорожный маршрут на Дон. Дело в том, что по инициативе казачьего совета, Атаман просил Ставку отпустить Быховских узников на поруки Донского войска, предоставив для нашего пребывания станицу Каменскую. Ставка колебалась. Корнилову не нравилась такая постановка вопроса и он решил, в случае осуществления этого проекта, покинуть в пути поезд, чтобы не связывать ни себя, ни войско.

Но к середине ноября обстановка круто изменилась. Получены были сведения, что к Могилеву двигаются эшелоны Крыленко, что в Ставке большое смятение и что там создалось определенное решение капитулировать. Наши друзья приняли по-видимому энергичные меры, так как, если не ошибаюсь, 18-го в Быхове получена была телеграмма безотлагательно начать посадку в специальный поезд эскадрона текинцев и полуроты георгиевцев для сопровождения арестованных на Дон.

Мы все вздохнули с облегчением. Что готовит нам судьба в дальнем пути, это был вопрос второстепенный. Важно было выбраться из этих стен на свет Божий, к тому же вполне легально, и снова начать открытую борьбу. Быстро уложились и ждали. Прошли все положенные сроки – не везут. Ждем три, четыре часа… Наконец получается лаконический приказ – телеграмма генерала Духонина коменданту – все распоряжения по перевозке отменить.

Глубокое разочарование, подавленное настроение. Обсуждаем положение. Ночь без сна. Между Могилевым и Быховым мечутся автомобили наших доброжелателей из офицерского комитета и казачьего союза. Глубокой ночью узнаем обстоятельства перемены Ставкой решения. Представители казачьего союза долго уговаривали Духонина отпустить нас на Дон, указывая, что в любую минуту он – Верховный главнокомандующий, если сам не покинет город, может стать просто узником. Духонин согласился, наконец, вручить казачьему представителю именные распоряжения о нашем переезде на имя коменданта Быховской тюрьмы и главного начальника сообщений, но под условием, что эти документы будут использованы лишь в момент крайней необходимости. Казачьи представители нашли, что 18-го этот момент настал. Духонин, узнав о готовящейся посадке, отменил распоряжение, а явившимся к нему казачьим представителям сказал:

– Еще рано. Этим распоряжением я подписал себе смертный

приговор.

Но утром 19-го в тюрьму явился полковник генерального штаба Кусонский и доложил генералу Корнилову:

– Через четыре часа Крыленко приедет в Могилев, который будет сдан Ставкой без боя. Генерал Духонин приказал вам доложить, что всем заключенным необходимо тотчас же покинуть Быхов.

Генерал Корнилов пригласил коменданта, подполковника Текинского полка Эргардта и сказал ему:

– Немедленно освободите генералов. Текинцам изготовиться к выступлению к 12 часам ночи. Я иду с полком.

Духонин был и остался честным человеком. Он ясно отдавал себе отчет, в чем состоит долг воина перед лицом врага, стоящего за линией окопов, и был верен своем долгу. Но в пучине всех противоречий, брошенных в жизнь революцией, он безнадежно запутался. Любя свой народ, любя армию и отчаявшись в других способах спасти их, он продолжал идти, скрепя сердце, по пути с революционной демократией, тонувшей в потоках слов и боявшейся дела, заблудившейся между Родиной и революцией, переходившей постепенно от борьбы «в народном масштабе» к соглашению с большевиками, от вооруженной обороны Ставки, как «технического аппарата», к сдаче Могилева без боя.

В той среде, с которой связал свою судьбу Духонин, ни стимула, ни настроения для настоящей борьбы он найти не мог.

Его оставили все: общеармейский комитет распустил себя 19-го и рассеялся; Верховный комиссар Станкевич уехал в Киев;

генерал-квартирмейстер Дитерихс укрылся в Могилеве и, если верить Станкевичу, это он уговорил остаться генерала Духонина, сдавшегося было на убеждения ехать на Юго-западный фронт. Бюрократическая Ставка, верная своей традиции «аполитичности», вернее беспринципности, в тот день, когда чернь терзала Верховного главнокомандующего, в лице своих старших представителей приветствовала нового главковерха!..

Еще 19-го командиры ударных батальонов, прибывших ранее в Могилев по собственной инициативе, просили разрешения Духонина защищать Ставку. Общеармейский комитет перед роспуском сказал «нет». И Духонин приказал батальонам в тот же день покинуть город.

– Я не хочу братоубийственной войны – говорил он командирам. – Тысячи ваших жизней будут нужны Родине. Настоящего мира большевики России не дадут. Вы призваны защищать Родину от врага и Учредительное Собрание от разгона…

Благословив других на борьбу, сам остался. Изверился

очевидно во всех, с кем шел.

– Я имел и имею тысячи возможностей скрыться. Но я этого не сделаю. Я знаю, что меня арестует Крыленко, а может быть меня даже расстреляют. Но это смерть солдатская.

И он погиб.

На другой день толпа матросов – диких, озлобленных на глазах у «главковерха» Крыленко растерзала генерала Духонина и над трупом его жестоко надругалась.

В смысле безопасности передвижения трудно было определить, который способ лучше: тот ли, который избрал Корнилов, или наш. Во всяком случае далекий зимний поход представлял огромные трудности. Но Корнилов был крепко привязан к Текинцам, оставшимся ему верными до последнего дня, не хотел расставаться с ними и считал своим нравственным долгом идти с ними на Дон, опасаясь, что их иначе постигнет злая участь. Обстоятельство, которое чуть не стоило ему жизни.

Мы простились с Корниловым сердечно и трогательно, условившись встретиться в Новочеркасске. Вышли из ворот тюрьмы, провожаемые против ожидания добрым словом наших тюремщиков георгиевцев, которых не удивило освобождение арестованных, ставшее последнее время частым.

– Дай вам Бог, не поминайте лихом…

На квартире коменданта мы переоделись и резко изменили свой внешний облик. Лукомский стал великолепным «немецким колонистом», Марков – типичным солдатом, неподражаемо имитировавшим разнузданную манеру «сознательного товарища». Я обратился в «польского помещика». Только Романовский ограничился одной переменой генеральских погон на прапорщичьи.

Лукомский решил ехать прямо на встречу Крыленковским эшелонам – через Могилев – Оршу – Смоленск в предположении, что там искать не будут. Полковник Кусонский на экстренном паровозе сейчас же продолжал свой путь далее в Киев, исполняя особое поручение, предложил взять с собою двух человек – больше не было места. Я отказался в пользу Романовского и Маркова. Простились. Остался один. Не стоит придумывать сложных комбинаций: взять билет на Кавказ и ехать ближайшим поездом, который уходил по расписанию через пять часов. Решил переждать в штабе польской дивизии. Начальник дивизии весьма любезен. Он получил распоряжение от Довбор-Мусницкого «сохранять нейтралитет», но препятствовать всяким насилиям советских войск и оказать содействие быховцам, если они обратятся за ним. Штаб дивизии выдал мне удостоверение на имя «помощника начальника перевязочного отряда Александра

Домбровскаго», случайно нашелся и попутчик – подпоручик Любоконский, ехавший к родным, в отпуск. Этот молодой офицер оказал мне огромную услугу и своим милым обществом, облегчавшим мое самочувствие, и своими заботами обо мне во все время пути.

Поезд опоздал на шесть часов. После томительного ожидания, в 10½ ч. мы наконец выехали.

Первый раз в жизни – в конспирации, в несвойственном виде и с фальшивым паспортом. Убеждаюсь, что положительно не годился бы для конспиративной работы. Самочувствие подавленное, мнительность, никакой игры воображения. Фамилия польская, разговариваю с Любоконским по-польски, а на вопрос товарища солдата:

– Вы какой губернии будете?

Отвечаю машинально – Саратовской. Приходится давать потом сбивчивые объяснения, как поляк попал в Саратовскую губернию. Со второго дня с большим вниманием слушали с Любоконским потрясающие сведения о бегстве Корнилова и Бьиховских генералов;

вместе с толпой читали расклеенные по некоторым станциям аршинные афиши. Вот одна: «всем, всем»: «Генерал Корнилов бежал из Быхова. Военно-революционный комитет призывает всех сплотиться вокруг комитета, чтобы решительно и беспощадно подавить всякую контрреволюционную попытку». Идем дальше. Другая – председателя «Викжеля», адвоката Малицкаго: «сегодня ночью из Быхова бежал Корнилов сухопутными путями с 400 текинцев. Направился к Жлобину. Предписываю всем железнодорожникам принять все меры к задержанию Корнилова. Об аресте меня уведомить». Какое жандармское рвение у представителя свободной профессии! Настроение в толпе довольно, впрочем, безразличное. Ни радости, ни огорчения. Любоконский пытается вступать с соседями в политические споры, я останавливаю его. Где то, кажется на станции Конотоп, пришлось пережить неприятных полчаса, когда красноармейцы-милиционеры заняли все выходы из зала, а их начальник по странной случайности расположился возле нашего стола… Не доезжая Сум поезд остановился среди чистого поля и простоял около часа. За стенкой купе слышен разговор:

– Почему стоим?

– Обер говорил, что проверяют пассажиров, кого-то ищут.

Томительное ожидание. Рука в кармане сжимает крепче рукоятку револьвера, который, как оказалось впоследствии… не действовал. Нет! гораздо легче, спокойнее, честнее встречать открыто смертельную опасность в бою, под рев снарядов, под

свист пуль – страшную, но, вместе с тем, радостно волнующую, захватывающую своей реальной жутью и мистической тайной.

Вообще же путешествие шло благополучно, без особенных приключений. Только за Славянском произошел маленький инцидент:

в нашем вагоне, набитом до отказа солдатами, мое долгое лежание на верхней полке показалось подозрительным, и внизу заговорили:

– Полдня лежит, морды не кажет. Может быть сам Керенский?.. (следует скверное ругательство).

– Поверни ка ему шею!

Кто-то дернул меня за рукав, я повернулся и свесил голову вниз. По-видимому сходства не было никакого. Солдаты рассмеялись; за беспокойство угостили меня чаем.

И с нмя встреча была возможна; по горькой иронии судьбы в одно время с «мятежниками» прибыль в Ростов бывший диктатор Росой, бывший Верховный главнокомандующий ее армии и флота Керенский, переодетый и загримированный, прячась и спасаясь от той толпы, которая не так давно еще носила его на руках и величала своим избраннюсом.

Времена изменчивы…

Эти несколько дней путешествия и дальнейшие скитания мои по Кавказу в забитых до одури и головокружения человеческими телами вагонах, на площадках и тормозах, простаивание по много часов на узловых станциях – ввели меня в самую гущу революционного народа и солдатской толпы. Раньше со мной говорили как с главнокомандующим и потому по различным побуждениям не были искренни. Теперь я был просто «буржуй», которого толкали и ругали – иногда злобно, иногда так – походя, но на которого по счастью не обращали никакого внимания. Теперь я увидел яснее подлинную жизнь и ужаснулся.

Прежде всего – разлитая повсюду безбрежная ненависть – и к людям, и к идеям. Ко всему, что было социально и умственно выше толпы, что носило малейший след достатка, даже к неодушевленным предметам – признакам некоторой культуры, чуждой или недоступной толпе. В этом чувстве слышалось непосредственное веками накопившееся озлобление, ожесточение тремя годами войны и воспринятая через революционных вождей истерия. Ненависть с одинаковой последовательностью и безотчетным чувством рушила государственные устои, выбрасывала в окно вагона «буржуя», разбивала череп начальнику станции и рвала в клочья бархатную обшивку вагонных скамеек. Психология толпы не обнаруживала никакого стремления подняться до более высоких форм жизни; царило одно желание –

захватить или уничтожить. Не подняться, а принизить до себя все, что так или иначе выделялось. Сплошная апология невежества. Она одинаково проявлялась и в словах того грузчика угля, который проклинал свою тяжелую работу и корил машиниста – «буржуем», за то, что тот, получая дважды больше жалованья, «только ручкой вертит», и в развязном споре молодого кубанского казака с каким-то станичным учителем, доказывавшим довольно простую истину: для того, чтобы быть офицером, нужно долго и многому учиться.

– Вы не Понимаете и потому говорите. А я сам был в команде разведчиков и прочесть, чего на карте написано, или там что – не хуже всякого офицера могу.

Говорили обо всем: о Боге, о политике, о войне, о Корнилове и Керенском, о рабочем положении и, конечно, о земле и воле. Гораздо меньше о большевиках и новом режиме. Трудно облечь в связные формы тот сумбур мыслей, чувств и речи, который проходили в живом калейдоскопе менявшегося населения поездов и станций. Какая беспросветная тьма! Слово рассудка ударялось как о каменную стену. Когда начинал говорить какой-либо офицер, учитель или кто-нибудь из «буржуев», к их словам заранее относились с враждебным недоверием. А тут же какой то по разговору полуинтеллигент в солдатской шинели развивал невероятнейшую систему социализации земли и фабрик. Из путанной, обильно снабженной мудреными словами его речи можно было понять, что «народное добро» будет возвращено «за справедливый выкуп», понимаемый в том смысле, что казна должна выплачивать крестьянам и рабочим чуть ли не за сто прошлых лет их протори и убытки за счет буржуйского состояния и банков. Товарищ Ленин к этому уже приступил. И каждому слову его верили, даже тому, что «на Аральском море водится птица, которая несет яйца в добрый арбуз и оттого там никогда голода не бывает, потому что одного яйца довольно на большую крестьянскую семью». По-видимому, впрочем, этот солдат особенно расположил к себе слушателей кощунственным воспроизведением ектеньи «на революционный манер» и проповеди в сельской церкви:

– Братие! Оставим все наши споры и раздоры. Сольемся во едино. Возьмем топоры да вилы и, осеняя себя крестным знамением, пойдем вспарывать животы буржуям, Аминь.

Толпа гоготала. Оратор ухмылялся – работа была тонкая, захватывавшая наиболее чувствительные места народной психики.

Помню, как на одном перегоне завязался спор между железнодорожником и каким-то молодым солдатом из за места,

перешедший вскоре на общую тему о бастующих дорогах и о бегущих с поля боя солдатах. Солдат оправдывался:

– Я, товарищ, сам под Бржезанами в июле был, знаю. Разве мы побежали бы? Когда офицера нас продали – в тылу у нас мосты портили! Это, брат, все знают. Двоих в соседнем полку поймали – прикончили.

Меня передернуло. Любоконский вспыхнул:

– Послушайте, какую вы чушь несете! Зачем же офицеры стали бы портить мосты?

– Да уж мы не знаем, вам виднее… Отзывается с верхней полки старообразный солдат – «черноземного» типа:

– У вас, у шкурников всегда один ответ: как даст стрекача, так завсегда офицеры виноваты.

– Послушайте, вы не ругайтесь! Сами то зачем едете?

– Я?.. На, читай. Грамотный?

Говоривший, порывшись за бортом шинели, сунул молодому солдату засаленный лист бумаги.

– Призыва 1895 года. Уволен в чистую, понял? С самого начала войны и по сей день, не сходя с позиции в 25 артиллерийской бригаде служил… Да ты вверх ногами держишь!

Солдаты засмеялись, но не поддержали артиллериста.

– Должно быть «шкура»[113]]… процедил кто-то сквозь зубы. Долгие, томительные часы среди этих опостылевших разговоров, среди невыразимой духоты и пряной ругани одурманивают сознание. Бедная демократия! Не та, что блудит словом в советах и на митингах, а вот эта – сермяжная, серо-шинельная. Эта – от чьего имени в течении полугода говорили пробирающийся теперь тайно в Новочеркасск Керенский, «восторженно приветствуемый» в Тифлисе Церетели и воцарившийся в Петрограде Ленин.

Приехали благополучно в Харьков. Пересадка. Сгрудились стеною для атаки вагона ростовского поезда. Вдруг впереди вижу дорогие силуэты: Романовский и Марков стоят в очереди. Стало легче на душе. Ни выйти из купе, ни даже приоткрыть дверь в коридор, устланный грудой тел, было невозможно. Расстались с Любоконским. Поближе к Дону становится свободнее. Теперь в купе нас всего десять человек: два торговца-черкеса, дама, офицер, пять солдат и я. Проверил документы и осматривал багаж только один раз где-то за Изюмом – вежливый патруль полка Пограничной стражи. У черкесов и у солдат оказалось много мануфактуры.

Все обитатели купе спят. Только два солдата ведут разговор – шепотом, каким то воровским жаргоном. Я притворяюсь спящим и слушаю. Один приглашает другого – по-видимому старого приятеля – «в дело». Обширное предприятие «мешочников»,

имеющее базы в Москве и Ростове. С севера возят мануфактуру, с юга хлеб; какие-то московский и ростовский лазареты снабжают артель «санитарными билетами» и проездными бланками. Далее разговор более тихий и интимный: хорошо бы прихватить черкесскую мануфактуру… Можно обделать тихо – в случае чего припугнуть ножиком – народ жидкий; лучше – перед Иловайской; оттуда можно свернуть на Екатеринослав…

Неожиданное осложнение для нелегального пассажира. Через несколько минуть дама нервно вскочила и вышла в коридор. Очевидно и до ее слуха что-нибудь долетело. На ближайшей большой остановке мешочники вышли в окно за кипятком. Я предупредил черкеса и офицера о возможности покушения. Черкесы куда то исчезли. Из коридора хлынуло в купе, давя друг друга, новое население. Перебравшись с трудом через спящие тела, перехожу в отделение к друзьям. Радостная встреча. Поздоровался с Романовским. Марков сгорает от нетерпения, но выдерживает роль» – не вмешивается.

Здесь гораздо уютнее. Марков – деньщик Романовского – в дружбе с «товарищами», бегает за кипятком для «своего офицера» и ведет беседы самоуверенным тоном с митинговым пошибом и ежеминутно сбиваясь на культурную речь. Какой-то молодой поручик, возвращающийся из отпуска в Кавказскую армию, посылает его за папиросами и потом мнет нерешительно бумажку в руке: дать на чай, или обидится?.. Удивительно милый этот поручик, сохранивший еще незлобие и жизнерадостность, думающий о полку, о войне и как то конфузливо скромно намекающий, что его вероятно уже ждут в полку два чина и «Владимир». Он привязался за время пути к Романовскому и ставил его в труднейшее положение своими расспросами. Иван Павлович на ухо шепнул мне «изолгался я до противности». Поручик увидел меня.

– Ваше лицо мне очень знакомо. Ваша летучка не была ли во 2-й дивизии в 16-м году?

2-ая дивизия действительно входила в состав моего корпуса на Румынском фронте. Я спешу отказаться и От дивизии, и от знакомства.

Но вот, наконец, цель наших стремлений – Донская область. Прошли благополучно Таганрог, где с часу на час ожидалось прибытие матросских эшелонов. Вот и Ростовский вокзал – громадный военный лагерь с каким то тревожным и неясным настроением. Решили до выяснения обстановки соблюдать конспирацию. Марков остался до утра у родных в Ростове. Кавказский поручик предупредительно предлагает взять билеты на Тифлис и озаботиться местами.

– Нет, милый поручик, едем мы вовсе не в Тифлис, а в Новочеркасск; а во 2-й дивизии мы с вами действительно виделись и под Рымником вместе дрались. Прощайте, дай вам Бог счастья…

– А-а! – он застыл от изумления.

В Новочеркасск прибыли под утро. В Европейской гостинице – «контрреволюционный штаб» – не оказалось ни одного свободного номера. В списке жильцов нашли знакомую фамилию – «полковник Лебедев». Послали в номер заспанного швейцара.

– Как о вас доложить?

– Скажите, что спрашивают генералы Деникин и Романовский, – говорит мой спутник.

– Ах, Иван Павлович! Ну и конспираторы же мы с вами!..

В это чуть занимавшееся утро не спалось. После почти трех месяцев замкнутой тюремной жизни свобода ударила по нервам массой новых впечатлений. В них еще невозможно было разобраться. Но одно казалось несомненным и нагло кричало о себе на каждом шагу:

Большевизм далеко еще не победил, но вся страна – во власти черни.

И невидно или почти невидно сильного протеста или действительного сопротивления. Стихия захлестывает, а в ней бессильно барахтаются человеческие особи, не слившиеся с нею. Вспомнил почему-то виденную мною раз сквозь приотворенную дверь купе сцену. В проходе, набитом серыми шинелями, высокий, худой, в бедном потертом пальто человек, очевидно много часов переносивший пытку стояния, нестерпимую духоту и главное всевозможные издевательства своих спутников, истерически кричал:

– Проклятые! Ведь я молился на солдата… А теперь вот, если бы мог, собственными руками задушил бы!.. Странно – его оставили в покое.

Поздно вечером 19 ноября комендант Быховской тюрьмы сообщил георгиевскому караулу о полученном распоряжении освободить генерала Корнилова, который уезжает на Дон. Солдаты приняли это известие без каких либо сомнений. Офицеры караула капитан Попов и прапорщик Гришин беседовали по этому поводу с георгиевцами и встретили с их стороны сочувствие и доброе отношение к уезжающему.

В полночь караул был выстроен, вышел генерал, простился с солдатами, поблагодарил своих «тюремщиков» за исправное несение службы, выдал в награду 2 тысячи рублей. Они ответили пожеланием счастливого пути и провожали его криками «Ура!». Оба караульные офицеры присоединились к Текинцам.

В час ночи сонный Быхов был разбужен топотом коней. Текинский полк во главе с генералом Корниловым шел к мосту и, перейдя Днепр, скрылся в ночной тьме.

Из Могилева двигался навстречу 4-й эскадрон с командиром полка. Командир не сочувствовал походу и не подготовил полк к дальнему пробегу, но теперь шел с ним, так как знал, что не в силах удержать ни офицеров, ни всадников. Не было взято ни карт, ни врача, ни фельдшера и ни одного перевязочного пакета; не запаслись и достаточным количеством денег. Небольшой колесный обоз, взятый с собой, обслуживался регулярными солдатами, которые после первого же перехода бежали.

Текинский полк шел всю ночь и весь день, чтобы сразу оторваться от могилевского района. Следуя в общем направлении на юго-восток и заметая следы, полк делал усиленные переходы, преимущественно по ночам, встречая на пути плохо еще замерзшие, с трудными переправами реки и имее впереди ряд железнодорожных линий, на которых ожидалось организованное сопротивление. В попутных деревнях жители разбегались или с ужасом встречали Текинцев, напуганные грабежами и разбоями вооруженных шаек, бороздивших тогда вдоль и поперек Могилевскую губернию. И провожали с удивлением «диких», в первый раз увидев солдат, которые никого не трогают и за все щедро расплачиваются.

В техническом отношении полковник Кюгельген вел полк крайне не искусно и не расчетливо. В первые семь суток пройдено было 300–350 верст, без дневок, по дорогам и без дорог – лесом, подмерзшими болотами и занесенной снежными сугробами целиной, – по двое суток не расседлывали лошадей; из семи ночей провели в походе четыре; шли обыкновенно без надлежащей разведки и охранения, сбивались и кружили; пропадали отсталые, квартирьеры и раненые…

Был сильный мороз, гололедица; всадники приходили в изнеможение от огромных переходов и бессонных ночей; невероятно страдали от холода и, как говорить один из участников, в конце концов буквально «отупели»; лошади, не втянутые в работу, шли с трудом, отставали и калечились. Впереди – огромный путь и полная неизвестность. Среди офицеров сохранялось приподнятое настроение, поддерживаемое обаянием Корнилова, верностью слову и, может быть, романтизмом всего предприятия: из Быхова на Дон, больше тысячи верст, в зимнюю стужу, среди множества преград и опасностей, с любимым вождем – это было похоже на красивую сказку… Но у всадников с каждым днем настроение падало, и скоро… сказка оборвалась; началась тяжелая проза жизни.

На седьмой день похода, 26-го, полк выступил из села Красновичи и подходил к деревне Писаревке, имея целью пересечь железную дорогу восточнее станции Унечи. Явившийся добровольно крестьянин проводник навел Текинцев на большевистскую засаду: поравнявшись с опушкой леса, они были встречены почти в упор ружейным огнем. Полк отскочил, отошел в Красновичи и оттуда свернул на юго-запад, предполагая обойти Унечи с другой стороны. Около 2 ч. дня подошли к линии Московско-Брестской железной дороги около станции Песчаники. Неожиданно из-за поворота появился поезд и из приспособленных «площадок» ударил по колонне огнем пулеметов и орудия. Головной эскадрон повернул круто в сторону и ускакал[[114]]; несколько всадников – свалилось; под Корниловым убита лошадь[[115]]; полк рассыпался. Корнилов, возле которого остались командир полка и подполковник Эргардт, отъехал в сторону.

Долго собирали полк; подвели его к Корнилову. Измученные в конец Текинцы, не понимавшие что творится вокруг, находились в большом волнении. Они сделали все, что могли, они по-прежнему преданы генералу, но…

– Ах, бояре! Что мы можем делать, когда вся Россия – большевик… – говорили они своим офицерам.

> «Подъехав к сборному пункту полка – рассказывает штаб-ротмистр С. – я застал такую картину: всадники стояли в беспорядке, плотной кучей; тут же лежало несколько раненых и обессилевших лошадей и на земле сидели и лежали раненые всадники. Текинцы страшно пали духом и вели разговор о том, что все равно они окружены, и половины полка нет на лицо и поэтому нужно сдаться большевикам. На возражение офицеров, что большевики в таком случае расстреляют генерала Корнилова, всадники ответили, что они этого не допустят, и в то же время упорно твердили, что необходимо сдаваться. Офицеры попросили генерала Корнилова поговорить с всадниками. Генерал говорил им, что не хочет верить, что Текинцы предадут его большевикам. После его слов стихшая было толпа всадников вновь зашумела и из задних рядов раздались крики, что дальше идти нельзя и надо сдаваться. Тогда генерал Корнилов вторично подошел к всадникам и сказал:
>
> – Я даю вам пять минуть на размышление; после чего, если вы все таки решите сдаваться, вы расстреляете

сначала меня. Я предпочитаю быть расстрелянным вами, чем сдаться большевикам.

Толпа всадников напряженно затихла; и в тот же момент ротмистр Натансон, без папахи, встав на седло, с поднятой вверх рукой, закричал толпе:

– Текинцы! Неужели вы предадите своего генерала? Не будеть этого, не будет!.. 2-й эскадрон садись!»

Вывели вперед штандарт, за ним пошли все офицеры, начал садиться на коней 2-й эскадрон, за ним потянулись остальные. Это не был уже строевой полк – всадники шли вперемешку, толпой, продолжая ворчать, но все же шли покорно за своими начальниками. Кружили всю ночь и под утро благополучно пересекли железную дорогу восточнее Унечи.

В этот день Корнилов решил расстаться с полком, считая, что без него полку будет легче продвигаться на юг. Полк с командиром полка и семью офицерами должен был двигаться в м. Погар, вблизи Стародуба, и далее на Трубчевск, а Корнилов – с отрядом из всех остальных офицеров (одиннадцать) и 32 всадников на лучших лошадях пошел на юг на переправу через Десну, в направлении Новгорода-Северска. Отряд этот натыкался на засады, был окружен, несколько раз был обстрелян и, наконец, 30-го отошел в Погар. Здоровье генерала Корнилова, который чувствовал себя очень плохо еще в день выступления, окончательно пошатнулось. Последний переход он уже едва шел, все время поддерживаемый под руки кем либо из офицеров; страшный холод не давал возможности сидеть на лошади. Считая бесцельным подвергать в дальнейшем риску преданных ему офицеров, Корнилов наотрез отказался от их сопровождения и решил продолжать путь один.

В сопровождении офицера и двух всадников он, переодетый в штатское платье, отправился на станцию Холмичи и, простившись с ними, сел в поезд, отправлявшийся на юг. Командир полка послал телеграмму Крыленко приблизительно такого содержания:

выполняя приказание покойного Верховного главнокомандующего, генерала Духонина, Текинский полк сопровождал на Дон генерала Корнилова; но 26-го полк был обстрелян, под генералом Корниловым убита лошадь, и сам он пропал без вести. За прекращением задачи, полк ожидает распоряжений.

Но распоряжений не последовало. Пробыв в Погарах почти две недели, отдохнув и устроившись, полк в составе 14 офицеров и не более, чем 125 всадников двинулся на юг, никем уже не

тревожимый; принимал участие где-то возле Новгород-Северска в бою между большевиками и украинцами на стороне последних, потом после долгих мытарств попал в Юев. И в январе, ввиду отказа украинского правительства отправить Текинский полк на Дон и последовавшего затем занятия большевиками Киева, полк был распущён. Десяток офицеров и взвод всадников с января сражались в рядах Добровольческой армии.

В ночь на 3 декабря в арестантском вагоне под сильным украинским караулом везли в Киев двух отставших и пойманных текинских офицеров. Один из них, ротмистр А. на станции Конотоп в сопровождении караульного офицера был отпущен в буфет за провизией. На перроне его окликнул хромой старик, в старой заношенной одежде и в стоптанных валенках:

– Здорово товарищ! А Гришин с вами?

– Здравия… здравствуйте, да…

Старик кивнул головой и исчез в толпе.

– Послушайте, да ведь это генерал Корнилов! – воскликнул караульный офицер.

Ледяной холод в сердце, неискренний смешок и сбивчивая речь в ответ:

– Что вы, ха-ха, как так Корнилов, просто знакомый один…

6 декабря «старик» – по паспорту Ларион Иванов, беженец из Румынии – прибыл в г. Новочеркасск, где его ждали с тревожным нетерпением семья и соратники.

Глава XIV. Приезд на Дон генерала Алексеева и зарождение «Алексеевской организации». Тяга на Дон. Генерал Каледин

30 октября генерал Алексеев, не перестававший еще надеяться на перемену политической обстановки в Петрограде, с большим трудом согласился на уговоры окружавших его лиц – бросить безнадежное дело и, согласно намеченному ранее плану, ехать на Дон. В сопровождении своего адъютанта ротмистра Шапрона, он 2-го ноября прибыл в Новочеркасск и в тот же день приступил к организации вооруженной силы, которой суждено было судьбой играть столь значительную роль в истории русской смуты

Алексеев предполагал воспользоваться юго-восточным районом, в частности Доном, как богатой и обеспеченной собственными вооруженными силами базой, для того чтобы собрать там оставшиеся стойкими элементы – офицеров, юнкеров, ударников, быть может старых солдат и организовать из них армию, необходимую для водворения порядка в России. Он знал, что казаки не желали идти вперед для выполнения этой широкой государственной задачи. Но надеялся, «что собственное свое достояние и территорию казаки защищать будут».

Обстановка на Дону оказалась, однако, необыкновенно сложной. Атаман Каледин, познакомившись с планами Алексеева и выслушав просьбу «дать приют русскому офицерству», ответил принципиальным сочувствием; но, считаясь с тем настроением, которое существует в области, просил Алексеева не задерживаться в Новочеркасске более недели и перенести свою деятельность куда-нибудь за пределы области – в Ставрополь или Камышин.

Не обескураженный этим приемом и полным отсутствием денежных средств, Алексеев горячо взялся за дело: в Петроград, в одно благотворительное общество послана была условная телеграмма об отправке в Новочеркасск офицеров, на Барочной улице помещение одного из лазаретов обращено в офицерское общежитие, ставшее колыбелью добровольчества, и вскоре получено было первое доброхотное пожертвование на «Алексеевскую организацию» – 400 руб. – это все, что в ноябре месяце уделило русское общество своим защитникам. Несколько помогло благотворительное общество. Некоторые финансовые

учреждения оправдывали свой отказ в помощи циркулярном письмом генерала Корнилова, требовавшим направления средств исключительно по адресу Завойко Было трогательно видеть и многим, быть может, казалось несколько смешным, как бывший Верховный главнокомандующий, правивший миллионными армиями и распоряжавшийся миллиардным военным бюджетом, теперь бегал, хлопотал и волновался, чтобы достать десяток кроватей, несколько пудов сахару и хоть какую-нибудь ничтожную сумму денег, чтобы приютить, обогреть и накормить бездомных, гонимых людей.

А они стекались – офицеры, юнкера, кадеты и очень немного старых солдат – сначала одиночно, потом целыми группами. Уходили из советских тюрем, из развалившихся войсковых частей, от большевистской «свободы» и самостийной нетерпимости. Одним удавалось прорываться легко и благополучно через большевистские заградительные кордоны, другие попадали в тюрьмы, заложниками в красноармейские части, иногда… в могилу. Шли все они просто на Дон, не имея никакого представления о том, что их ожидает, – ощупью, во тьме через сплошное большевистское море – туда, где ярким маяком служили вековые традиции казачьей вольницы и имена вождей, которых народная молва упорно связывала с Доном. Приходили измученные, оборванные, голодные, но не павшие духом. Прибыл небольшой кадр Георгиевского полка из Киева, а в конце декабря и Славянский ударный полк, восстановивший здесь свое прежнее имя «Корниловский».

Одиссее Корниловского полка чрезвычайно интересна, как показатель тех внутренних противоречий, которые ставила революция перед сохранившими верность долгу частями армии.

Корнилов, прощаясь с полком 1 сентября, писал в приказе: «все ваши мысли, чувства и силы отдайте Родине, многострадальной России. Живите, дышите только мечтою об ее величии, счастье и славе. Бог в помощь вам». И полк пошел продолжать свою службу на Юго-Западный фронт в самую гущу озверелой и ненавидевшей его солдатской массы, становясь на защиту велений ненавидимого им правительства. Слабые духом отпадали, сильные держались. В сентябрьскую и октябрьскую полосу бунтов и мятежей правительственные комиссары широко использовали полк для усмирения, так как «революционные войска» – их войска потеряли образ и подобие не только воинское, но и человеческое. Полк был законопослушен и тем все более навлекал на себя злобу и обвинение в «контрреволюционности». В последних числах октября, когда в Киеве вспыхнуло большевистское восстание, правительственный

комиссар доктор Григорьев[[116]] от имени Временного правительства просит полк поддержать власть и ведет его в Киев, поставив его там нелепыми и безграмотными в военном отношении распоряжениями в тяжелое положение. На улицах города идет кровавый бой, в котором политическая дьявольская мельница отсеяла три течения: 1. корниловцы и несколько киевских военных училищ (Константиновское, Николаевское, Сергиевское) – на стороне не существующего уже Временного правительства; 2. украинцы совместно с большевиками, руководимые двумя характерными фигурами – генеральным секретарем Петлюрой и большевистским комиссаром Пятаковым; 3. чехи и донские казаки, сохраняющие «нейтралитет» и не желающие «идти против народа».

Опять гибнет стойкая молодежь, расстреливаемая я в бою, и просто на улицах, и в домах – украинцами и большевиками.

В разгаре боя комиссар заявляет, что «выступление правительственных войск в Киеве против большевиков натолкнулось на национальное украинское движение, на что он не шел, а потому он приступает к переговорам о выводе правительственных войск»[[117]].

Власть в городе переходит к Центральной раде в блоке с большевиками. Военные училища отправляются на Дон и Кубань, а Корниловский полк получает приглашение Петлюры остаться… для охраны города! Какие чувства недоумения, подавленности и отчаяния должны были испытывать эти люди среди того сплошного бедлама, в который обратилась русская жизнь!

С большим трудом выведя полк из Киева, Неженцев послал отчаянную телеграмму в Ставку, прося спасти полк от истребления и отпустить его на Дон, на что получено было согласие донского правительства. Ставка, боясь навлечь на себя подозрение, категорически отказала. Только 18 ноября, накануне ликвидации Ставки получено было распоряжение Верховного, выраженное условным языком телеграммы: передвинуть полк на Кавказ «для усиления Кавказского фронта и для новых формирований»… Но было уже поздно: все пути заняты большевиками, «Викжель» им содействует; оставалась только одна возможность присоединения по частям к казачьим эшелонам, которые, как «нейтральные», пропускались на восток беспрепятственно. Начинается лихорадочная погрузка полкового имущества. Составили поезд, груженный оружием, пулеметами, обозом – ни один казачий эшелон не берет его с собою. Тогда полк решается на последнее средство: эшелон с имуществом под небольшой охраной с фальшивым удостоверением о принадлежности его к одной из кавказских частей отправляется

самостоятельно, полк распускается, а по начальству доносят, что весь наличный состав разбежался…

И вот, после долгих мытарств к 19 декабря прибывает в Новочеркасск эшелон Корниловского полка, а к 1 января 1918 г. кружными путями в одиночку и группами собираются 50 офицеров и до 500 солдат.

Передо мною список этих офицеров: большая половина их, в том числе и доблестный командир полка, сложили свои головы на тернистом пути от Курска до Новороссийска и Крыма… Прочие – одни живы, других судьбы не знаю.

Я остановился на этих страницах полковой истории, чтобы показать, в каких муках рождалась на свет Добровольческая армия и в какой суровой жизненной школе закалялось упорство и твердость первых бойцов ее. Была и человеческая накипь, быть может очень много, но ей не заслонить светлую идею и подвиг добровольчества.

Пока не определялись еще конкретно ни цели движения, ни лозунги; шел только сбор сил вокруг генерала Алексеева, и имя его служило единственным показателем их политического направления. Но в широких кругах Донской области съезд «контрреволюционного офицерства» и многих людей с одиозными для масс именами, вызвал явное опасение и недовольство. Его разжигала и агитация и свободная большевистская печать. Рабочие, в особенности в Ростове и Таганроге, волновались. Степенное казачество видело большие военные приготовления советской власти и считало, что ее волнение и гнев навлекают только не прошенные пришельцы. Этому близорукому взгляду не чуждо было и само донское правительство, думавшее соглашательством с местными революционными учреждениями и лояльностью в отношении советской власти примирить ее с Доном и спасти область от большевистского нашествия. Казачья молодежь, развращенная на фронте, больше всего боялась опостылевшей всем войны и враждебно смотрела на тех, кто может вовлечь ее в «новую бойню». Сочувствующая нам интеллигенция была, как везде, безгласна и бессильна.

– С Дона выдачи нет!

Эта старинная формула исторической казачьей традиции, значительно, впрочем, поблекшая в дни революции, действовала все же на самолюбие казаков и служила единственным оправданием Каледину в его «попустительстве» по отношению к нежелательным пришельцам. Но по мере того, как рос приток добровольцев, усиливалось давление на атамана извне и увеличивалось его беспокойство. Он не мог отказать в приюте

бездомным офицерам и не хотел раздражать казачество. Каледин просил Алексеева не раз ускорить переезд организации, а пока не делать никаких официальных выступлений и вести дело в возможной тайне.

Такое положение до крайности осложняло развитие организации. Без огласки, без средств, не получая никакого содействия от донского правительства – небольшую помощь, впрочем, оказывали Каледин и его жена тайком, в порядке благотворительности «беженцам» – Алексеев выбивался из сил, взывал к глухим, будил спящих, писал, требовал, отдавая всю свою энергию и силы своему «последнему делу на земле», как любил говорить старый вождь.

Жизнь однако ломала предрассудки: уже 20 ноября атаман Каледин, желая разоружить стоявшие в Новочеркасске два большевистских запасных полка, кроме юнкеров и конвойной сотни, не нашел послушных себе донских частей и вынужден был обратиться за помощью в Алексеевскую организацию. Первый раз город увидел мерно и в порядке идущий офицерский отряд.

Приехав в Яовочеркасск около 22 ноября, я не застал ген. Алексеева, уехавшего в Екатеринодар на заседание правительства Юго-восточного союза. Направился к Каледину, с которым меня связывали давнишнее знакомство и совместная боевая служба. В атаманском дворце пустынно и тихо. Каледин сидел в своем огромном кабинете один, как будто придавленный неизбежным горем», осунувшийся, с бесконечно усталыми глазами. Не узнал. Обрадовался. Очертил мне кратко обстановку

Власти нет, силы нет, казачество заболело, как и вся Россия. Крыленко направляет на Дон карательные экспедиции с фронта. Черноморский флот прислал ультимативное требование «признать власть за советами рабочих и солдатских депутатов». В Макеевском районе объявлена «Донецкая социалистическая республика». Вчера к Таганрогу подошел миноносец, несколько траллеров с большим отрядом матросов; траллеры прошли гирла Дона и вошли в ростовский порт. Военно-революционный комитет Ростова выпустил воззвание, призывая начать открытую борьбу против «контрреволюционного казачества». А Донцы бороться не хотят. Сотни, посланные в Ростов, отказались войти в город. Атаман был под свежим еще гнетущим впечатлением разговора с каким-то полком или батареей, стоявшими в Новочеркасске. Казаки хмуро слушали своего атамана, призывавшего их к защите казачьей земли. Какой-то наглый казак перебил:

– Да что там слушать, знаем, надоели!

И казаки просто разошлись.

Два раза я еще был у атамана с Романовским – никакого просвета, никаких перспектив. Несколько раз при мне Каледина вызывали к телефону, он выслушивал доклад, отдавал распоряжение спокойным и теперь каким-то бесстрастным голосом и, положив трубку, повернул ко мне свое угрюмое лицо со страдальческой улыбкой.

– Отдаю распоряжения и знаю, что почти ничего исполнено не будет. Весь вопрос в казачьей психологии. Опомнятся – хорошо, нет – казачья песня спета.

Я просил его высказаться совершенно откровенно о возможности нашего пребывания на Дону, не создаст ли это для него новых политических осложнений с войсковым правительством и революционными учреждениями.

– На Дону приют вам обеспечен. Но, по правде сказать, лучше было бы вам, пока не разъяснится обстановка, переждать где ни будь на Кавказе или в кубанских станицах…

– И Корнилову?

– Да, тем более.

Я уважал Каледина и нисколько не обиделся за этот совет:

атаману виднее, очевидно так нужно. Но, знакомясь ближе с жизнью Дона, я приходил к выводу, что все направление политики и даже внешние этапы жизни донского правительства и представительных органов сильно напоминали общий характер деятельности и судьбы общерусской власти… Это было тем более странно, что во главе Дона стоял человек несомненно государственный, казалось сильный и, во всяком случае, мужественный.

Каледина я знал еще до войны по службе в Киевском военном округе. Тогда военная жизнь была проще и требования ее элементарнее. Знающий, честный, угрюмый, настойчивый, быть может упрямый. Этим и ограничивались мои впечатления. В первый месяц войны 12-я дивизия, которою он командовал, шла перед фронтом 8 армии Брусилова, в качестве армейской конницы. Брусилов был недоволен действиями конницы и высказывал неодобрение Каледину. По скоро отношение переменилось. Успех за успехом дал имя и дивизии, и ее начальнику. В победных реляциях Юго-западного фронта все чаще и чаще упоминались имена двух кавалерийских начальников – только двух – конница в эту войну перестала быть «царицей поля сражения» – графа Келлера и Каледина, одинаково храбрых, но совершенно противоположных по характеру: один пылкий, увлекающийся, иногда безрассудно, другой спокойный и упорный. Оба не посылали, а водили в бой свои войска. Но один делал это – вовсе не рисуясь – это выходило само собой –

эффектно и красиво, как на батальных картинах старой школы, другой просто, скромно и расчетливо Войска обоим верили и за обоими шли. Неумолимая судьба привела их к одинаковому концу: оба, следуя совершенно разными путями, в последнем жизненном бою погибли на проволочных заграждениях, сплетенных дикими парадоксами революции.

Наши встречи с Калединым носили эпизодический характер, связаны с воспоминаниями о тяжких боях и могут дать несколько характерных черточек к его биографии. Помню встречу под Самбором, в предгорьях Карпат в начале октября 1914 года. Моя 4 стр. бригада вела тяжелый бой с австрийцами, которые обтекали наш фронт и прорывались уже долиной Кобло в обход Самбора. Неожиданно встречаю на походе Каледина с 12 кавал. дивизией, получившей от штаба армии приказание спешно идти на восток, к Дорогобычу. Каледин, узнав о положении, не задумываясь ни минуты пред неисполнением приказа крутого Брусилова, остановил дивизию до другого дня и бросил в бой часть своих сил. По той быстроте, с которой двинулись эскадроны и батареи, видно было, как твердо держал их в руках начальник.

В конце января 15 года судьба позволила мне отплатить Самборский долг. Отряд Каледина дрался в горах на Ужгородском направлении, и мне приказано было усилить его, войдя в подчинение Каледину.

В хате, где расположился штаб, кроме начальника отряда, собрались командир пехотной бригады генерал Попович-Липовац и я со своим начальником штаба Марковым. Каледин долго, пространно объяснял нам маневр, вмешиваясь в нашу компетенцию, давая указания не только бригадам, но даже батальонам и батареям.

Когда мы уходили, Марков сильно нервничал:

– Что это он за дураков нас считает?

Я успокоил его, высказав предположение, что разговор относился преимущественно к Липовацу – храброму черногорцу, но мало грамотному генералу. Но началось сражение, а из штаба отряда шли детальные распоряжения, сбивавшие мои планы и вносившие нервность в работу и раздражение среди исполнителей. Помню такой эпизод: на третий день боя наблюдаю, что какая-то наша батарее стреляет ошибочно по своим; стрелки негодуют и жалуются по всем телефонам; набрасываюсь на батарейных командиров; получаю ответ, что цели видны прекрасно, и ни одна из батарей не стреляет в этом направлении. Приказал на несколько минут прекратить огонь всей артиллерии; продолжаются довольно удачные разрывы… над нашими цепями Бросились искать таинственную артиллерию и

нашли, наконец в трехстах шагах за моим наблюдательным пунктом, в лощине стоит донская батарее, которую Каледин послал ко мне на подмогу, указав ей сам путь, место и даже задачу и цели.

Началась неприятная нервная переписка. Дня через два приезжает из штаба отряда офицер генерального штаба «ознакомиться с обстановкой».

– Это официально, говорит он мне. А неофициально хотел доложить по одному деликатному вопросу. Вы не сердитесь. Генерал всегда так вначале недоверчиво относится к частям, пока не познакомится. Теперь он очень доволен действиями стрелков, поставил вам задачу и больше вмешиваться не будет.

– Ну спасибо, кланяйтесь генералу и доложите, чтоб был спокоен, австрийцев разобьем

Сильный мороз; снег по грудь, бой чрезвычайно тяжелый; уже идет в дело последний рёзерв Каледина – спешенная его кавалерийская бригада. Я никогда не забуду этого жуткого поля смерти, где весь путь, пройденный стрелками, обозначался торчащими из снега неподвижными фигурами с зажатыми в руках ружьями Они застыли в тех позах, в каких застигла их вражеская пуля во время перебежки. А между ними, утопая в снегу, смешиваясь с мертвыми, прикрываясь их телами, пробирались живые на встречу смерти. Бригада растаяла.

Каледин не любил и не умел говорить красивых, возбуждающих слов. Но когда он раза два приехал к моим полкам посидел на утесе, обстреливаемом жестоким огнем, спокойно расспрашивая стрелков о ходе боя и интересуясь их действиями, этого было достаточно, чтобы возбудить их доверие и уважение.

После тяжких боев взята была стрелками деревня Луговиско, – центр позиции, потребовавший смерти многих храбрых, и отряд, разбив австрийцев, отбросил их за Сан.

Май 1916 года застает Каледина в роли командующего 8 армией. Он сменил Брусилова, назначенного главнокомандующим армиями Юго-западного фронта. Назревала большая операция, первоначальные приготовления к которой сделаны были Брусиловым. И как это ни странно, но Брусилов, обязанный всей своей славой 8 армии, почти два года пробывший во главе ее, испытывал какую-то быть может безотчетную ревность к своему заместителю, которая проглядывала во всех их взаимоотношениях и в дни побед и еще более в дни неудач.

Помню, как главнокомандующий прислал своего начальника штаба, генерала Клембовского проверить подготовку ударного фронта 8 армии, выразил в приказе неудовольствие и потом приписал участию Клембовского весьма преувеличенное значение

в успехе операции, наградив его георгиевским оружием. Позиции моей дивизии посетили и Клембовский, и Каледин Первый был необыкновенно учтив и высказывал удовольствие от всего виденного, а потом вдруг в приказе Брусилова появилось несколько неприятных замечаний. Это казалось несправедливым, направленным через наши головы в штаб армии, а главное ненужным: своего опыта было достаточно, и все с огромным подъемом готовились к штурму. Второй – приехал как всегда угрюмый, тщательно осмотрел боевую линию, не похвалил и не побранил, а уезжая сказал:

– Верю, что стрелки прорвут позицию.

В его устах эта простая фраза имела большой весь и значение для дивизии.

В конце мая началось большое наступление всего фронта, увенчавшееся огромной победой, доставившее новую славу и главнокомандующему и генералу Каледину. Его армия разбила на голову 4 австрийскую армию Линзингена и в 9 дней с кровавыми боями проникла на 70 верст вперед, в направлении Владимир-Волынска. На фоне общей героической борьбы не прошла бесследно и боевая работа 4 стрелковой дивизии, которая на третий день после прорыва австрийских позиций у Олыки, ворвалась уже в город Луцк.

В ион и в июле шли еще горячие бои в 8 армии, но к осени, после прибытия больших немецких подкреплений, установилось какое-то равновесие: армия атаковала в общем направлении от Луцка на Львов – у Затурцы, Шельвова, Корытницы, вводила в бой большое число орудий и крупные силы, несла неизменно очень тяжелые потери и не могла побороть сопротивления врага. Было очевидно, что здесь играют роль не столько недочеты управления и морального состояния войск, сколько то обстоятельство, что наступил предел человеческой возможности: фронт, пересыщенный смертоносной техникой и огромным количеством живой силы, стал окончательно непреодолимым и для нас, и для немцев; нужно было бросить его и приступить, не теряя времени, к новой операции, начав переброску сил на другое направление. В начале сентября я командовал уже 8 корпусом и совместно с гвардией и 5 сибирским корпусом повторил отчаянные кровопролитные и бесплодные атаки в районе Корытницы. В начале еще как то верилось в возможность успеха. Но скоро не только среди офицеров, но и в солдатской массе зародилось сомнение в целесообразности наших жертв. Появились уже признаки некоторого разложения: перед атакой все ходы сообщения бывали забиты солдатами перемешанных частей и нужны были огромные усилия, чтобы продвинуть батальоны

навстречу сплошному потоку чугуна и свинца, с не прекращавшимся ни на минуту диким ревом бороздивших землю, подвинуть на проволочные заграждения, на которых висели и тлели неубранные еще от предыдущих дней трупы.

Но Брусилов был неумолим, и Каледин приказывал повторять атаки. Он приезжал в корпус на наблюдательный пункт» оставался по целым часам и уезжал, ни с кем из нас не повидавшись, мрачнее тучи. Брусилов не мог допустить, что 8 армия – его армия топчется на месте, терпит неудачи, в то время, как другие армии, Щербачева и Лечицкаго, продолжают победное движение. Я уверен, что именно этот психологический мотив заслонял собою все стратегические соображения. Брусилов считал, что причина неудачи кроется в недостаточной настойчивости его преемника и несколько раз письменно и по аппарату посылал ему резкие, обидные и несправедливые упреки. Каледин нервничал, страдал нравственно и говорил мне, что рад бы сейчас сдать армию и уйти в отставку, как бы это ни было тяжело для него, но сам уйти не может – не позволяет долг.

После одного неудачного штурма и очередного неприятного разговора с главнокомандующим, Каледин пригласил нас – пять корпусных командиров к себе; не предлагая сесть, чрезвычайно резко и сурово осудил действия войск и потребовал прорыва неприятельских позиций во что бы то ни стало. Через несколько дней – новый штурм, новые ручьи крови и… полный неуспех.

Когда на другой день я получил приказ из армии «продолжать выполнение задачи», в душу невольно закралось жуткое чувство безнадежности. Но через несколько часов Каледин прислал в дополнение к официальному приказу частное «разъяснение», сводившее все общее наступление к затяжным местным боям, имевшим характер исправления фронта. В первый раз вероятно суровый и честный солдат обошел кривым путем подводный камень воинской дисциплины.

Боевая деятельность на фронте армий с этого дня постепенно начала замирать.

Когда вспыхнула революция и в армию хлынули потоком роковые идеи «демократизации», Каледин органически не в состоянии был не только принять «демократизацию», но даже подойти к ней. Он резко отвернулся от революционных учреждений и еще глубже ушел в себя. Комитеты выразили протест, а Брусилов в середине апреля сказал генералу Алексееву:

– Каледин потерял сердце и не понимает духа времени. Его необходимо убрать. Во всяком случае на моем фронте ему оставаться нельзя.

Вновь назначенный главнокомандующий Румынского фронта

генерал Щербачев согласился было предоставить Каледину 6 армию вместо Цурикова, окончательно запутавшегося в демагогии. Но по требованию комитетов Цуриков был оставлен. Тогда я, будучи весною начальником штаба Верховного, предложил Каледину 5 армию на Северном фронте и вошел в соответственные сношения по этому поводу. Но генерал Драгомиров отстаивал своего кандидата – Юрия Данилова, Верховный не поддержал меня, и для генерала Каледина, давшего армии столько славных побед, не нашлось больше места на фронте: он ушел на покой в Военный совет.

Когда из Петрограда Каледин ехал на Дон и его спросили – согласится ли он принять пост донского атамана, на который его выдвигают донские деятели, он ответил:

– Никогда! Донским казакам я готов отдать жизнь; но то, что будет – это будет не народ, а будут советы, комитеты, советики, комитетики. Пользы быть не может. Пусть идут другие. Я – никогда[[118]].

Но, избранный огромным большинством голосов, после неоднократных отказов, Каледин сдался. И 18 июня Донской круг постановил: «по праву древней обыкновенности избрания войсковых атамамов, нарушенному волею Петра I в лето 1709 и ныне восстановленному, избрали мы тебя нашим войсковым атаманом»…

Каледин принял власть, «как тяжелый крест». Он говорил:

– Я пришел на Дон с чистым именем воина, а уйду, быть может, с проклятиями…

Русский патриот и Донской атаман!

В этом двойственном бытии – трагедия жизни Каледина и разгадка его самоубийства. Этот всей революционной демократией и темной толпой подозреваемый, уличаемый и обвиняемый человек проявлял такую удивительную лояльность, такое уважение к принципам демократии и к воле казачества, его избравшего, как ни один из вождей революции. В этом было его моральное оправдание и политическое бессилие. Он мыслил и чувствовал, как русский патриот; жил в эти месяцы, работал и умер, как донской атаман. Каледин ставил себе государственные задачи также ясно, как Алексеев и Корнилов и не менее страстно, чем они, желал освобождения страны. Но в то время, когда они, ничем не связанные, могли идти на Кубань, на Волгу, в Сибирь – всюду, где можно было найти отклик на их призыв, Каледин – выборный атаман, отнесшийся к своему избранию, как к некоему мистическому предопределению, кровно связанный с казачеством и любивший Дон, мог идти к общерусским национальным целям только вместе с донским войском, только возбудив в нем порыв,

подняв чувство если не государственности, то по крайней мере самосохранения. Когда пропала вера в свои силы и в разум Дона, когда атаман почувствовал себя совершенно одиноким, он ушел из жизни.

Ждать исцеления Дона не было сил.

Глава XV. Общий очерк военно-политического положения в начале 1918 г. Украины, Дона, Кубани, Северного Кавказа и Закавказья

Итак, распад центральной власти вызвал временную балканизацию русского государства по признакам национальным, территориальным, историческим, псевдоисторическим, подчас совершенно случайным, обусловленным местным соотношением сил.

Наиболее серьезное значение в этом пестром калейдоскопе новообразований, более или менее склонных сопротивляться распространению власти народных комиссаров, приобрели первое время Украина и Юго-восток России. В их сторону поэтому с наибольшей силой обрушился большевизм. Для объяснения общей обстановки, в которой протекла первоначально борьба Добровольческой армии, необходимо предпослать краткий очерк событий в этих новообразованиях.

* * *

Центральная рада, прикрываясь успокоительными фразами о нерушимости государственной связи с Россией и непризнании лишь правительственного режима ее, продолжала вести шовинистическую политику в отношении России и русских, делая тем заведомо невозможным сложение противобольшевистских сил. Тем более, что территория Украины была насыщена русскими войсками Юго-Западного, отчасти Румынского фронтов, а в центре новообразования, его столице – Киеве насчитывалось всего лишь 9 % населения, считающего своим родным языком украинский. Приступая к организации обороны, Рада, вместе с тем, настойчиво добивалась соглашения с советской властью и повела одновременно секретные переговоры о мире с центральными державами.

Военное положение Украины представляло картину невероятного хаоса. В декабре ген. Щербачев, «согласно постановлению украинской народной республики», принял на себя главное командование войсками Юго-Западного и Румынского фронтов, ставь, таким образом, в двойственное подчинение: к Центральной раде и – на территории Румынского

фронта – к комитету национальных комиссаров, «согласующему свои действия с директивами Украины». Военный комиссариат последней (Петлюра), владет базой снабжения обоих фронтов, стал поэтому фактически руководителем их, поскольку этот термин уместен в применении к анархической солдатской массе.

Петлюра приступил к демобилизации «русских частей» и к формированию «однородной украинской армии», вместе с тем стараясь притянуть те украинизированные войска, которые оставались еще на других фронтах. На всем пространстве Юго-западного края и Новороссии шло разоружение и роспуск не украинских частей. Передвигались эшелоны войск «украинских», большевистских, просто русских, «ничьих», наконец дезертиров. Все они имели одинаковую моральную и боевую ценность, одинаково не желали вести серьезных военных действий, закупоривали станции, оседали временно в попутных городах, иногда вступали в бой друг с другом и чинили погромы. Никакой идеи, никакого национального движения в этом переселении по существу не было; вместо отслаивания шла все большая путаница и в организации и в солдатских умах, все большее недоумение и озлобление, выливавшиеся иногда в жестоких формах теперь уже междоусобной розни. Петлюра, очевидно для внешнего престижа, создал легенду о 3 миллионах украинского войска; союзники, особенно французы, удивительно плохо разбиравшиеся в русских делах, строили иллюзорные планы на создании нового Южного фронта. Один скрывал, другие не понимали, что, помимо общих неблагоприятных условий, на тощей почве украинского неопатриотизма нельзя строить ни народного воодушевления, ни народной армии. Взаимоотношения с советской властью оставались совершенно неопределенными, и в половине декабря украинский секретариат предъявил Петрограду «ультимативный» запрос: «Воюем мы, или нет?»

Действительно, в этом хаосе трудно было определить сущность взаимоотношений двух столкнувшихся «высоких сторон», у которых к тому же ни у одной не было настоящей армии… Тем не менее постепенно стало выясняться, что большевистския банды красной гвардии медленно, но безостановочно распространяются по Украине и целый ряд пунктов на севере ее признают большевистскую власть. Чтобы держать прочно в своих руках по крайней мере Киев, Петлюра вновь пытался прибегнуть к тому универсальному средству, которое практиковалось во все времена и на всех политических фронтах: при посредстве Маркотуна он обратился за содействием к В. Шульгину для привлечения русских офицеров в украинские части. Петлюра, якобы, был готов тогда порвать с большевизмом

Винниченки и с австрофильством Грушевского, утверждая, что «имеет только двух врагов – немцев и большевиков и только одного друга – Россию»[119]].

Но соглашение не состоялось, да было и поздно.

12 января Малая рада опубликовала 4-й универсал, в силу которого «украинская народная республика» становилась «самостоятельной, суверенной державой украинского народа», причем украинскому учредительному собранию предстояло решить «про федеративную связь с народными республиками бывшей Российской империи»…

Суверенитет, однако, продолжался только две недели. Уже 16-го в самом Киеве вспыхнуло восстание. Восставшие большевики – русские, украинские и инородные – овладели арсеналом; началась всеобщая забастовка, поддержанная 35-ю профессиональными союзами; к восставшим присоединились и украинския части. И когда 26-го января к Киеву подошла незначительная советская банда Муравьева, город немедленно перешел в ее руки. Рада, правительство и Петлюра бежали.

Во всех этих событиях, в точности повторяющих повесть падения других русских городов и областей, поражает полное отсутствие национального момента в идее борьбы или, по крайней мере, совершенно ничтожное его знание. Советское правительство объявило, что оно ведет борьбу не против Украинской республики, а против центральной рады, ввиду ее «явно контрреволюционной политики»[120]]. Этому лозунгу – лживому, но, по крайней мере, определенному и популярному в массах, Украина могла противополагать лишь полный разброд народных устремлений, слагавшихся из крайне разнообразных факторов. В области социальной – острое недовольство рабочих Киева, Одессы, Харькова и других фабричных центров и индиферентное отношение крестьянства, занятого черным переделом, согласно 3-му универсалу; в отношении политическом – влияние, которое издавна оказывали на раду центральные державы, стремление к власти политиканствовавших украинских кругов, колебания или безучастие русских людей, поставленных между большевизмом и самостийностью; наконец, просто – чувство самосохранения, объединявшее более благоразумную часть населения и желание спасти край от моральных и физических последствий нашествия большевиков. Но клич – «Хай живе вильна Украина» совершенно не будил ни разума, ни чувства в сколько-нибудь широких кругах населения, отзываясь неестественной бутафорией. Ничего «народного», «общественного», «национального» не было в столкновении советских и украинских банд – безыдейных, малочисленных и

неорганизованных. И вовсе не они решили исход событий: было ясно, что большевизм советов побеждал психологически полу большевизм Рады, петроградский централизм брал верх над киевским сепаратизмом.

Как бы то ни было, 4-ый универсал дал немцам официальный предлог «признать» Украинскую республику, заключить с ней мир (27 января) и впоследствии приступить к фактической оккупации всего хлебородного юга России.

Обстановка, сложившаяся на Украине к январю 1918 года, оказала чрезвычайно неблагоприятное влияние на положение Юго-Востока, в частности Дона. До тех пор с фронта беспрепятственно про пускались на Дон и на Кавказ казачьи эшелоны, и Рада из чувства самосохранения не допускала прохода через украинскую территорию большевистских войск. Теперь для большевиков открывались прямые пути на Дон, до крайности затруднялся приток пополнений в Добровольческую армию и прекращался подвоз военного снаряжения из богатых запасов Юго-западного фронта, до сих пор, 9-соть и не в большом количестве, просачивавшихся с попутными эшелонами.

Первый Донской круг дал пернач выборному атаману, но не дал ему власти. Во главе области поставлено было «войсковое правительство», состоявшее из 14 старшин, избранных каждым округом «излюбленных людей», вне всякой зависимости от их государственного, общественного и просто делового стажа. Атаман являлся только председателем в заседаниях правительства, а его помощник – членом. Эти заседания имели характер заседаний провинциальной городской думы с нудными, митинговыми, а главное лишенными практического значения словопрениями. Деятельность эта не оставила по себе никакого следа в истории Дона, и на тусклом фоне ее меркли крупный и твердый государственный разум Каледина и яркий молодой порыв донского баяна Митрофана Богаевскаго.

Каледин отзывался в разговорах со мной о правительстве с большой горечью. Богаевский выражался о нем осторожно и деликатно: оно «по своему составу было не сильно: члены правительства были люди безусловно честные и добросовестные, но не смогли сразу охватить всей колоссальной работы»[[121]]. Во всяком случае, в среде правительства государственные взгляды Каледина поддержки не нашли, и ему предстояло идти или путем «революционным» наперекор правительству и настроениям казачества, или путем «конституционным», демократическим которым он пошел и который привел его и Дон к самоубийству.

В первое время после октябрьского переворота донская власть искала связи с обломками Временного правительства[[122]] при

помощи таких несерьезных посредников, как бывший командующий войсками московского округа Грузинов и крупный темный делец Молдавский. Но правительство сгинуло, и Каледину поневоле приходилось на Дону принимать на себя функции центральной власти, что он делал с большой осмотрительностью и даже нерешительностью. Вместе с тем, чтобы получить более широкую народную опору, донское правительство 20 ноября обратилось к населению области с весьма либеральной декларацией, созывая на 29 декабря единовременный съезд казачьего и крестьянского населения для устроения жизни Донской области и привлечения к участию в управлении краем пришлого элемента. В начале января вопрос этот разрешился образованием коалиционного министерства на паритетных началах, причем 7 месть было предоставлено казачеству и 7 иногородним. 3-й донской круг, впредь до установления законодательного органа, предоставил правительству всю полноту власти. Но иногородний съезд ограничил ее выделением дел, касающихся не казачьего населения, из общей компетенции правительства и передачей их на усмотрение иногородней половины его. Это расширение базы и привлечение в состав правительства демагогов-интеллигентов и революционной демократии, быть может полнее отражая колеблющееся, неустойчивое настроение области, вызвало, как увидим ниже, паралич власти в основном и для этого времени единственно жизненном вопросе – борьбе с большевизмом.

Крестьянство, составлявшее 48 % населения области, увлеченное широкими посулами большевиков, не удовлетворялось теми мероприятиями, которые принимала донская власть – введшем земства в крестьянских округах, привлечением крестьян к участию в станичном самоуправлении, широком приеме их в казачье сословие и наделением 3 миллионами десятин отбираемой у помещиков земли. Под влияшем пропаганды пришлого социалистического элемента, крестьянство ставило непримиримо требование общего раздела всей казачьей земли[[123]]. Рабочая среда – наименьшая численно (10–11 %), но сосредоточенная в важных центрах и наиболее беспокойная – не скрывала своих явных симпатий к советской власти. Революционная демократия не изжила своей прежней психологии и с удивительным ослеплением продолжала ту разрушительную политику, которую она вела в Таврическом дворце и в Смольном и которая погубила уже ее дело в общерусском масштабе. Блок с.-д. меньшевиков и с-р. – ов царил на всех крестьянских, иногородних съездах, в городских думах, советах солдатских и рабочих депутатов, в профессиональных

организациях и межпартийных собраниях. Не проходило ни одного заседания, где бы не выносились резолюции недоверия атаману и правительству, где бы не слышалось протестов против всякой меры, вызванной военными обстоятельствами и анархией. Они протестовали против военного положения, против разоружения большевистских полков, против арестов большевистских агитаторов. Они проповедывали нейтралитет и примирение с той силой, которая шла на пролом и устами одного из своих военных начальников, шедших покорять Дон, объявляла: «требую от всех встать за нас или против нас. Нейтральности не признаю»[124]]. Была ли эта деятельность результатом серьезного сложившегося убеждения? Конечно нет: к ней обязывала партийная дисциплина и партийная нетерпимость. На одном из собраний нар. соц. Шик, характеризуя позицию, занятую социалистами ростовской думы, говорил: «в тиши (они) мечтают о казачьей силе, а в своих официальных выступлениях эту силу чернят».

Но недоверие, и неудовлетворенность деятельностью атамана Каледина наростало и в противоположном лагере. В представлении кругов Добровольческой армии и ее руководителей, доверявших вполне Каледину, казалось однако недопустимым полное отсутствие дерзания с его стороны. Русские общественные деятели, собравшиеся со всех концов в Новочеркасск, осуждали медлительность в деле спасения России, политиканство, нерешительность донского правительства. Это обвинение на одном собрании вызвало горячую отповедь Каледина:

> «А вы что сделали?.. Я лично отдаю Родине и Дону свои силы, не пожалею и своей жизни. Но весь вопрос в том, имеем ли мы право выступить сейчас же, можем ли мы рассчитывать на широкое народное движение?.. Развал общий. Русская общественность прячется где-то на задворках, не смея возвысить голоса против большевиков… Войсковое правительство, ставя на карту Донское казачество, обязано сделать точный учет всех сил и поступить так, как ему подсказывает чувство долга перед Доном и перед Родиной».

В сознании русской общественности возникло еще одно опасение, навеянное впечатлениями речей местных трибунов, терявших душевное равновесие и чувство государственности. Отражением этого настроения появилась статья в сдержанном кадетском органе «Ростовская речь»[125]], – в которой высказывалось опасение, чтобы «организация государственной

власти на местах – этот своеобразный сепаратизм „областных республик“… не превратилась из средства в цель, и чтобы… борьба против насилия и узурпации государственной власти не превратилась в конечном итоге в борьбу против самой свободы, добытой революцией, и против государственной власти, как таковой».

Во всяком случае Дон не давал достаточных поводов к такому опасению, а лично Каледин этого упрека не заслуживал совершенно. Он был вполне искренен, когда на областном съезде иногородних 30 декабря говорил:

– Не признав власти комиссаров, мы принуждены были создать государственную власть здесь, к чему мы никогда раньше не стремились. Мы хотели лишь широкой автономии, но отнюдь не отделения от России.

В такой обстановке протекала трудная работа Каледина.

Когда в ночь на 26 ноября произошло выступление большевиков в Ростове и Таганроге и власть в них перешла в руки военно-революционных комитетов, Каледин, которому «было страшно пролить первую кровь»[[126]], решился однако вступить в вооруженную борьбу.

Но казаки не пошли.

В этот вечер сумрачный атаман пришел к генералу Алексееву и сказал:

– Михаил Васильевичъ! Я пришел к вам за помощью. Будем как братья помогать друг другу. Веения недоразумения между нами кончены. Будем спасать, что еще возможно спасти.

Алексеев просиял и, сердечно обняв Каледина, ответил ему:

– Дорогой Алексей Максимович! Все, что у меня есть, рад отдать для общего дела.

Офицерство и юнкера на Барочной были мобилизованы, составив отряд в 400–500 штыков, к ним присоединилась донская молодежь – гимназисты, кадеты, позднее одумались несколько казачьих частей, и Ростов был взят.

С этого, дня Алексеевская организация получила право на легальное существование. Однако отношение к ней оставалось только терпимым, выражаясь не раз в официальных постановлениях донских учреждений в формах обидных и даже унизительных. В частном заседании 3-го круга говорили: «пусть армия существуете но, если она пойдет против народа, она должна быть расформирована». Значительно резче звучало постановление съезда иногородних, требовавшего «разоружения и роспуска Добровольческой армии[[127]], борющейся против наступающего войска революционной демократии». С большим трудом войсковому правительству удалось прийти со съездом к

соглашению, в силу которого Д. А., как говорилось в декларации, «существующая в целях защиты Донской области от большевиков, объявивших войну Дону и в целях борьбы за Учредительное собрание, должна находиться под контролем объединенного правительства и, в случае установления наличности в этой армии элементов контрреволюционных, таковые элементы должны быть удалены немедленно за пределы области»[[128]].

Неудивительно, что с первых же шагов в сознании добровольчества возникло острое чувство обиды и беспокойное сомнение в целесообразности новых жертв, приносимых не во имя простой и ясной идеи отчизны, а за негостеприимный край, не желающий защищать свои пределы, и за абстрактную формулу, в которую после 5 января обратилось Учредительное Собрание. Измученному воображению представлялось повторение картин Петрограда, Москвы, Киева, где лозунги оказались фальшивыми, доверие растоптано и подвиг оплеван.

Поддерживала только вера в вождей.

Под влиянием беседы с Калединым Лукомский уехал во Владикавказ, я и Марков на Кубань. Романовский, решив, что имя его не так одиозно, как наши, и не доставить огорчения донскому правительству, остался в Новочеркасске и принял участие в Алексеевской организации. Условились, что нам дадут знать немедленно, как только приедет Корнилов и выяснятся ближайшая перспективы нашей работы.

Прожили мы на Кубани первую неделю в станице Славянской, потом я переехал в Екатеринодар, пользуясь документом на имя «Домбровского». То, что я увидел на Кубани, привело меня в большое недоумение своим резким контрастом с оценкой Каледина. Внутреннее состояние здесь было еще более сложно и тревожно, чем на Дону. И, если оно не прорывалось крупными волнениями, то только потому, что «внутренний фронт» был далеко, и Донская область прикрывала Кубань от непосредственной угрозы воинствующего большевизма.

Тот разрыв государственных связей с центром, который на Дону наступил в силу крушения Временного правительства, на Кубани существовал давно, будучи вызван другими, менее объективными причинами. Еще 5 октября, при решительном протесте представителя Временного правительства. Краевая казачья рада приняла постановление о выделении края в самостоятельную Кубанскую республику, являющуюся «равноправным, самоуправляющимся членом федерации народов России». При этом право выбора в новый орган управления предоставлялось исключительно казачьему, горскому и незначительному численно «коренному» иногороднему

населению[[129]]], т. е. почти половина области лишена была избирательных прав[[130]]]. Во главе правительства, состоявшего по преимуществу из социалистов, был поставлен войсковой атаман, полковник Филимонов – человек, обладавший несомненно более государственными взглядами, нежели его сотрудники, но не достаточно сильный и самостоятельный, чтобы внести свою индивидуальность в направление деятельности правительства. Решение Рады принято было значительным большинством голосов, составленным из оригинального сочетания «стариков» – консервативного элемента, несколько патриархальной складки, чуждого всяких политических тенденций, и казачьей интеллигенции. Эта последняя носила партийные названия с. – р-ов и с. – дков; но, вскормленная на сытом хлебе привольных кубанских полей, она пользовалась социалистическими теориями только в качестве внешнего одеяния и для «экспорта», сохраняя у себя дома в силе все кастовые традиционные перегородки. Против решения Рады были фронтовые казаки и коренные крестьяне;

последние, выразив протест против непатриотического и недемократического по их убеждению закона, вышли из состава рады.

Мотивами к такому негосударственному решению вопроса – отделению «Кубанской республики» – послужили тревога «стариков» за участь казачьих земель, которым угрожала общерусская земельная политика, честолюбие кубанской социалистической интеллигенции, жаждавшей трибуны и портфелей и, наконец, украинские влияния, весьма сильные среди представителей черноморских округов.

Рознь между казачьим и иногородним населением приняла еще более острые формы: на верху, в представительных учреждениях, она проявлялась непрекращавшейся политической борьбой, – внизу, в станицах – народной смутой, расчищавшей путь большевизму. Казачьи социалисты не учли соотношения сил. Против Рады и правительства встало не только иногороднее население, но и фронтовое казачество; эти элементы обладали явным численным перевесом, а главное большим дерзанием и буйной натурой. Большевизм пришел в массу иногородних, найдя в различных слоях их такую же почву, как и везде в России, осложненную вдобавок чувством острого недовольства против земельных и политических привилегий господствующего класса – казачества. Но фронтовая молодежь не имела решительно никаких данных в политических, бытовых, социальных условиях жизни Кубани для восприятия большевизма. Ее толкнули к нему только психологические причины: пьяный угар обезумевшей

солдатчины на фронте, принимавший заразительные формы, безотчетное сознание силы в новом нашествии, усталость от войны и нежелание дальнейшей борьбы в какой бы то ни было форме; наконец, сильнейшая агитация большевиков, угрожавших кровавой расправой в случае сопротивления и обещавших не касаться внутреннего казачьего уклада, имущества и земель в случае покорности. Был еще один элемент на Кубани, по природе своей глубоко враждебный большевизму, это – черкесский народ, вызывавший большие и необоснованные надежды на Дону и в кругах Добровольческой армии в качестве одного из источников комплектования противобольшевистской вооруженной силы. Бедные, темные, замкнутые в узких рамках архаического быта, черкесы оказались наименее воинственным элементом на Кавказе и приняли большевистскую власть с наибольшей покорностью и с наиболее тяжелыми жертвами. Формирования же черкесских частей впоследствии окончились полной неудачей: полки эти были страшнее для мирного населения, чем для противника.

В конечном результате, когда Каледин, чтобы создать в глазах донских казаков некоторую иллюзию обще казачьего фронта, просил Кубанского атамана прислать на Дон хоть один пластунский батальон, такого на Кубани не оказалось. Кубанские части не шли войной против своего правительства, но не шли также и против большевиков и приказания своей выборной власти не исполнили. Кубанскому правительству в декабре пришлось прибегнуть в свою очередь к универсальному средству – формированию добровольческого отряда из офицеров и юнкеров, заброшенных судьбою на Кубань. Формирование это поручено было капитану-летчику Покровскому. И здесь перед элементом государственным, каким являлось офицерство, встали смутные, неясные цели: защита «Кубанской республики» и ее социалистического, отчасти украинофильского правительства.

Почтенный старик Ф. Щербина – историк Кубанского края приводить статистические данные по вопросу распространения на Кубани большевизма, как доказательство полной чужеродности его казачьей среде. Поражены им были прежде всего и главным образом станицы, лежавшие на железнодорожных путях из Ростова и Закавказья, откуда шли солдатские эшелоны и возвращались фронтовые казаки. Баталпашинский, например, отдел, расположенный в стороне от магистралей, сохранился дольше и лучше всех. Мартиролог Кубанских станиц, переходивших в большевизм, выражается следующими цифрами: 1917 г. 1918 г. Август 3 Январь 2 ˚Сентябрь 2 Февраль 16 Октябрь 5 Март 24[[131]] Ноябрь 5 Апрель 1 Декабрь 10 Май 1 Всего 87 станиц Таким образом, роковой круг замкнулся в течение 10

месяцев.

Эта оригинальная статистика, вероятно единственная в своем роде на пространстве русской территории, дает и другие любопытные указания: на 947.151 жителей станиц, большевиков было 164.579, т. е. 17 процент.; в их числе казаков 3,2 процент. и иногородних 96,8 процент. В пятидесяти станицах насчитано 770 видных советских деятелей-комиссаров, членов совета и агитаторов; из них 69 интеллигентов и полуинтеллигентов и 711 людей совершенно необразованных, состоявших на низших ступенях общественной лестницы, по большей части уголовного элемента. В общем числе их 34 процент, казаков и 66 процент, иногородних.

Большевизм начал проявляться в области обычными своими признаками: отрицанием краевой власти, упразднением станичной администрации и заменой ее советами, насилиями над офицерами, зазажиточными казаками и «буржуями», разбоями, «социализациями», реквизициями и т. д. В самом Екатеринодаре царила до нельзя сгущенная, нездоровая атмосфера, шли непрерывные митинги, на каждом перекрестке собиралась толпа, возбуждаемая речами большевистских ораторов. В городе с октября существовал военно-революционный комитет, имевший свои отделы – Дубинский и Покровский – в пригородах.

Кубанское правительство, сознавая отсутствие всякой опоры, пошло по пути Дона: 12 декабря был созван совместный съезд представителей всего населения. Половина иногородних представителей оказалась большевиками и отказалась от участия в работе съезда. Другая половина в согласии с казачеством приступила к работе. Но вместо того, чтобы принять героические меры хотя бы к спасению родных очагов, соединенные силы казачьей и общерусской революционной демократии в созданной ими Законодательной раде и в преобразованном на паритетных началах правительстве приступили, по выражению современного публициста, «к кипучей творческой работе», прямым результатом которой было создание конституции Кубанской республики, «всесторонне разработанная программа решения важнейших политических и экономических вопросов» и… отдача всей Кубани во власть большевиков.

«Паритет», как и на Дону, только ослабил сопротивление, введя в составь власти элементы еще менее устойчивые, соглашательские. Добровольческий отряд успешно сдерживал еще попытки большевистских банд, наступавших со стороны Новороссийска и даже в конце января у Эйнема, под начальством капитана Покровского, нанес им жестокое поражение. Но в то же время на узловых станциях Кавказской, Тихорецкой, Тимашовке

оседали солдатские эшелоны бывшей Кавказской армии и местные большевики, сжимая все более и более в тесном кольце Екатеринодар. В гор. Армавире большевики образовали «кубанский краевой революционный комитет», под председательством Я. Полуяна; оттуда началась систематическая борьба против Екатеринодара вооруженной силой и агитацией.

Северный Кавказ бушевал. Падение центральной власти вызвало потрясение здесь – более серьезное, чем где бы то ни было. Примиренное русскою властью, но не изжившее еще психологически вековой розни и не забывшее старых взаимных обид разноплеменное население Кавказа заволновалось. Объединявший его ранее русский элемент – 40 процент., населения края[[132]] – состоял из двух почти равных численно групп – Терских казаков и иногородних, разъединенных социальными условиями и сводивших теперь в междоусобной борьбе старые счеты, по преимуществу земельные; они не могли поэтому противопоставить новой опасности ни силы, ни единства. Терское войско, слабое численно, затерянное среди враждебной стихии и переживавшее те же моральные процессы, что и старшие братья на Дону и Кубани, внесло еще менее своей индивидуальности в направление борьбы. Еще до половины декабря, когда был жив атаман Караулов и до некоторой степени сохранилось несколько терских полков, сохранялся еще и призрак власти и вооруженной силы. Караулов вел определенную политику борьбы с большевизмом и примирения с горцами. Видя невозможность для себя остановить анархию в крае, Караулов пришел к мысли о создании «Временного Терско-Дегестанского правительства», которое и было образовано в начале декабря совместно тремя организациями: Терским казачьим правительством, Союзом горцев Кавказа и союзом городов Терской и Дагестанской областей. Новое правительство приняло на себя «впредь до создания основных законов полноту общей и местной государственной власти».

Но эта власть не имела решительно никакой реальной силы, ни на кого не опиралась, и даже в самом Владикавказе ее игнорировал местный совет. 13 декабря на станции Прохладной толпа солдат-большевиков, по указанию из владикавказского совдепа, оцепила вагон, в котором находился атаман Караулов с несколькими сопровождавшими его лицами, отвела на дальний путь и открыла по вагону огонь. Караулов был убит. С его смертью «Терско-Дегестанское правительство» стало еще более обезличенным.

Фактически на Тереке власть перешла к местным советам и бандам солдат Кавказского фронта, которые непрерывным

потоком текли из Закавказья и, не будучи в состоянии проникнуть дальше, в родные места, ввиду полной закупорки кавказских магистралей, оседали как саранча по Тереке-Дагестанскому краю. Они терроризовали население, насаждали новые советы или нанимались на службу к существующим, внося повсюду страх, кровь и разрушение. Этот поток послужил наиболее могущественным проводником большевизма, охватившего иногороднее русское население! (жажда земли), задевшего казачью интеллигенцию (жажда власти и идеи социализма) и смутившего сильно терское казачество (страх! «идти против народа»). Что касается горцев, то крайне консервативные в своем укладе жизни, и котором весьма слабо отражалось социальное и земельное неравенство, верные своим задачами и обычаям, они управлялись своими национальными советами, были: глубоко чужды и враждебны идеям большевизма, но быстро и охотно восприняли многие прикладные стороны его, в том числе насилие и грабеж. Тем более, что путем разоружения проходивших войсковых эшелонов или купли у них, горцы приобрели много оружия (даже пушки) и боевых припасов. Кадром для формирования послужили полки и батареи бывшего Кавказского Туземного корпуса.

В начале 1918 года в общих чертах картина жизни на Северном Кавказе представлялась в следующем виде:

Дагестан, в общем наиболее замиренный и лояльный, теперь под влиянием событий стал подпадать под турецкое влияние, и в нагорной части его велась широко проповедь панисламизма. Подогреваемая его идеей шла не прекращаясь партизанская война против большевиков, группировавшихся по преимуществу вдоль дороги Баку – Петровск; но по отношению к казакам и служилым русским людям дагестанцы враждебных действий не проявляли.

Чечня, раздираемая внутренними междоусобиями, разделенная на 50–60 враждующих партий по числу влиятельных шейхов, склоняясь то к турецкой, то к большевистской ориентации, проявила, однако, полное единение в исторической тяжбе с русскими колонизаторами. Общая идея совместной с ингушами борьбы их заключалась в том, чтобы отбросить терских казаков и частью осетин за Сунжу и Терек, овладеть их землями и, уничтожив тем чересполосицу, связать прочно горную и плоскостную Игнушетию (в районе Владикавказа) с одной стороны и Чечню с Игнушетией – с другой. Еще в конце декабря чеченцы с фанатическим воодушевлением крупными силами обрушились на соседей. Грабили, разоряли и жгли дотла богатые цветущие селения, экономии и хутора

Хасав-Юртовского округа, казачьи станицы,

железнодорожные станции; жгли и грабили город Грозный и нефтяные промысла.

Ингуши, наиболее сплоченные и выставившие сильный и отлично вооруженный отряд, грабили всех: казаков, осетин, большевиков, с которыми, впрочем, были в союзе, держали в постоянном страхе Владикавказ, который в январе захватили в свои руки и подвергли сильному разгрому. Вместе с тем, в союзе с чеченцами игнуши приступили к вытеснению казачьих станиц Сунженской линии, для чего еще в ноябре в первую очередь подожгли со всех сторон и разрушили станицу Фельдмаршальскую.

Осетины – наиболее культурный из горских народов, имевший «даже» свою социалистическую интеллигенцию, склонявшуюся к большевизму. Народ однако выдержал искушение. Подчиняясь господствующей силе, осетины все же считали своими врагами большевиков и ингушей и, не взирая на не разрешенные еще земельные споры с казаками, охотно присоединялись к каждому выступлению их против большевиков.

Наконец Кабардинцы, восприняв от большевиков земельную практику, отняли у своих узденей (дворянства) земли и затем жили мирно, стараясь сохранить нейтралитет среди борющихся сторон.

В этой сложной обстановке терское казачество пало духом. В то время, как горские народы, побуждаемые национальным чувством, путем чистой импровизации создавали вооруженную силу, природное войско с историческим прошлым, выставлявшее 12 хорошо организованных полков, разлагалось, расходилось и разоружалось по первому требованию большевиков. Агитация, посулы большевистских агентов и угрозы горцев заставляли малодушных искать спасения в большевизме, который, вначале по частной инициативе местных советских организаций, потом по указанию из центра, пользовался распрей, становясь то на сторону горцев против казаков, то на сторону казаков против горцев и в общем хаосе утверждая на крови тех и других свою власть.

В конце января в гор. Моздоке собрался «рабоче-крестьянский съезд», переехавший затем в Пятигорск. Съезд выбрал из своего состава самостоятельное правительство «Терский народный совет», под председательством некоего Пашковского, сосланного некогда в каторжные работы за ограбление казначея реального училища и возвращенного) в силу общей амнистии, данной Временным правительством.

В течении месяца «Народный совет» правил параллельно с «Терско-Дагестанским правительством»; наконец, последнее, не

видя ни откуда поддержки, в конце февраля «во избежание кровопролития» добровольно сложило с себя власть и предложило «Совету» переехать во Владикавказ.

Терский край был объявлен составной частью «Р. С. Ф. С. Р.»

* * *

Мне остается еще отметить две попытки к объединению Юго-востока в более широких областных или национальных рамках.

Вскоре после начала революции возник «Союз горцев Северного Кавказа», который выделил центральный комитет и первоначально поставил своей целью борьбу с анархией, поддержание правопорядка, мирное разрешение межнациональных столкновений, обеспечение прав национальных меньшинств в Учредительном Собрании и т. д. После большевистского переворота центральный комитет в декабре 1917 года объявил себя «правительством горских народов Кавказа». Тот разброд задач и целей, которые преследовали горские народы, лишал всякой почвы «союзное правительство». Совершенно чуждое одним (абхазцы и черкесы), враждебное другим (осетины), оно установило некоторую внешнюю связь с Ингушетией и Чечней, откуда изредка и случайно получались небольшие суммы на содержание самого правительства. Эти суммы и личный большой кредит председателя, богатого чеченца нефтепромышленника Топы Чермоева были единственным источником существования «правительства». Не имея никаких реальных возможностей управления, «горское правительство» с самого начала бросило всякие попытки устроения края и перешло к чистой политике, составив звено в цепи тех многочисленных самодовлеющих «народных» представительств, которые рождены были русской революцией и составляют одну из любопытных ее черт.

Январские события во Владикавказе заставили «горское правительство» перейти в Тифлис и тем порвать почти вовсе связи с краем. С тех пор личный состав «правительства» рассеялся;

иногда только оно подавало признаки своего существования торжественными декларациями от имени двух своих столпов – Топы Чермоева и Пшемаха Коцева. И только через год, когда Добровольческая армия освободит Северный Кавказ, мы встретимся опять с возглавляемым Коцевым «меджилисом горских народов», обнаружившимся неожиданно в Темир-Хан-Шуре и обратившимся к главному командованию с

ультимативными требованиями.

В послании к Кабардинскому национальному совету[[133]] Коцев писал:

> «Почти год тому назад… я вырван из среды близкого, родного мною народа. Обстоятельства так сложились, что меня бросало по всему лицу Европы и Азии. Само собою разумеется, что за все это время я делал народное дело. Когда анархия и развал коснулись и нашей окраины, то для меня стало ясно, что собственными силами и авторитетом мы не можем водворить у себя порядок; и вот все это время прошло в хлопотах за поисками этой силы».

В течении года г. г. Чермоев и Коцев призывали варягов последовательно в лице турок, немцев, англичан, грузин, едва поспевая за быстро вертящимся колесом мировых событий. А тем временем Северный Кавказ в огне и в крови разрешал самостоятельно вопросы своего бытия.

Гораздо серьезнее и по замыслу и по политическому значению представлялось образование в конце сентября Юго-восточного союза. Возникшее по инициативе Кубани, это объединение должно было включать три казачьи области – Донскую, Кубанскую, Терскую «вольные народы гор и степей», под которыми разумелись горцы северного Кавказа, калмыки и другие инородцы Ставропольской губернии. В дальнейшем в состав союза предполагалось привлечь Уральское (Яицкое) и Астраханское войско и, может быть, Закавказье.

Первоначальная идее этого объединения, вызванного к жизни главным образом бессилием центральной власти, с достаточной полнотой выражена в постановлении Донского «большого круга», заседавшего в первой половине сентября[[134]]:

> «Заслушав и обсудив доклад представителя Кубанского войска, поддержанный представителем войска Терского по вопросу о федеративном устройстве государства Российского и признавая федерацию, как принцип, как идею, на основании прошлого исторического опыта зарождения и существования казачества желательной, постановил:
>
> 1. поручить войсковому правительству принять участие в конференции, созываемой в Екатеринодаре 20 сентября 1917 г. по этому вопросу, с правом делегировать от имени войска представителей в союзный орган, имеющий быть созданным для защиты краевых

интересов;

2. просить этот союзный орган, с участием представителей соседних областей, вольных народов и коренного не казачьего населения казачьих земель, а также сведущих лиц, разработать к Учредительному Собранию проект такого устройства края, которое, обеспечивая полную самостоятельность национальностей и крупных бытовых групп в сфере местного законодательства, суда, управления, земельных отношений, культурной и экономической жизни, в то же время оставило бы ненарушенной тесную связь частей с целым, не поколебало бы единства и силы России».

Под этой довольно безобидной формой пожеланий и признания авторитета Всероссийского Учредительного собрания скрывались однако более реальные стремления. В них смешались начала государственно-охранительные и центробежные; стремление сохранить от разложения более устойчивую часть в интересах целого и желание использовать государственную смуту в интересах чисто местных.

Практического осуществления идее союза однако не получила. К концу сентября создано было «Объединенное правительство Юговосточного союза», во главе с В. А. Харламовым[[135]] – правительство чисто фиктивное, не только не оказавшее в ту трудную пору (конец 17 – начало 18 года) какого либо влияния на ход событий, но просто прошедшее незамеченным для широких кругов населения Юга. Безвластие и бессилие областных правительств, неимение денежных средств и вооруженной силы, а главное – отсутствие опоры в народной массе лишили это начинание казачьей интеллигенции всякого реального значения.

Идее союза, однако, не была оставлена и в 1919 году, при совершенно иной военно-политической обстановке вновь привлекла к себе серьезное внимание казачьих верхов.

15 ноября Закавказский комитет сложил свои полномочия м власть перешла в руки «Закавказского комиссариата» (правительства), избранного на совещании из представителей революционных организаций и социалистических партий. Этим же совещанием постановлен был созыв Закавказского сейма в составе членов, избранных во Всероссийское Учредительное Собрание, пополненном членами политических партий. Сейм собрался в начале февраля. Еще ранее в конце октября и в ноябре собирались национальные съезды и возникли национальные советы.

Перед новым правительством, возглавлявшимся Гегечкори, позднее перед сеймом возникли вопросы необыкновенной важности и трудности, об отношении к русской государственности, о войне или мире и, наконец, о ликвидации Кавказского фронта, представлявшего в глазах правительства опасность не меньшую, чем угроза турецкого нашествия.

На первом совещании и национальных съездах идее русской государственности не потерпела никакого колебания. Лейтмотивом на них было решительное отмежевание от советского правительства и признание самостоятельного существования местной власти только временно до восстановления общерусской центральной власти или до созыва Всероссийского Учредительного Собрания. Но в Сейме настроение создалось уже несколько иное: по почину мусульманской фракции его и грузинской партии национал демократов был возбужден вопрос о полной независимости Закавказья. Мотивами выставлялись длительный характер русской смуты, необходимость предотвращения назревающего междоусобия и, главное, возможность заключения сепаратного мира с турками, нашествие которых грозило краю неисчислимыми бедствиями. Нет сомнения, что в самой постановке вопроса сказывалось уже весьма сильное германо-турецкое влияние, которое опиралось на панисламистские тенденции части кавказской интеллигенции, на общее недовольство разгорающейся анархией мусульманского населения, увидевшего в единоверных турках своих избавителей и, наконец, на давнишнюю связь турецкого и германского правительств с «Комитетом освобождения Грузии»; комитет этот был образован партией грузинских национал-демократов еще в 1914 году и вошел с враждебными нам державами в договорные отношения, обязывавшие одну сторону к предательству, другую к созданию независимое Грузии.

Грузинские социал-демократы – наиболее влиятельная партия – присоединились к требованию независимости. Их лидер Ной Жордания, который в ноябре говорил, что и теперь «в пределах России грузинский народ должен искать устроения своей судьбы», в феврале на сейме сказал:

– Когда есть выбор – Россия или Турция, мы выбираем Россию. Но когда есть выбор Турция или самостоятельность Закавказья, мы выбираем самостоятельность Закавказья.

Предложение, однако, встретило резкий протест в среди русских социалистов и армянских дашнакцаканов. Решено было передать вопрос на обсуждение особой комиссии. Эта комиссия «обсудила вопрос в ряде заседаний с участием сведущих лиц –

представителей армии, банков, финансового и других ведомств и пришла к единодушному убеждению в невозможности самостоятельного существования Закавказья без поддержки какой либо стратегически и экономически сильной державы».

Это заключение и признание сейма «при известных условиях принципиально допустимым объявление Закавказья независимой республикой», если и не решали вопроса, то в значительной мере предрешали его. Окончательно он был разрешен позднее прямым воздействием германского правительства, поставившего себе целью расчленение России и в частности полное отторжение от нее Закавказья.

Фронта в действительности не существовало. Поэтому, когда во второй половине ноября командующий турецкой армией Вехиб-паша предложил перемирие, генерал Пржевальский и закавказское правительство приняли предложение, и перемирие было заключено в начале декабря в Эрзинджане.

С этого времени начался хаотический отход русских корпусов и одновременно лихорадочное формирование национальных войск для охраны территории 1914 года. Шло оно туго в тылу и весьма неуспешно на фронте, наталкиваясь на сильное Препятствие со стороны войсковых революционных учреждений и среди самих грузинских и армянских воинов, у которых стремление разойтись по домам было не менее сильно, чем у русских.

Общую директиву отходящие банды кавказского фронта получили от «Второго краевого съезда Кавказской армии», состоявшегося в Тифлисе с 10 по 25 декабря. В воззвании к солдатам, подписанном Е. Вильямовским говорилось:

> «Съезд признал за вами право на оружие при оставлении армии для защиты родины от контрреволюционной буржуазии с ее приспешниками Калединым – Донским атаманом, Дутовым – Оренбургским и Филимоновым – Кубанским. Для руководства продвижения товарищей солдат и для борьбы с контрреволюцией на Северном Кавказе, на Кубани и в Закавказье, избран съездом Краевой совет и военно-революционный комитет… Вы, товарищи, должны все принять участие… в установлении советской власти. Провести домой оружие вы можете, двигаясь лишь сильными отрядами всех родов оружия, с избранным командным составом… Кто не может (провезти), сдавайте его советам, комитетам в Новороссийске, Туапсе, Сочи, Крымской и т. д., где есть

представители советской власти»…

Солдаты двинулись двумя потоками, бросая на произвол судьбы миллиардное имущество: один – в общем направлении на Тифлис, который несколько месяцев жил буквально в положении осажденного города; власти и комитеты употребляли героические усилия и вели форменные бои, чтобы отвести эти буйные и голодные массы от города далее на Баку и Северный Кавказ. Другой поток шел на Трапезунд, откуда захватываемые с бою транспорты развозили войска по портам Черного моря. В середине января в Трапезунде образовался «комитет по организации добровольческих отрядов для борьбы с контрреволюцией» и, благодаря предоставлению ему внеочередной перевозки, приступил с большим успехом к формированиям, которые спешно направлялись в Новороссийск против Кубани и Дона.

В феврале представители сейма и главного кавказского командования ехали в Эрзерум для ведения переговоров о мире; но судьбы мира были предрешены одностороннею волею победителей. В Трапезунде делегация застала уже 37-ую турецкую дивизию Казим-бее, занявшую город с согласия «интернационального комитета», так как местные советские власти отчаялись окончательно силами двух грузившихся последовательно корпусов отразить хотя бы шайки турецких разбойников, грабивших прилежащий сильно укрепленный район и даже окраины Трапезунда.

Турки вступали в город, встреченные советом рабочих и солдатских депутатов, почетным караулом и музыкой.

Я привел этот сжатый очерк, чтобы охарактеризовать положение, в котором оказалась зарождающаяся новая сила – Добровольческая армия.

От Харькова и Воронежа шли советские войска, и Бронштейном (Троцким) принимались все меры, чтобы «в кратчайший срок стереть с лица земли контрреволюционный мятеж казачьих генералов и кадетской буржуазии»… На Волге – Царицын, давний оплот большевизма и Астрахань, после кровавой расправы с офицерством и буржуазией 24 января перешедшая в руки большевиков; далее на восток, – павший 17 января Оренбург. На Кавказе – мятущиеся инородцы и надвигающийся поток бывшей Кавказской армии. На Черном море – порты, запруженные враждебными нам солдатскими бандами и флот, поднявший красные флаги. Наконец, сама колыбель добровольчества – Тихий Дон, если не враждебный, то, во всяком случае, только только терпимо относящийся к

непрошенным гостям.

Тогда мы совершенно не знали всей совокупности обстановки, будучи вскоре отрезаны от внешнего мира и питаясь лишь газетными слухами и сведениями от редких осведомителей, вносивших слишком много индивидуального в свои доклады. Приходилось опираться не столько на конкретные данные, сколько на внутренний голос, который почти всех нас – не казачьих генералов – побуждал верить в скорое исцеление казачества, казака Каледина привел к самоубийству, а казака Корнилова безотчетно звал… в Сибирь.

Глава XVI. «Московский центр». Связь Москвы с Доном. Приезд на Дон генерала Корнилова. Попытки организации государственной власти на Юге: «триумвират» Алексеев – Корнилов – Каледин; «совет»; внутренние трения в триумвирате и совете

Когда мы съехались в Новочеркасске, там многое изменилось.

Каледин признал окончательно необходимость совместной борьбы и не возбуждал более вопроса об уходе с Дона Добровольческой армии, считая ее теперь уже единственной опорой против большевизма.

6-го декабря приехал Корнилов, с нетерпением ожидавшийся всеми; после первого свидания его с Алексеевым стало ясно, что совместная работа их, вследствие взаимного предубеждения друг против друга, будет очень нелегкой. О чем они говорили, я не знаю; но приближенные вынесли впечатление, что «расстались они темнее тучи»…

В Новочеркасске уже образовалась «политическая кухня», в чаду которой наезжие деятели сводили старые счеты, намечали новые вехи и создавали атмосферу взаимной отчужденности и непонимания совершающихся на Дону событий. Собрались и лица, игравшие злосчастную роль в корниловском выступлении. Б. Савинков с безграничной настойчивостью, но вначале безуспешно добивался приема у генералов Алексеева и Корнилова. Добрынский сводил дружбу с приближенными Корнилова, свидетельствуя о своей преданности генералу и необходимости своего участия в новом строительстве. Его присутствие около организации, благодаря неясному прошлому, странному поведению во время корниловского выступления и налету хлестаковщины, производило досадное впечатление. Завойко я уже не застал. Он вызвал всеобщее недоумение монополией сбора пожертвований и плел какую то нелепейшую интригу, с целью свержения Каледина и избрания на должность донского атамана …генерала Корнилова. Ознакомившись с его деятельностью, Корнилов приказал ему в 24 часа покинуть

Новочеркасск.

Приехали и представители Московского центра. Организация эта осенью 17 года образовалась в Москве из представителей к. д. – ской партии, совета общественных организаций, торговопромышленников и других буржуазно-либеральных и консервативных кругов. Первоначально были присланы делегатами М. М. Федоров и А. С. Белецкий (Белоруссов) и еще двое. Позднее из числа этих лиц остался при Добровольческой армии только М. М. Федоров, а остальных заменили кн. Г. Н. Трубецкой, П. Б. Струве и А. С. Хрипунов.

Пригласив к себе на конспиративную квартиру генерала Алексеева, делегация обратилась к нему с глубоко прочувствованным словом, растрогавшим генерала. Задачу делегации Федоров в общих чертах определял так: «служить связью Добровольческой организации с Москвой и остальной общественной Россией, всемерно помогать генералу Алексееву в его благородном и национальном подвиге своим знанием, опытом, связями; предоставить себя и тех лиц, которые могли быть для этого вызваны, в распоряжение генерала Алексеева для создания рабочего аппарата гражданского управления при армии в тех пределах, какие вызывались потребностями армии и всей обстановкой ее деятельности, и отвезти те первые средства, которые были тогда собраны».

У Алексеева явились, таким образом, надежды расширить значительно масштаб Добровольческой организации – надежды весьма скоро обманувшие его.

18 декабря состоялось первое большое совещание московских делегатов и генералитета. Предстояло решить основной вопрос существования, управления и единства «Алексеевской организации». По существу весь вопрос сводился к определению роли и взаимоотношений двух генералов – Алексеева и Корнилова. И общественные деятели и мы были заинтересованы в сохранении их обоих в интересах армии. Ее хрупкий еще организм не выдержал бы удаления кого-нибудь из них: в первом случае (уход Алексеева) армия раскололась бы, во втором – она бы развалилась. Между тем, обоим в узких рамках только что начинавшегося дела было, очевидно, слишком тесно.

Произошла тяжелая сцена; Корнилов требовал полной власти над армией, не считая возможным иначе управлять ею и заявив что в противном случае он оставит Дон и переедет в Сибирь; Алексееву, по-видимому, трудно было отказаться от прямого участия в деле, созданном его руками. Краткия, нервные реплики их перемешивались с речами общественных деятелей (в особенности страстно реагировал Федоров), которые говорили о

самопожертвовании и о государственной необходимости соглашения… После второго заседания оно как будто состоялось: вся военная власть переходила к Корнилову. Недоразумения начались вновь при приеме «Алексеевской организации», когда выяснилась полная материальная необеспеченность армии не только в будущем, но даже и в текущих потребностях. Корнилов опять отказался от командования армией; но после новых уговоров было достигнуто соглашение. На Рождестве был объявлен «секретный» приказ о вступлении генерала Корнилова в командование Армией, которая с этого дня стала именоваться официально Добровольческой.

Предстояло разрешить еще один важный вопрос – о существе и формах органа, возглавляющего все движение. Принимая во внимание взаимоотношения генералов Алексеева и Корнилова и привходящие интересы Дона, форма «верховной власти» естественно определялась в виде тр1умвирата Алексеев – Корнилов – Каледин. Так как территория подведомственная триумвирату не была установлена, а мыслилась в пределах стратегического влияния Добровольческой армии, то триумвират представлял из себя в скрытом виде первое общерусское противобольшевистское правительство. В таком эмбриональном состоянии оно просуществовало в течении месяца, до смерти Каледина.

Конституция новой власти все еще обсуждалась и грозила внести новые трения в налаживавшиеся с таким трудом отношения. Поэтому я набросал проект «конституции» приблизительно по следующей схеме:

1. Генералу Алексееву – гражданское управление, внешние сношения и финансы.

2. Генералу Корнилову – власть военная.

3. Генералу Каледину – управление Донской областью.

4. Верховная власть – триумвират. Он разрешает все вопрос» государственного значения, причем в заседаниях председательствует тот из триумвиров, чьего ведения вопрос обсуждается.

Моя записка, прочтенная в конспиративной квартире профессора К.-ва совещанию генералов[[136]] была одобрена и, проредактированная затем начальником штаба армии, генералом Лукомским, подписана триумвирами и послана Московскому центру с одним из возвращавшихся делегатов.

Если этот документ попадает когда-нибудь в руки государствоведа, то для сведения его сообщаю: это не было упражнением в области государственно-правовых форм власти, а исключительно психологическим средством, вполне достигшим

цели. В то время и при той необыкновенно сложной обстановке, в которой жили Дон и Армия, формы несуществующей фактически государственной власти временно были совершенно безразличны. Единственно, что было тогда важно и нужно – создать мощную вооруженную силу, чтобы этим путем остановить потоп, заливающий нас с севера. С восстановлением этой силы пришла бы и власть.

В таких же муках рождался «Совет». По определению главного инициатора этого учреждения Федорова, задачи Совета заключались в «организации хозяйственной части армии, сношениях с иностранцами и возникшими на казачьих землях местными правительствами и с русской общественностью»; наконец, в «подготовке аппарата управления по мере продвижения вперед Добровольческой армии».

В состав Совета от русской общественности вошли московские делегаты Федоров, Белецкий, позднее Струве и кн. Г. Трубецкой; персонально П. Милюков.

Первое затруднение при образовании Совета встречено было со стороны «Донского экономического совещания», возникшего еще в половине ноября, возглавляемого к. д. – том Н. Парамоновым и состоявшего из донских и пришлых общественных деятелей. «Экономическое совещание» при донском атамане и правительстве играло до некоторой степени тождественную роль той, которая намечалась Совету. Явилось поэтому не прикрытое соревнование в вопросе о приоритете в освободительном движении донского казачества и добровольчества и, сообразно с этим, Экономического совещания и Совета… Вопрос, впрочем, был скоро улажен вмешательством Каледина и М. Богаевскаго: Совет был признан, и в состав его вошли Парамонов и М. Богаевский.

За кулисами продолжалась работа Савинкова. Первоначально он стремился во что бы то ни стало связать свое имя с именем Алексеева, возглавить вместе с ним организацию и обратиться с совместным воззванием к стране. Эта комбинация не удалась. Корнилов в первые дни после своего приезда не хотел и слышать имени Савинкова. Но вскоре Савинков добился свидания с Корниловым. Начались длительные переговоры между генералами Алексеевым, Корниловым с одной стороны и Савинковым с другой, в которых приняли участие, как посредники, Милюков и Федоров. Савинков доказывал, что «отмежевание от демократии составляет политическую ошибку», что в состав Совета необходимо включить представителей демократии в лице его – Савинкова и группы его политических друзей, что такой состав Совета снимет с него обвинение в

скрытой реакционности и привлечет на его сторону солдат и казачество; он утверждал кстати, что в его распоряжении имеется в Ростове значительный контингент революционной демократии, которая хлынет в ряды Добровольческой армии…

Все три генерала относились отрицательно к Савинкову. Но Каледин считал, что «без этой уступки демократии ему не удастся обеспечить пребывание на Дону Добровольческой армии», Алексеев уступал перед этими доводами, а Корнилова смущала возможность упрека в том, что он препятствует участию Савинкова в организации по мотивам личным, восходящим ко времени августовского выступления.

На одном из военных совещаний генерал Алексеев предъявил ультимативный запрос Савинкова относительно принятия его условий. Конечным сроком для ответа Савинков назначал 4 ч. дня (было 2), после чего оставлял за собой «свободу действий». Члены триумвирата долго обсуждали это странное обращение; Лукомский, Романовский и я не принимали участия в их разговоре. Наконец, я выразил изумление, что уходит время на обсуждение более чем смелого требования лица, представляющего только себя лично и уже один раз сыгравшего отрицательную роль в корниловском выступлении.

Условия, однако, были приняты на том основании, что не стоит наживать врага… В состав Совета вошли четыре социалиста – Б. Савинков и указанные им лица: бывший комиссар 8-й армии Вендзягольский, донской демагог Агеев и председатель крестьянского съезда, бывший ссыльный и эмигрант Мазуренко.

От предложения Корнилова, сделанного мне, вступить в состав Совета я отказался.

Участие Савинкова и его группы не дало армии ни одного солдата, ни одного рубля и не вернуло на стезю государственности ни одного донского казака; вызвало лишь недоумение в офицерской среде.

В силу общих неблагоприятных условий и отсутствия подлежащей управлению территории, деятельность Совета имела самодовлеющий характер и в жизни армии не отражалась вовсе. К тому же в недрах самого учреждения создались совершенно ненормальные отношения, о которых один из членов Совета пишет:

> «Оба течения, правое и левое, держались обособленно. Савинков внушал к себе недоверие со стороны правых и чувствовал это. Когда он что-нибудь предлагал, все настораживались и старались отклонить его предложение. Но эта конструкция была поневоле

слабой, потому что редко кто из нас вносил в свою очередь другое предложение».

Впрочем Совет просуществовал всего лишь недели 2–3 и в середине января, с переездом штаба армии в Ростов фактически прекратил свою деятельность.

Часть членов его разъехалась. Савинков взял на себя поручение «войти в сношение с некоторыми известными демократическими деятелями» и отбыл в Москву. Удостоверение за подписью Алексеева открывало ему новые возможности. Его именем он начал собирать офицерство, распыляя наши силы, и организовывать восстания, которые были скоро и кроваво подавлены большевиками.

Вендзягольский уехал в Киев – для связи с Юго-западным фронтом, отчасти с поляками и чехо-словаками и вскоре обратился к армии с воззванием, начинавшимся такими неожиданными словами: «от имени последнего русского правительства – национального и неизменнического, сверженного в октябре большевиками, я, военный комиссар 8 армии объявляю»… Вряд ли можно было найти более одиозные к тому времени в военной среде понятия, как «Временное правительство» и «комиссар», чтобы их авторитетом побудить офицеров и солдат ехать на Дон…

Главный вопрос, от которого зависело само существование армии – денежный, оставался по-прежнему неразрешенным.

Денежная Москва ограничилась «горячим сочувствием» и обещаниями отдать «все» на спасение Родины. «Все» выразилось в сумме около 800 тысяч рублей, присланных в два приема; и дальше этого Москва не пошла; впоследствии, по мере утверждения советской власти и захвата ею средств буржуазии, неограниченные ранее финансовые возможности последней значительно сократились.

Повторилось опять то явление, которое имело место в дни корниловского выступления. И генералы Алексеев и Корнилов с полным основанием обращались с суровым осуждением к Московскому центру, в лице его делегатов.

Московский Центр в лице трех его членов, командированных в Петроград, обратился за финансовой помощью и к союзным дипломатам. Попытка эта также не привела ни к чему. В, первое время после большевисткого переворота иностранные посольства находились в состоянии страха и полной растерянности. Английское, впрочем, устами второстепенная) представителя маиора Киз обещало крупную материальную поддержку.

По мысли Федорова и московской делегации, от имени

оставшихся на свободе членов Временного правительства местной казенной палате предложено было обращать 25 процент, всех областных государственных сборов на содержание борющейся против большевиков армии. После длительных переговоров с атаманом и донским правительством эта мера и была осуществлена, причем общая сумма отнесена в равных долях на нужды Добровольческой и Донской армий.

Этот источник был главным средством существования армии и, в силу зависимости от донской власти, постоянных трений с нею и крайне слабого поступления казенных доходов, являлся весьма скудным и ненадежным. Чтобы расширить на тех же началах финансовую базу, в Екатеринодар и Владикавказ был командирован Федоров и г. Н. Кубанское правительство отказало наотрез, а с последовавшим падением Дона и исходом армии дальнейшие попытки в этом направлении прекратились.

Тем временем сбор средств шел и на местах: ростовская плутократия по подписке дала около 6½ миллионов, новочеркасская около 2-х. Половина этих сумм должна была поступить в фонд Добровольческой армии, но фактически до самого нашего выхода казначейству удалось собрать с трудом не более 2-х миллионов.

Временами состояние добровольческой казны было таково, что приходилось для ее нужд в ростовских банках учитывать мелкие векселя кредитоспособных беженцев. Впоследствии в учреждениях Юга России возникла даже тяжба для решения вопроса – кто был Мининым: банк или беженец.

Вместе с тем, отделения государственного банка и казначейства Дона, не подкрепляемые наличностью, испытывали большие затруднения, грозившие еще больше запутать экономическое положение области. В виду этого по инициативе донского экономического совещания донская власть приступила к печатанию собственных денежных знаков – операция, осуществленная в значительных размерах только весною 1918 г. после освобождения Дона.

Внутренние трения в триумвирате не прекращались. Однажды едва не кончились полным разрывом. 9 января, незадолго до переезда в Ростов, меня и Лукомского вызвали спешно в помещение канцелярии генерала Алексеева. Пришли мы поздно, когда все уже кончилось, и с удивлением услышали о происшедшем столкновении.

Некто капитан Капелька, состоявший при штабе Алексеева, со слов Добрынского доложил Алексееву о предстоящем «перевороте»: с переездом в Ростов генерал Корнилов должен был свергнуть триумвират и объявить себя диктатором; сделаны

якобы уже назначения до «московского генерал-губернатора» включительно.

Не взирая на мутный источник этих сведений, генерал Алексеев, предубежденный в отношении Корнилова, не переговорив с кем-либо из нас, собрал членов Совета и старших генералов и пригласил генерала Корнилова для объяснений.

Корнилов, взбешенный подобным обвинением и инсценировкой «судилища», ответил резким словом и удалился. На другой день московская делегация получила письма с отказом от участия в организации обоих генералов – Алексеева и Корнилова. Опять пришлось уговаривать: Алексеева – мне лично, Корнилова – вместе с Калединым.

Корнилов удовлетворился извинениями Алексеева, но при этом потребовал от московской делегации:

> «1. письменного извещения, что Совет признает себя органом только совещательным при коллегии из трех генералов, и ни один вопрос, внесенный на рассмотрение Совета, не получает окончательного решения без утверждения означенных трех лиц;
>
> 2. включения в состав Совета-начальника штаба армии и председателя вербовочного комитета;
>
> 3. «признания за командующим Добровольческой армией права назначения лиц, обязательно из военных, возглавляющих военно-политические центры[[137]]]… с указанием, что эти лица получают инструкции по военным делам только от штаба армии и проч.»

В ответ на это требование 12 января поступило письмо, подписанное Федоровым, Струве и кн. Трубецким:

> «Обсудив вместе с генералами Лукомским, Деникиным, Романовским и Марковым общее положение организации и наиболее целесообразные способы наладить в дальнейшем работу ее, мы пришли к заключению»… и далее удовлетворялись все требования Корнилова.

Чтобы понять обращение Корнилова именно к московской делегации, нужно иметь в виду, что в глазах триумвирата она пользовалась известным значением, так как с ней связывалось представление о широком фронте русской общественности. Это было добросовестное заблуждение членов делегации, вводивших также добросовестно в заблуждение и всех нас. Сами они стремились принести пользу нашей армии, но за ними не было

никого: Московский центр невидимому забыл и своих представителей на Дону, и свои обязательства в отношении Добровольческой армии…

И так еще один подводный камень был обойден. Много раз потом мне приходилось выслушивать сомнение, правильно ли поступали мы все, употребляя такие усилия, чтобы соединить несоединимое, статику и динамику добровольческого движения. И не лучше ли было предоставить каждому из вождей идти своим путем… Полагаю, что в обстановке того времени иначе поступать мы не могли, а в масштабе историческом то или иное решение вопроса вряд ли могло бы видоизменить ход событий, управляемых великими и неведомыми законами бытия.

Глава XVII. Формирование Добровольческой армии. Ее задачи. Духовный облик первых добровольцев

Под влиянием всякого рода недоразумений Корнилов все еще колебался в окончательном решении. На него угнетающе действовали отсутствие «полной мощи», постоянные трения и препятствия, встречаемые на пути организации армии, скудость средств и ограниченность перспектив. Извне на Корнилова оказывали давление в двух направлениях: одни считали, что для человека столь крупного «всероссийского» масштаба слишком мелко то дело, которое зарождалось в Новочеркасске, и что ему необходимо временно устраниться с военно-политического горизонта, чтобы впоследствии возглавить широкое национальное движение. Ранее этот взгляд поддерживал по побуждениям личным Завойко. Другие звали генерала в Сибирь, на его родину, где «нет самостийных стремлений» и где почва в социальном и бытовом отношении казалась наиболее чуждой большевизму. Наконец, были и просто авантюристы, в роде И. Добрынского, который, в неудержимом стремлении играть политическую роль, применял все виды шантажа. Так в половине января по каким-то атавистическим признакам он неожиданно оказался астраханским казаком, нашил желтые лампасы и явился к генералу Корнилову в сопровождении находившихся в Ростове г.г. Н. Киселева и Б. Самсонова, в качестве делегации «от поволжского купечества и Астраханского соединенного с Калмыцким войска». Обращение, подписанное этими тремя лицами 16 января, после дифирамба диктатуре и вождю, звало Корнилова в Астрахань для водворения в губернии законности и порядка, обещало широкую материальную поддержку и заканчивалось такой политически безграмотной тирадой, превращавшей идею добровольчества в своего рода средневековый институт ландскнехтов: «купечество произведет милитаризацию своих предприятий, сохранись за военными навсегда их служебное положение, дав обязательство в том, что все назначения в этом смысле будут происходить с согласия генерала Корнилова».

В эти дни Астрахань, как я уже говорил, агонизировала и 24-го после жестокой резни перешла в руки большевиков.

Однако, мало помалу, связь Корнилова с армией укреплялась

все более и чем серьезнее, безвыходнее становилось положение, тем больше росла его привязанность к добровольцам и их преклонение перед своим вождем. Его имя сразу заняло центральное место и стало тем нравственным стержнем, вокруг которого группировались все боевые элементы армии. Те трения, которые происходили между Алексеевым и Корниловым, находили прямое отражение (иногда наоборот – служили отражением) только среди политиканствующего привилегированного офицерства, стоявшего ближе к обоим генералам и создавшего разделение на «корниловцев» и «алексеевцев». Только в этой среде, и то весьма сдержанно, шли разговоры о «демократизме» Корнилова и «монархизме» Алексеева, и делались вытекающие из этого выводы. Для армии это было тогда безразлично. Армия воспринимала положение более просто и непосредственно: она относилась с искренним уважением, доверием и любовью к Алексееву, помня его прежние заслуги, зная его доброту, доступность и трогательное внимание к ее нуждам. Но, вместе с тем, армия чувствовала, что повести ее в кровавый бой должен конечно Корнилов, имя которого было обвеяно боевой славой, окружено уже легендой. В глазах добровольчества жизнь сплела эти имена И Алексеев, и Корнилов были необходимы армии.

Поэтому я, вместе с Лукомским и Романовским, считал своим долгом примирять обе стороны и сглаживать насколько возможно возникавшие недоразумения. А накоплявшаяся на поверхности военно-общественного движения людская накипь вела, между тем, систематически разрушительную работу. Она проявлялась ежедневно во всех мелочах жизни, но дважды вызвала особенно тягостное впечатление: в эпизоде с «объявлением диктатуры», приведенном мною в предыдущей главе, и в событии, имевшем место перед самым выступлением армии из Ростова. Некоторые лица явились к начальнику штаба[[138]] и представили список офицеров, которые, якобы, решили организовать убийство Корнилова. В списке фигурировали имена людей «Алексеевского окружения» и некоторых чинов штаба. Когда Романовский, смотревший на этот инцидент, как на злостную выдумку, все же собрался доложить о нем генералу Корнилову, тот перебил его:

– Мне это известно.

И перешел к текущим вопросам.

Оскорбленные наветом офицеры требовали реабилитации или отчисления их из армии. Через 2–3 дня Корнилов собрал их и сказал:

– Дело не в Корнилове. Я просто не допускаю мысли, что бы в армии нашлись офицеры, которые могли бы поднять руку на

своего командующего. Я вам верю и прошу продолжать службу.

Донская политика привела к тому, что командующий Добровольческой армией, генерал Корнилов жил конспиративно, ходил в штатском платье, и имя его не упоминалось официально в донских учреждениях

Донская политика лишила зарождающуюся армию еще одного весьма существенного организационного фактора… Кто знает офицерскую психологию, тому понятно значение приказа. Генералы Алексеев и Корнилов при других условиях могли бы отдать приказ о сборе на Дону всех офицеров русской армии. Такой приказ был бы юридически оспорим, но морально обязателен для огромного большинства офицерства, послужив побуждающим началом для многих слабых духом. Вместо этого распространялись анонимные возвания и «проспекты» Добровольческой армии. Правда, во второй половине декабря в печати, выходившей на территории советской России, появились довольно точные сведения об армии и ее вождях. Но не было властного приказа, и ослабевшее нравственно офицерство шло уже на сделки с собственной совестью. Пробирались в армию сотни, а десятки тысяч, в силу многообразных обстоятельств, в том числе главным образом тяжелого семейного положения и слабости характера, выжидали, переходили к мирным занятиям, преображались в штатских людей или шли покорно на перепись к большевистским комиссарам, на пытку в чрезвычайке, позднее на службу в Красную армию. Часть офицерства оставалась еще на фронте, где офицерское звание было упразднено и где Крыленко доканчивал «демократизацию», проходившую, по словам его доклада Совету народных комиссаров «безболезненно, если не считать того, что в целом ряде частей стрелялись офицеры, которых назначали на должность кашеваров»… Другая часть распылялась. Важнейшие центры – Петроград, Москва, Киев, Одесса, Минеральные воды, Владикавказ, Тифлис – были забиты офицерами. Пути на Дон были конечно очень затруднены[139]], но твердую волю настоящего русского офицера не остановили бы никакие кордоны. Невозможность производства мобилизации даже на Дону привела к таким поразительным результатами напор большевиков сдерживали несколько сот офицеров и детей – юнкеров, гимназистов, кадет, а панели и кафе Ростова и Новочеркасска были полны молодыми здоровыми офицерами, не поступавшими в армию. После взятия Ростова большевиками, советский комендант Калюжный жаловался в совете рабочих депутатов на страшное обременение работой:

тысячи офицеров являлись к нему в управление с заявлениями, «что они не были в Добровольческой армии»…

Также было и в Новочеркасске. Донское офицерство, насчитывающее несколько тысяч, до самого падения Новочеркасска уклонилось вовсе от борьбы: в донские партизанские отряды поступали десятки, в Добровольческую армию единицы, а все остальные, связанные кровно, имущественно, земельно с войском, не решались пойти против ясно выраженного настроения и желаний казачества,

Надежды на Москву также не оправдались. В ноябре приехал к генералу Алексееву посланец от Брусилова. Брусилов писал, что тяжелое испытание, ниспосланное России, должно побудить всех честных людей работать совместно. Узнав, что Алексеев формирует армию, он отдает себя в полное его распоряжение и просить полномочий для работы в Москве. Алексеев ответил сердечным письмом, в котором изложил свои планы и надежды, даль полномочия и поставил задачу – направлять решительно всех офицеров и все средства на Дон. Скоро, однако, алексеевский штаб убедился, что Брусилов переменил направление и, пользуясь остатком своего авторитета, запрещает выезд офицеров на Дон… Вероятно нет более тяжелого греха у старого полководца, потерявшего в тисках большевистского застенка свою честь и достоинство, чем тот, который он взял на свою душу, давая словом и примером оправдание сбившемуся офицерству, поступавшему на службу к врагам русского народа.

Свою вероятно не последнюю в жизни эволюцию он объяснил позднее следующими, полными внутренней лжи словами:

– Я подчиняюсь воле народа – он в праве иметь правительство, какое желает. Я могу быть не согласен с отдельными положениями, тактикой советской власти; но, признавая здоровую жизненную основу, охотно отдаю свои силы на блого горячо любимой мною родины[[140]].

Цели, преследуемые Добровольческой армией, впервые были обнародованы в воззвании, исходившем из штаба, 27 декабря.

1. Создание «организованной военной силы, которая могла бы быть противопоставлена надвигающейся анархии и немецко-большевистскому нашествию. Добровольческое движение должно быть всеобщим. Снова, как в старину, 300 лет тому назад, вся Россия должна подняться всенародным ополчением на защиту своих осквернённых святынь и своих попранных прав».

2. «Первая непосредственная цель Добровольческой армии – противостоять вооруженному нападению на Юг и Юго-восток России. Рука об руку с доблестным казачеством, по первому призыву его Круга, его правительства и Войскового атамана, в союзе с областями и народами России, восставшими против немецкоболыиевистского ига, – все русские люди, собравшиеся на

Юге со всех концов нашей Родины, будут защищать до последней капли крови самостоятельность областей, давших им приют и являющихся последним оплотом русской независимости, последней надеждой на восстановление Свободной Великой России.

3. Но рядом с этой целью – другая ставится Добровольческой армии. Армия эта должна быть той действенной силой, которая даст возможность русским гражданам осуществить дело государственного строительства Свободной России… Новая армия должна стать на страже гражданской свободы, в условиях которой хозяин земли русской – ее народ – выявить через посредство избранного Учредительного Собрания державную волю свою. Перед волей этой должны преклониться все классы, партии и отдельные группы населения. Ей одной будет служить создаваемая армия, и все участвующие в ее образовании будут беспрекословно подчиняться законной власти, поставленной этим Учредительным Собранием.»

В заключение воззвание призывало «встать в ряды Российской рати… всех, кому дорога многострадальная Родина, чья душа истомилась к ней сыновней болью.»

Отозвались, как я уже говорил, офицеры, юнкера, учащаяся молодежь и очень, очень мало прочих «городских и земских» русских людей. «Всенародного ополчения» не вышло. В силу создавшихся условий комплектования, армия в самом зародыше своем таила глубокий органический недостаток, приобретая характер классовый. Нет нужды, что руководители ее вышли из народа, что офицерство в массе своей было демократично, что все движение было чуждо социальных элементов борьбы, что официальный символ веры армии носил все признаки государственности, демократичности и доброжелательства к местным областным образованием… Печать классового отбора легла на армию прочно и давала повод недоброжелателям возбуждать против нее в народной массе недоверие и опасения и противополагать ее цели народным интересами

Было ясно, что при таких условиях Добровольческая армия выполнить своей задачи в общероссийском масштабе не может. Но оставалась надежда, что она в состоянии будет сдержать напор неорганизованного пока еще большевизма и тем даст время окрепнуть здоровой общественности и народному самосознанию, что ее крепкое ядро со временем соединить вокруг себя пока еще инертные или даже враждебные народные силы.

Лично для меня было и осталось непререкаемым одно весьма важное положение, вытекавшее из психологии октябрьского переворота:

Если бы в этот трагический момент нашей истории не нашлось среди русского народа людей, готовых восстать против безумия и преступления большевистской власти и принести свою кровь и жизнь за разрушаемую родину, – это был бы не народ, а навоз для удобрения беспредельных полей старого континента, обреченных на колонизацию пришельцев с Запада и Востока.

К счастью мы принадлежим к замученному, но великому русскому народу.

Формирование армии вначале носило поневоле случайный характер, определяясь зачастую индивидуальными особенностями тех лиц, которые брались за это дело. К началу февраля в состав армии входили:

1. Корниловский ударный полк (Подполковник Неженцев)
2. Георгиевский полк – из небольшого офицерского кадра, прибывшего из Киева. (Полковник Кириенко).
3. 1-й, 2-й, 3-й офицерские батальоны – из офицеров, собравшихся в Новочеркасске и Ростове. (Полковник Кутепов, Подполковники Борисов и Лаврентьев, позднее полковник Симановский).
4. Юнкерский батальон – главным образом из юнкеров столичных училищ и кадет. (Штабс-капитан Парфенов)
5. Ростовский добровольческий полк – из учащейся молодежи Ростова. (Генерал-майор Боровский).
6. Два кавалерийских дивизиона. (Полковников Гершельмана и Глазенапа).
7. Две артиллер. батареи – преимущественно из юнкеров артиллерийских училищ и офицеров. (Подполковники Миончинский и Ерогин).
8. Целый ряд мелких частей, как то «морская рота» (капитан 2-го ранга Потемкин), инженерная рота, чехословацкий инженерный батальон, дивизион смерти Кавказской дивизии (Полковник Ширяев) и несколько партизанских отрядов, называвшихся по именам своих начальников.

Все эти полки, батальоны, дивизионы были по существу только кадрами, и общая боевая численность всей армии вряд ли превосходила 3–4 тысячи человек, временами, в период тяжелых ростовских боев, падая до совершенно ничтожных размеров. Армия обеспеченной базы не получила. Приходилось одновременно и формироваться, и драться, неся большие потери и иногда разрушая только что сколоченную с большими усилиями часть.

Около штаба кружились авантюристы, предлагавшие формировать партизанские отряды. Генерал Корнилов слишком доверчиво относился к подобным людям и зачастую, получив

деньги и оружие, они или исчезали, или отвлекали из рядов армии в тыл элементы послабее нравственно, или составляли шайки мародеров[[141]]. Особенную известность получил отряд сотника Грекова – «Белого дьявола» – как он сам себя именовал, который в течение двух, трех недель разбойничал в окрестностях Ростова, пока, наконец. отряд не расформировали. Сам Греков где-то скрывался и только осенью 1918 года был обнаружен в Херсоне или Николаеве, где вновь по поручению городского самоуправления собрал отряд, прикрываясь добровольческим именем. Позднее был пойман в Крыму и послан на Дон в руки правосудия. Какой то туземец вербовал персов, набирая их, как оказалось, среди подонков ростовских ночлежных домов… Все эти импровизации вносили расстройство в организацию армии и придавали несвойственный ей скверный налет. К счастью, вскоре этому был положен предел Назревала мистификация и в более широком масштабе: из Екатеринодара приехал некто – Девлет хан Гирей, с предложением «поднять черкесский народ», для чего потребовался аванс в 750 тысяч рублей и до 9 тысяч ружей. Только пустая армейская казна остановила этот странный опыт, так неудачно повторенный впоследствии.

Армия пополнялась на добровольческих началах, при чем каждый доброволец давал подписку прослужить четыре месяца и обещал беспрекословное повиновение командованию. Состояние казны давало возможность оплачивать добровольцев до крайности нищенскими окладами: Офицеры Солдаты 1917 г., ноябрь только паёк только паёк 1917 г., декабрь 100 руб. 30 руб. 1918 г., январь 150 руб. 50 руб. 1918 г., февраль[[142]] 270 руб. 150 руб. В офицерских батальонах, отчасти и батареях, офицеры несли службу рядовых, в условиях крайней материальной необеспеченности. В донских войсковых складах хранились огромные запасы, но мы не могли получить оттуда ничего иначе, как путем кражи или подкупа. И войска испытывали острую нужду решительно во всем: не хватало вооружения и боевых припасов, не было обоза, кухонь, теплых вещей, сапог… И не было достаточно денег, чтобы удовлетворить казачьи комитеты, распродававшие на сторону все, до совести включительно…

Высоко поучительна история создания добровольческой артиллерии. Одну батарею (два орудия) украли в 39 дивизии, ушедшей самовольно с Кавказского фронта и обратившей Ставропольскую губернию в свой лен. Сборный офицерско-юнкерский отряд произвел ночной набег на одно из селений, расположенных в районе Торговой (Ставропольской губ., верст за полтораста от Новочеркасска), где квартировала батарее; отбил у солдат два орудия и привез их в Новочеркасск. Два орудия мы

взяли в донском складе с разрешения комитета для отдания почестей на похоронах добровольческого офицера и «затеряли». Одну батарею купили у вернувшихся с фронта казаков-артиллеристов, послав к ним полковника Тимановскаго, который споил команду и уплатил ей около 5 тысяч рублей. Можно себе представить наше огорчение, когда донцы неожиданно отказались от сделки, в виду того, что войсковой штаб назначил в батарею пополнение и неизвестно было, как оно отнесется к самоупразднению. Послали телеграмму в донской штаб, который поспешил отменить свое распоряжение.

Наконец, в начале января команда в составе около 40 офицеров и юнкеров была командирована в Екатеринодар за уступленными нам кубанским атаманом пушками. На узловой станции Тимашевской вагон с добровольцами окружили казаки местного кубанского полка и, когда после долгих споров добровольцы, не желая пролития крови, согласились сдать оружие с тем, что их пропустят в. Екатеринодар[[143]], казаки перецепили вагон и под сильным конвоем отправили его… в Новороссийск, сдав добропольцев военно-революционному комитету. Несколько человек на полном ходу выбросились из вагона и вернулись в Ростов, остальные томились почти восемь месяцев в Новороссийской тюрьме, в ожидании той участи, которая постигла там вскоре несчастных офицеров Варнавинского полка… (Команда контр-миноносца «Керчь», совместно с советскими властями города, сняла с транспорта, отходившего от пристани с 491-м Варнавинским полком, выданных солдатами, после некоторого колебания, всех офицеров полка. В тот же день, 18 февраля, офицеры, помещенные на баржу, были раздеты, связаны, изувечены, изрублены, расстреляны, а затем сброшены в море. Через несколько месяцев трупы несчастных стали всплывать на поверхность воды… По счастливой случайности артиллеристы остались целы и были выручены вступившими в Новороссийск в августе 1918 года частями Добровольческой армии.

Сколько мужества, терпения и веры в свое дело должны были иметь те «безумцы», которые шли в армию, не взирая на все тяжкие условия ее зарождения и существования!

Отличительным знаком новой армии был нашиваемый на рукав угол из лент национальных цветов.

Я был назначен начальником «Добровольческой дивизии», в состав которой входили все наши формирования, так что в сущности возникало двоевластие, устраненное впоследствии, в начале февраля. Хозяйственных функций у меня не было никаких. Начальником штаба «дивизии» стал генерал Марков; штаб 4–5 офицеров.

При командующем армией образовался большой штаб армии, возглавляемый генералом Лукомским и ведавший всеми организационными, административными, хозяйственными вопросами, а также высшим оперативным руководством армии. Имел свой штаб и генерал Алексеев. Несоответствие численности наших штабов боевому составу армии резко бросалось в глаза и вызывало осуждение в рядах войск. Вызывалось оно разными причинами: широким размахом, который хотели придать всему начинанию, навыком начальников, занимавших ранее высокие посты и привыкших к большому масштабу работы, наличием многих опытных штабных работников, не годившихся к строевой службе и, конечно, тем стихийным стремлением всех штабов всех времен к саморазмножению, с которым безнадежно боролись и Корнилов, и впоследствии я. Отчасти на этой почве в конце января произошло недоразумение между генералом Корниловым и генералом Лукомским, после чего в должность начальника штаба армии вступил генерал Романовский, а Лукомский был назначен представителем армии при Донском атамане.

Штаб армии состоял из двух отделов – строевого и снабжении. Первым ведал генерал Романовский, вторым – генерал Эльснер. В первый период деятельность Ивана Павловича заслонялась многими наслоившимися инстанциями и не привлекала к себе особенного внимания. Только его манера резко и откровенно обрывать людей недобросовестных, независимо от положения, людей, которые все больше и больше облепляли организацию, – создавала этому скромнейшему по характеру человеку репутацию «надменного»… За то на почве тяжелого материального положения армии всеобщее озлобление обрушилось на голову начальника снабжении, генерала Эльснера. Его бранили и в строю, и в штабах, и среди общесгвенных деятелей, прикосновенных к организации. Впоследствии А. Суворин зло и несправедливо обрушился на него в печати… Действительно суровое время требовало и других людей. Эльснер был выдающимся начальником снабжения Юго-западного фронта, а здесь нужен был просто хороший, крепкий интендант, умеющий найти и купить. Эльснер был добросовестен, медлителен и трудолюбив, несколько придавлен бердичевским и быховским сидением, состарившим его, и слишком добр, тогда как требовалась исключительная энергия, порыв и безжалостность. Наконец Эльснер был честен, тогда как подлое время требовало, очевидно, и подлых приемов. Генерал Алексеев, по выходе книги А. Суворина, вступившись за Эльснера, между прочим писал: «Начинали мы работу с грошами, а главное совершенно не имели времени и возможности готовиться к походу… Наиболее тяжким

и кошмарным представлялся (тогда)… вопрос санитарный… Вы знаете причины этого: не недостаток средств, а полное отсутствие людей, готовых беззаветно и умело работать в этой области. Так и по другим частям: нет энергичного интенданта – толкового и дельного, нет других сотрудников, могущих честно и продуктивно работать в области хозяйства»[[144]]…

Был, впрочем. в организации один инженер, обладавший как раз всеми свойствами противоположными тем, которыми судьба наделила Эльснера Но и он в тогдашней удручающей обстановке не дал армии ничего, себе же создал весьма сомнительную репутацию.

Назначение начальников строевых частей вначале имело поневоле чисто случайный характер: выбора не было, людей не знали. Один оказался пьяницей и садистом и, будучи исключен из армии, впоследствии подобрал шайку, нанялся к ставропольским овцеводам и терроризировал население, пока не был предан суду. Другой, выдававший себя за родственника Корнилова, – бестолковый и недалекий, игравший на аракчеевском «без лести предан» и льстивший до приторности командующему, графоман и кляузник, в течение трех недель безнадежно путал в деле командования отрядом, пока случай не избавил нас от него: после одного тяжелого боя он уехал в Ростов и оттуда послал своему заместителю на позицию распоряжение присылать ежедневно по 15–20 человек под видом обмороженных; таким образом соберется весь отряд и отдохнет… А в эти дни поредевший фронт еле держался. Письмо попало в руки генерала Корнилова и решило участь писавшего: он был уволен в резерв.

Корнилов привязывался к людям, верил им и страдал, когда обнаруживалась ошибка. Помню, как в тот день он характерным жестом провел рукою по опечаленному лицу и сказал:

– Как тяжело разочаровываться в людях.

Такие типы были, однако, исключением; в большинстве подобрались высоко доблестные командиры, а тяжкие бои и поход создавали тесное взаимное общение и близкое знакомство и отсеивали постепенно все более слабое. Добровольческая армия чтит память многих первых своих командиров: Неженцев – влюбленный в Корнилова и в его идею до самопожертвования, пронесший ее нерушимо сквозь тысячи преград, бесстрашный, живший полком и для полка и сраженный пулей в минуту вдохновенного порыва, увлекая поколебавшиеся ряды Корниловцев в атаку… Миончинский – этот виртуоз артиллерийского боя, живший, горевший и священнодействовавший в музыке смертоносного огня… Тимановский – весь израненный – в Кубанских походах ходивший

в атаку также спокойно, с величайшим презрением к смерти, как и в дни Луцкого прорыва в рядах «железной дивизии»… «Наш» Марков… И много других, уже павших или уцелевших, которые с первых дней армии добросовестно и бескорыстно отдали ей свои силы и жизнь.

* * *

Много уже написано, еще больше напишут о духовном облике Добровольческой армии. Те, кто видел в ней осиянный страданием и мученичеством подвиг – правы. И те, кто видел грязь, пятнавшую чистое знамя, во многих случаях искренни. Весь вопрос в правильном синтезе ряда сложных явлений в жизни армии – явлений, рожденных войной и революцией. Так, каждый в отдельности офицер, выведенный в купринском «Поединке», – живой человек, но такого собрания офицеров такого полка в русской армии не было.

В нашу своеобразную Запорожскую сечь шли все, кто действительно сочувствовал идее борьбы и был в состоянии вынести ее тяготы. Шли и хорошие, и плохие. Но четыре года войны и кошмар революции не прошли бесследно. Они обнажили людей от внешних культурных покровов и довели до высокого напряжения все их сильные и все их низменные стороны. Было бы лицемерием со стороны общества, испытавшего небывалое моральное падение, требовать от добровольцев аскетизма и высших добродетелей. Был подвиг, была и грязь. Героизм и жестокость. Сострадание и ненависть. Социальная терпимость и инстинкт классовой розни. Первые явления возносили, со вторыми боролись. Но вторые не были отнюдь преобладающими: история отметить тот важный для познания русской народной души факт, как на почве кровавых извращений революции, обывательской тины и интеллигентского маразма могло вырасти такое положительное явление, как добровольчество, при всех его теневых сторонах сохранившее героический образ и национальную идею.

Добровольцы были чужды политики, верны идее спасения страны, храбры в боях и преданы Корнилову. Впереди их ждало увечье, скитание, многих – смерть; победа представлялась тогда в далеком будущем. Они дрались на подступах к Ростову, зная, что сотни тысяч казаков и ростовской буржуазии за их спиною живут легко и привольно. Они были оборванцы, мерзли и голодали, видя как беснуется и веселится богатейший Ростов, финансовая знать которого с большим трудом «пожертвовала» на армию два

миллиона рублей, растворившихся быстро в бездонной ее нужде. Они встречали в обществе равнодушие, в народе вражду, в резолюциях революционных учреждений и социалистической печати злобу, клевету и поношение. Одиночные добровольцы, случайно попадавшие в Темерник – рабочие кварталы Ростова – часто не возвращались… Однажды в Ростове, когда юнкерский караул, спровоцированный выстрелом на большом железнодорожном митинге, пустил в ход оружие, в результате чего оказались один или два рабочих убиты, это событие вызвало огромную демонстрацию; с разрешения донского правительства «жертвам» были устроены грандиозные похороны с толпами народа, депутациями, венками и речами, направленными против «врагов народа». А «враги народа» в это время каждый день тихо, без венков и речей, в наскоро сколоченных гробах, иногда и без гробов, опускались в холодную могилу возле чужих и незнакомых им станций и полустанков Донской земли. И редко когда их провожала слеза друга или брата, ибо звериное время зачерствляло сердца и понижало цену жизни.

Гражданская война довершила тот психологический процесс, который только наметила война на фронте.

Вскоре стало известным, что большевики убивают всех добровольцев, захваченных ими, предавая перед этим бесчеловечные мучения. Сомнений в этом не было. Не раз на местах, переходивших из рук в руки, добровольцы находили изуродованные трупы своих соратников, слышали леденящую душу повесть свидетелей этих убийств, спасшихся чудом из рук большевиков. Помню, какою жутью повеяло на меня, когда первый раз привезли восемь замученных добровольцев из Батайска – изрубленных, исколотых, с обезображенными лицами, в которых подавленные горем близкие едва могли различить родные черты… Поздно вечером, где-то далеко на заднем дворе товарной станции, среди массы составов я кашель вагон с трупами, загнанный туда по распоряжению ростовских властей, «чтобы не вызвать эксцессов». И когда при тусклом мерцаний восковых свечек священник, робко озираясь, возглашал «вечную память убиенным», сердце сжималось от боли, и не было прощения мучителям…

Помню свою – поездку на «Таганрогский фронт» в середине января. На одной из станций возле Матвеева кургана, на платформе лежало тело, прикрытое рогожей. Это быль труп начальника станции, убитого большевиками, узнавшими, что его сыновья служат в Добровольческой армии. Отцу порубили руки и ноги, вскрыли брюшную полость и закопали еще живым в землю. По искривленным членам и окровавленным израненным пальцам

видно было, какие усилия употреблял несчастный, чтобы выбраться из могилы. Здесь же были два его сына – офицеры, приехавшие из резерва, чтобы взять тело отца и отвезти его в Ростов. Вагон с покойником прицепили к поезду, в котором я ехал. На какой то попутной станции один из сыновей, увидев вагон с захваченными в плен большевиками, пришел в исступление, ворвался в вагон и, пока караул опомнился, застрелил несколько человек…

Среди кровавого тумана калечились души молодых жизнерадостных и чистых сердцем юношей. Однажды в Ростове, в Парамоновском доме, до слуха моего долетел веселый разговор. Рассказьвал о чем то молодой подпоручик, почти мальчик, 17 лет Я поинтересовался, в чем дело. Оказывается, шел он по улице, как обычно, с винтовкой через плечо Наткнулся на облаву, устроенную милиционерами на бандитов, принял участие и одного бандита убил выстрелом:

– Вскинул ружье, бац – прямо в глаз, так и свалился, не пикнув!

И он сопровождал рассказ веселым смехом. Я обрушился на него:

– Стыдитесь вы! Неужели вы не понимаете всего цинизма вашего смеха? Если судьба привела убить человека, так разве можно этому радоваться?

По мере того, как я говорил, лицо у подпоручика сводило сильной судорогой, глаза наполнились слезами, и он опустился беспомощно на стул. Мне рассказали потом его историю. Большевики убили его отца, дряхлого отставного генерала, мать, сестру и мужа сестры – полного инвалида последней войны. Сам подпоручик, будучи юнкером, принимал участие в октябрьские дни в боях на улицах Петрограда, был схвачен, жестоко избит, получил сильные повреждения черепа и с трудом спасся.

И много было таких людей, исковерканных, изломанных жизнью, потерявших близких или оставивших семью без куска хлеба там, где то далеко – на произвол будущего красного безумия. Не они создавали основной облик армии, но их психология должна быть учтена теми, в особенности, кто на крестном пути добровольцев склонен видеть только мрачные тени.

Большевики с самого начала определили характер гражданской войны:

Истребление.

Советская опричнина убивала и мучила всех не столько в силу звериного ожесточения, непосредственно появлявшагося во время боя, сколько под влиянием направляющей сверху руки,

возводившей террор в систему и видевшей в нем единственное средство сохранить свое существование и власть над страной Террор у них не прятался стыдливо за «стихию», «народный гнев» и прочие безответственные элементы психологии масс – он шествовал нагло и беззастенчиво Представитель красных войск Сиверса, наступавших на Ростов, Волынский, явившись на третий день после взятия города в совет рабочих депутатов, не оправдывался, когда из меньшевистского лагеря послышалось слово – «убийцы». Он сказал:

– Каких бы жертв это ни стоило нам, мы совершим свое дело, и каждый, с оружием в руках восставший против советской власти, не будет оставлен в живых. Нас обвиняют в жестокости, и эти обвинения справедливы. Но обвиняющие забывают, что гражданская война – война особая. В битвах народов сражаются люди – братья, одураченные господствующими классами; в гражданской же войне идет бой между подлинными врагами. Вот почему эта война не знает пощады, и мы беспощадны»[[145]].

Выбора в средствах противодействия при такой системе ведения войны не было. В той обстановке, в которой действовала Добровольческая армия, находившаяся почти всегда в тактическом окружении – без своей территории, без тыла, без баз, представлялись только два выхода: отпускать на волю захваченных большевиков или «не брать пленных». Я читал где то, что приказ в последнем духе отдал Корнилов. Это не верно: без всяких приказов жизнь приводила во многих случаях к тому ужасному способу войны «на истребление», который до известной степени напомнил мрачные страницы русской пугачевщины и французской Вандеи… Когда во время боев у Ростова от поезда оторвалось несколько вагонов с ранеными добровольцами и сестрами милосердия и покатилось под откос в сторону большевистской позиции, многие из них, в припадке безумного отчаяния, кончали самоубийством. Они знали, что ждет их. Корнилов же приказывал ставить караулы к захваченным большевистским лазаретам. Милосердие к раненым – вот все, что мог внушать он в ту грозную пору, Только много времени спустя, когда советское правительство, кроме своей прежней опричнины, привлекло к борьбе путем насильственной мобилизации подлинный народ, организовав Красную армию, когда Добровольческая армия стала приобретать формы государственного учреждения с известной территорией и гражданской властью, удалось мало помалу установить более гуманные и человечные обычаи, поскольку это, вообще, возможно в развращенной атмосфере гражданской войны.

Она калечила жестоко не только тело, но и душу.

Глава XVIII. Конец старой армии. Организация красной гвардии. Начало вооруженной борьбы советской власти против Украины и Дона. Политика союзников; роль чехо-словацкого и польского корпусов. Бои Добровольческой армии и донских партизан на подступах к Ростову и Новочеркасску. Оставление Добровольческой армией Ростова

В Брест-Литовске происходил торг между центральными державами и их советскими агентами, воспоминание о котором вызывает жгучий стыд и боль. Никогда еще европейские государственные деятели не сбрасывали с себя с таким бесстыдством всякие покровы чести и справедливости. Совет народных комиссаров, связанный денежными отношениями с немецким штабом, соблюдал, однако, внешний декорум. Совет пожелал узнать мнение крыленковской Ставки – подписывать ли немедленный мир на немецких условиях или нет, «в зависимости от способности фронтов к боевому сопротивлению». Крыленко собрал 22 января «военный совет»[[146]], членов которого он познакомил с мнениями по этому поводу Ленина и Бронштейна. Первый считал необходимым заключение мира во что бы то ни стало; второй предлагал «всю материальную часть действующей армии эвакуировать вглубь страны… старую армию распустить, а потом, не подписывая и не заключая мира, предоставить немцам поступать с нами, как они хотят, заранее зная, что они все равно фактически нам сделать ничего не могут, так как Германия заливается пожаром пролетарской революции». Даже крыленковский «совет» возмутился подобной постановкой вопроса и большинством 7 голосов против 4 (в последнем числе голос самого главковерха) признал невозможным заключение мира на предложенных немцами условиях и необходимым продолжать борьбу всеми средствами. На этом секретном

заседании Крыленко высказал некоторые взгляды, отражавшие образ мыслей народных комиссаров, обнаженные от всяких условных форм советского лукавства и несравнимые по своему цинизму.

> «Какое нам дело – говорил он – до того, заботится или не заботится Германия о наращении или ненаращении территории? Какое нам дело, будет или не будет урезана Россия? И какое, наконец, нам дело, – будет или не будет существовать сама Россия в том виде, как это доступно пониманию буржуев? Наплевать нам на территорию! Это – плоскость мышления буржуазии, которая раз навсегда и безвозвратно должна погибнуть»…

> «Войну нужно окончить теперь же… Старую армию расформировать до последнего человека, чтобы от этой крестьянской рухляди не осталось и следов, чтобы сама идее старой армии была растоптана и раздавлена»…

Таким языком говорили они теперь о той силе, которой раньше расточали низкую лесть и которая привела большевизм к власти над страной.

> «Новая социалистическая армия не должна вести войну на внешнем фронте против неприятельской армии… она будет стоять на страже советской власти, как основа ее существования, и, вместе с тем, главнейшая задача армии будет заключаться еще в том, чтобы раздавить нашу буржуазию»[[147]].

Исходя из этой точки зрения, еще в половине января советская власть обнародовала декрет об организации «рабоче-крестьянской армии» из «наиболее сознательных и организованных элементов трудящегося класса». Но формирование новой классовой армии шло неуспешно, и совету пришлось обратиться к старым организациям: выделялись части с фронта и из запасных батальонов. соответственно отсеянные и обработанные, латышские, матросские отряды и красная гвардия, формировавшаяся фабрично-заводскими комитетами. Все они шли против Украины и Дона. Какая сила двигала этих людей, смертельно уставших от войны, на новые жестокие жертвы и лишения? Меньше всего – преданность советской власти и ее идеалам. Голод, безработица, перспективы праздной, сытой жизни и обогащения грабежом, невозможность пробраться иным

порядком в родные места, привычка многих людей за четыре года войны к солдатскому делу, как к ремеслу (»деклассированные»), наконец, в большей или меньшей степени чувство классовой злобы и ненависти, воспитанное веками и разжигаемое сильнейшей пропагандой. Ростовский орган с. д. «Рабочее слово» (8, 1918 г.) приводил интересный факт: возвращение из ограбленного Киева Макеевского отряда рудничных рабочих, их «внешний облик и размах жизни» вызвали в угольном районе такое стремление в красную гвардию, что сознательные рабочие круги были серьезно обеспокоены, «как бы весь наличный составь квалифицированных рабочих не перешел в красную гвардию»…

Известное участие в наступлении против Юга принял и немецкий генеральный штаб, одна из организаций которого – майора фон Бельке – занималась формированием для советской армии отрядов из военнопленных немцев, широкой пропагандой и разведкой на Дону. Как видно из документов, опубликованных Сиссоном, майор фон Бельке, совместно с большевиками, организовал также покушение на убийство генералов Алексеева и Каледина и помощника атамана М. Богаевского, неудавшееся в силу того, что командированные для этой цели агенты, по определению немцев, «оказались трусливыми и непредприимчивыми людьми».

Однако, военное положение в течение всего декабря и начала января в представлении советского командования рисовались в чрезвычайно пессимистических красках. Советские сводки до смешного преувеличивали и силы Добровольческой армии, и активность ее намерений. Так 18 декабря, когда добровольческие части не выходили еще на фронт, а донские митинговали, с южного фронта доносили: «положение крайне тревожное. Каледин и Корнилов идут на Харьков и Воронеж… Главнокомандующий просить присылать на помощь отряды красногвардейцев»[[148]]. Комиссар Склянский сообщал совету народных Комиссаров что Дон мобилизован поголовно, вокруг Ростова собрано 50 тысяч войска. Ленин рассылал во все стороны отчаянные телеграммы, подымая красную гвардию против «Каледина, напавшего на русскую революцию». Только в конце января большевистское командование получило более подробную ориентировку о военно-политическом строе Добровольческой армии, между прочим как писали «Известия», и от генерала Д. Потоцкого, арестованного военно-революционным комитетом деревни Позднеевки и отправленного в Петропавловскую крепость[[149]].

Не взирая на кажущуюся бессистемность действий большевистских отрядов, в общем направлении их чувствовалась

рука старой Ставки и определенный стратегически-политический план. Он заключался в том, чтобы разъединить Украину и Дон путем захвата железнодорожных узлов и линий и тем пресечь связь между ними и снабжение Дона; затем – одновременным наступлением захватить административные центры новообразований – Киев, Ростов (Новочеркасск). В частности против Дона, который, кроме своего военно-политического значения, имел и огромное экономическое, прегражда пути к хлебу, углю и нефти, наступление должно было вестись концентрически со стороны Харькова, Воронежа. Царицына и Тихорецкой (Ставрополя). Первое направление, после падения Украины, приобретало наиболее серьезное значение, в особенности в виду сосредоточения на нем более стойких и послушных центру войск. На последних трех, в силу продолжавшейся в Воронеже, Царицыне и на Кавказе анархии и неповиновения центральной власти со стороны местных советов, пока еще не заметно было активных действий. Тем не менее, большевистское кольцо вокруг казачьих столиц все более сжималось, и к середине января все железнодорожные пути к ним были отрезаны.

Общим фронтом наступления командовал комиссар Антонов-Овсеенко, а «армией», наступавшей на Ростов, Сиверс – бывший редактор «Окопной правды», издававшейся на Северном фронте.

К концу января обстановка на «внутреннем фронте» складывалась следующим образом: украинские части Петлюры находились в беспорядочном отступлении от Киева к Житомиру; Добровольческая армия сосредоточилась в Ростове, имея передовые части у станции Матвеев Курган; партизанские отряды донцов защищали с севера Новочеркасск, располагаясь у Сулина; добровольческие отряды на Кубани прикрывали Екатеринодар со стороны Тихорецкой и Новороссийска; в Закавказьи национальные войска – грузинские, татарские только еще готовились к сопротивлению большевикам и турецкому нашествию; отряды атамана Дутова, выбитые из Оренбурга, ушли в степи; на Урале войсковая власть вела скрытую подготовку вооруженной силы, стараясь не привлекать к себе внимания советского правительства и руководствуясь, по словам уральского бытописателя, исторической поговоркой: «Живи казак, пока Москва не узнала. Москва узнает – плохо будет».

В Финляндии, после ее отделения, образовалась своя национальная красная гвардия; в Бессарабскую губернию, под предлогом восстановления порядка, вступила румынская армия Авереско. Наконец, на западе и юго-западе России расположены были два сильных и достаточно организованных корпуса:

польский – генерала Довбор-Мусницкого – в районе Витебск – Минск – Жлобин, и чешско-словацкий, под начальством русского генерала Шокорева – в районе Полонного (Волынск, губ.) и Ромодан (Полтавской губ.).

Два эти корпуса привлекали издавна наше внимание, и генералы Алексеев и Корнилов вели длительные переговоры с их руководителями, с целью привлечения этих войск к борьбе против большевиков. Планы наши не встретили сочувствия ни со стороны политических руководителей польских и чехо-словацких войск, ни в среде французской дипломатии, голос которой имел решающее значение в силу того, что оба корпуса поступили в ведение французского правительства и содержались на его средства.

Полное непонимание совершающихся в России событий приводило союзническую политику к ряду непоправимых ошибок, последствия которых одинаково тяжело отзывались на их и наших интересах.

Командированный Корниловым в Киев офицер – чех – в начале декабря доносил:

> «У наших вождей (профес. Массарик и Макс) крепко засела мысль, что (они) не имеют права вмешиваться в русские дела; (они) недостаточно оценивают силы корпуса, а генерал Шокорев ничем себя не проявляет, подчиняется вполне молодому профессору Максу»…

Состоявший комиссаром при корпусе проф. Макс на предложение Корнилова о соединении чехов с польским корпусом ответил отказом на том основании, что без разрешения Центральной рады погрузка чешских эшелонов невозможна. Лояльность Макса в отношении советской власти была настолько велика, что само присутствие в районе чешского штаба офицера, так или иначе причастного к корниловскому выступлению, сочтено было неудобным и ему предложили покинуть Киев…

Впоследствии, в конце января 1918 года, генерал Алексеев в письме, обращенном к начальнику французской миссии в Киеве, указав на серьезное значение добровольческой организации и очертив тяжелую обстановку на Дону, говорил:

> «… Но силы неравны, и без помощи мы вынуждены будем покинуть важную в политическом и стратегическом отношении территорию Дона к общему для России и союзников несчастью. Предвидя этот исход, я давно и безнадежно добивался согласия направить на Дон, если не весь чешско-словацкий корпус, то хотя бы

одну дивизию. Этого было бы достаточно, чтобы вести борьбу и производить дальнейшие формирования Добровольческой армии. Но, к сожалению, корпус бесполезно и без всякого дела находится в районе Киева и Полтавы, а мы теряем территорию Дона. Сосредоточение одной сильной дивизии с артиллерией в районе Екатеринослав – Александровск – Синельникове уже оказало бы косвенную нам помощь… Весь корпус – сразу поставил бы на очередь решение широкой задачи. Зная ваше влияние на г. Макса и, вообще, на чехов, я обращаюсь к Вам с просьбой принять изложенное мною решение. Быть может, еще не поздно. Через несколько дней вопрос может решиться бесповоротно не в пользу Дона и русских вообще»…

Наши призывы не были услышаны. Французский посол Нуланс отнесся весьма несерьезно к зарождавшемуся на Юге движению. И он, и киевская французская миссия продолжали строить близорукие планы удержания развалившегося русского фронта сначала в единении с большевиками, демобилизовавшими армию, потом с Украиной, уже приступившей к тайным переговорам о мире с Германией, и опирались в то же время на помощь польских и чехо-словацких войск. 8 февраля Нуланс обратился к комиссару Бронштейну (Троцкому), предлагая от имени союзников, под личной своей ответственностью, советскому правительству финансовую и техническую помощь для продолжения войны с немцами. Только после подписания советами 19 февраля Брест-Литовского мира, Нуланс нашел, что нельзя больше «рассчитывать на советскую армию для восстановления восточного фронта»… «Во имя наших интересов и нашей чести, всякое сотрудничество французских офицеров в качестве инструкторов красных войск должно быть отныне воспрещено. Я не замедлил сделать это»[[150]]. «Честь» находилась в такой зависимости от «интересов», что после 19 февраля она приобретала иное внутреннее содержание, чем до 19-го…

Эти нелепые планы, над которыми жизнь издевалась ежедневно, тем не менее, гипнотизировали французов и препятствовали им оценить надлежаще все огромное значение нового (южного) общесоюзнического фронта – более глубокого, но в полной мере удовлетворявшего идее борьбы против австро-германцев и большевиков.

Что касается г.г. Массарика и Макса, они, всецело преданные идее национального возрождения своего народа и борьбы его с

германизмом, в запутанных условиях русской действительности не сумели найти правильной дороги и, находясь под влиянием русской революционной демократии, разделяли ее колебания, заблуждения и подозрительность.

Жизнь жестоко мстила за эти ошибки. Она заставила скоро обе национальные силы, столь упорно уклонявшиеся от вмешательства «во внутренние русские дела», принять участие в нашей междоусобной распре, поставив их в безвыходное положение между германской армией и большевизмом.

Уже в феврале, во время немецкого наступления на Украину, чехо-словаки, среди общего позорного бегства русских войск, будут вести ожесточенные бои против германцев и бывших своих союзников – украинцев на стороне большевиков. Потом они двинутся к бесконечному Сибирскому пути, выполняя фантастический план французского командования – переброски 50-ти тысячного корпуса на западно-европейский театр, отделенный от восточного девятью тысячами верст железнодорожного пути и океанами. Весною выступят с оружием в руках против своих недавних союзников – большевиков, предающих их немцам. Летом союзная политика повернет их обратно для образования фронта на Волге. И долго еще будут они участвовать деятельно в русской трагедии, вызывая к себе среди русских людей перемежающееся чувство злобы и благодарности…

Польский корпус окончить печальнее, сделавшись игрушкой в руках немцев. В начале января, по требованию германского генерального штаба и в связи с обнаруженными сношениями между генералами Алексеевым и Довбор-Мусницким, большевистская агитация обрушится на польские войска, внося разложение в их среду; в конце января начнутся жестокие бои поляков с большевиками, неудачные для первых, а в феврале – в то самое время, когда чехи будут вести бои совместно с большевиками против германцев, польские дивизии, признав варшавский «регентский совет», совместно с немцами перейдут вновь в наступление против большевиков. Вероятно затем только, чтобы через несколько недель их вероломно разгромили, разоружили и расформировали… немцы.

Все эти события, при всей их очевидной непоследовательности и отсутствии внутренней логики, имеют, однако, одно общее обоснование – в том забвении морального начала в политике и чрезмерного развития государственного материализма, которые были свойственны не только нашим врагам, но и друзьям Все они руководствовались исключительно собственной выгодой; до несчастия русского народа им не было никакого дела. Они могли идти с украинцами и против

украинцев, с большевиками и против большевиков, могли воссоединять и расчленять Росою, лишь бы эти действия соответствовали их национальным интересам. Но крайности этой доктрины, при отсутствии политического предвидения, привели как раз к противоположным результатам.

А между тем обоюдная государственная польза требовала от союзников не самопожертвования – этот банальный с точки зрения Европы альтруизм был похоронен давно на полях восточной Пруссии и Галиции в русских братских могилах; она требовала некоторой жертвы.

Конъюнктура безнадежная.

До такой моральной высоты психология европейских государственных деятелей и практика союзной дипломатии подняться не могли.

* * *

И так мы остались одни.

В середине января штаб и все добровольческие части перешли из Новочеркасска в Ростов[[151]]. Корнилов руководствовался при этом решении следующими мотивами: важное харьково-ростовское направление было брошено донцами и принято всецело добровольцами; переезд создавал некоторую оторванность от донского правительства и Совета, возбуждавших в командующем армией чувство раздражения; наконец, Ростовский и Таганрогский округа были не казачьими, что облегчало до некоторой степени взаимоотношения добровольческого командования и областной власти.

В Таганроге был расположен офицерский батальон полковника Кутепова и юнкерская школа; у Батайска – дивизион полковника Ширяева, позднее усиленный Морской ротой, с выдвинутой вперед к станции Степной заставой.

Города Таганрог и Ростов, с их многочисленным рабочим населением, враждебным Добровольческой армии, поглощали много сил на внутреннюю охрану. Буржуазия и в этом вопросе проявила полнейшее равнодушие, ограничившись взносом некоторой суммы денег на организацию охраны и длительными спорами, в результате которых городская дума и совет рабочих и солдатских депутатов потребовали формирования охраны из… безработных-большевиков. В конце концов в армию пошли только дети. В батальоне генерала Боровского можно было наблюдать комическия и, вместе с тем, глубоко трогательные сцены, как юный воин с громким плачем доказывал, что ему уже 16 лет

(минимальный возраст для приема) или как другой прятался под кровать от являвшихся на розыски родителей, от имени которых было им представлено подложное разрешение на поступление в батальон. На этот батальон предполагалось возложить несение более легкой службы по охране города, но судьба распорядилась иначе: через несколько недель юные добровольцы ушли в далекий, тяжкий поход из которого многие не вернулись. Поход был не худший выход, ибо оставшихся в Ростове в течение многих дней большевики ловили, мучили и убивали. «Бессильные иными путями предотвратить продолжающиеся убийства… мы заявляем о нашей полной готовности быть расстрелянными в любой момент и в очереди, какую будет угодно установить военно-революционному комитету взамен детей, предназначенных к расстрелу»… С таким полным отчаяния и бессилия криком обратились тогда вожди ростовской революционной демократии[[152]] к тем злым духам, которых они же вызвали.

В десятых числах января обозначилось наступление советских войск на Ростов и Новочеркасск, и с этого времени работа по организации фактически прекратилась. Все кадры были двинуты на фронт. 2-й офицерский батальон по просьбе Каледина был послан на Новочеркасское направление, где, в виду отказа казаков от борьбы, создавалось трагическое положение.

Началась агония донского фронта.

Полковник Кутепов выступил из Таганрога и, усиленный частями Георпевского полка и донского партизанского отряда Семилетова, дважды разбил отряд Сиверса у Матвеева Кургана. Это был первый серьезный бой, в котором яростному напору неорганизованных и дурно управляемых большевиков, преимущественно матросов, противопоставлено было искусство и воодушевление офицерских отрядов. Последние победили легко. Среди офицеров я видел высокий подъем и стоическое отношение ко всем жизненным невзгодам, вызывавшимся вопиющим неустройством хозяйственной части. Но их была горсть против тысяч. Разбитые советские отряды разбегались или после бурных митингов брали с бою вагоны и требовали обратного своего отправления. Но на смену им приходили другие, и бои шли изо дня в день – нудно, томительно, вызывая среди бессменно стоявших на позиции добровольцев смертельную нравственную усталость.

Между тем, после ухода войск из Таганрога среди рабочего населения города, составлявшего более 40 тысяч, начались волнения. Непонимание совершающихся событий было настолько велико, что городская дума послала на фронт делегацию для переговоров о «примирении сторон»; ее через добровольческие

линии не пропустили. 14 января в городе вспыхнуло восстание. Красногвардейцы в течение двух дней громили город и выбивали слабые, разбросанные юнкерские караулы. Собрав, что было возможно, начальник училища, полковник Мостенко, выступил на соединение с Кутеповым. Юнкера, пробиваясь по улицам под сильным обстрелом, понесли вновь тяжелые потери; раненый Мостенко, которого пытались вынести, приказал бросить себя и застрелился; только небольшая часть юнкеров пробилась к станции Марцево на соединение с добровольческими войсками.

Сильный напор с севера и потеря Таганрога, красная гвардия которого угрожала тылу и сообщениям отряда Кутепова, заставили меня в двадцатых числах отвести его в район станции Синявской, всего в одном переходе от Ростова. Здесь под начальством генерала Черепова отряд, усиленный всем, что можно было выделить из Ростова, в том числе и Корниловским полком, продолжал сдерживать большевиков. Особенно давало себя чувствовать отсутствие конницы[[153]], в то время как на открытом фланге с севера у селения Салы появилась большевистская бригада 4-й кавалерийской дивизии с конной артиллерией. Поступили сведения, что командует ею вахмистр, а помощник у него… офицер генерального штаба. Удалось было нам поднять несколько сот казаков Гниловской станицы, появился донской партизанский отряд Назарова, но после неудачной атаки селения Салы, во время которой начальники сборного отряда проявили чрезмерную самостоятельность, все это донское ополчение рассыпалось и исчезло.

Держался сильнейший мороз и стужа. Добровольческие части, плохо одетые, стояли бессменно на позиции и с каждым днем таяли.

* * *

На новочеркасском направлении было еще хуже. Каледин приступил к переформированию казачьих полков, оставляя на службе лишь четыре младших возраста, к мобилизации офицеров и к организации партизанских и добровольческих казачьих частей.

Но Дон не откликнулся.

Прикрытие Новочеркасска лежало всецело на состоявшем по преимуществу из учащейся молодежи партизанском отряде есаула Чернецова. В личности этого храброго офицера сосредоточился как будто весь угасающий дух донского казачества. Его имя повторяется с гордостью и надеждой.

Чернецов работает на всех направлениях: то разгоняет совет в Александровске-Грушевском, то усмиряет Макеевский рудничный район, то захватывает станцию Дебальцево, разбив несколько эшелонов красногвардейцев и захватив всех комиссаров. Успех сопутствует ему везде, о нем говорят и свои, и советские сводки, вокруг его имени родятся легенды, и большевики дорого оцениваиот его голову.

Между тем, 11 января, большевики берут станицу Каменскую, созывают военно-революционный комитет и объявляют его правительством Донской области. Через несколько дней председатель комитета, донской урядник Подтелков – будущий «президент Донской республики» – едет в Новочеркасск предъявлять ультимативное требование донскому правительству – передать ему власть… Правительство колеблется, но Каледин посылает в ответь Чернецова. Три донских полка, вернувшихся с фронта, под начальстве м демагога, войскового старшины Голубова, идут с большевиками «за трудовой народ» против «калединцев»…

Чернецов легко взял Зверево – Лихую – Каменскую, но 20-го в бою с Голубовым попал в плен. На другой день Подтелков после диких надругательств, зверски зарубил Чернецова.

Со смертью Чернецова как будто ушла душа от всего дела обороны Дона. Все окончательно разваливалось. Донское правительство вновь вступило в переговоры с Подтелковым, а генерал Каледин обратился к Дону с последним своим призывом – посылать казаков добровольцев в партизанские отряды. В этом обращении, 28 января, Каледин поведал Дону скорбную повесть его падения:

> «… Наши казачьи полки, расположенные в Донецком округе, подняли мятеж и в союзе со вторгнувшимися в Донецкий округ бандами красной гвардии и солдатами напали на отряд полковника Чернецова, направленный против красногвардейцев, и частью его уничтожили, после чего большинство полков – участников этого подлого и гнусного дела – рассеялись по хуторам, бросив свою артиллерию и разграбив полковые денежные суммы, лошадей и имущество».
>
> «В Усть-Медведицком округе вернувшиеся с фронта полки, в союзе с бандой красноармейцев из Царицына, произвели полный разгром на линии железной дороги Царицын – Себряково, прекратив всякую возможность снабжения хлебом и продовольствием Хоперского и

Усть-Медведицкого округов».

> «В слободе Михайловне, при станции Себряково, произвели избиение офицеров и администрации, при чем погибло, по слухам, до 80 одних офицеров. Развал строевых частей достиг последняго предела и, например, в некоторых полках Донецкого округа удостоверены факты продажи казаками своих офицеров большевикам за денежное вознаграждение»…

В конце января генерал Корнилов, придя к окончательному убеждению о невозможности дальнейшего пребывания Добровольческой армии на Дону, где ей при полном отсутствии помощи со стороны казачества грозила гибель, решил уходить на Кубань. В штабе разработан был план для захвата станции Тихорецкой, подготовлялись поезда и 28-го послана об этом решении телеграмма ген. Каледину.

29-го Каледин собрал правительство, прочитал телеграммы, полученные от генералов Алексеева и Корнилова, сообщил, что для защиты Донской области нашлось на фронте всего лишь 147 штыков и предложил правительству уйти.

– Положение наше безнадежно. Население не только нас не поддерживает, но настроено нам враждебно. Сил у нас нет, и сопротивление бесполезно. Я не хочу лишних жертв, лишнего кровопролития; предлагаю сложить свои полномочия и передать власть в другие руки. Свои полномочия войскового атамана я с себя слагаю.

И во время обсуждения вопроса добавил:

– Господа, короче говорите. Время не ждет. Ведь от болтовни Россия погибла[[154]]!

В тот же день генерал Каледин выстрелом в сердце покончил жизнь.

Калединский выстрел произвел потрясающее впечатление на всех. Явилась надежда, что Дон опомнится после такой тяжелой искупительной жертвы…

Из Новочеркасска поступали к нам сведения, что на Дону объявлен «сполох», подъем растет, собравшийся круг избрал атаманом генерала Назарова и призвал к оружию всех казаков от 17 до 55 лет.

В Парамоновском доме настроение вновь поднялось. Приходившие к нам постоянно ростовские и пришлые общественные деятели, в том числе Милюков, Струве, кн. Гр. Трубецкой, забыв вопросы широкой политики, сосредоточили свое внимание исключительно на донском фронте, жили его

судьбою, сильно тяготели к Ростову и в каждом малейшем просвете военного положения жадно искали симптомов перелома. Также относился к вопросу ростовский градоначальник к. д. Зеелер, который служил добросовестным и деятельным посредником между Добровольческой армией с одной стороны, скаредной ростовской плутократией и враждебной нам революционной демократией – с другой. Точка зрения этих лиц, телеграммы Назарова и надежда на «сполох» изменили планы Корнилова.

Мы остались.

На совещании с политическими деятелями возник вопрос о своевременности передачи ростовского округа в подчинение Добровольческой армии и назначении командованием ее генерал-губернатора. До сих пор военная власть в городе номинально находилась в руках «командующего войсками» донского генерала А. Богаевскаго. Богаевский шел во всем навстречу армии, но, не имея в подчинении никакой вооруженной силы, находясь всецело в зависимости от донского правительства, ничего существенного сделать не мог. Этим актом положен был бы конец безначалию и тому нелепому и унизительному положению армии, при котором она, защищая Ростов, не могла извлечь из него никаких средств для борьбы и своего существования. Этого хотели и ростовские финансисты, боявшиеся репрессий со стороны большевиков и предпочитавшие, чтобы добровольческое командование обложило их «насильно»…

Чтобы придать предстоящей реформе легальный характер, генерал Корнилов предложил атаману Назарову объявить о ней атаманским приказом. Назаров не пожелал взять на себя ответственности и предоставил инициативу добровольческому командованию. Вопрос осложнился еще натянутыми отношениями между генералами Алексеевым и Корниловым, невыясненным после распадения «триумвирата» разделением ролей между ними, вызвал размолвку и заглох. Этот эпизод интересен для характеристики того удивительного стремления всех главных деятелей противобольшевистского движения к «легальным» выходам – стремления, которое среди развалин государственного строя и общих анархических тенденций приобретало характер совершенно не жизненный. Был еще один случай подобного рода: решив в первый раз уходить из Ростова, ген. Корнилов распорядился взять с армией ценности ростовского отделения государственного банка. Генералы Алексеев, Романовский и я резко высказались против этой меры, считая, что она набросит тень на доброе имя Добровольческой армии. В результате ценности мы отправили в Новочеркасск, в

распоряжение донского правительства, и там, в день спешной эвакуации города они были оставлены большевикам…

Скоро все надежды рассеялись.

Донской круг, принимая смелые решения, вместе с тем не оставлял надежд на соглашательство и послал депутацию к советским властям в Каменскую. Большевистский «командующий» Саблин ответил делегации с исчерпывающей ясностью: «казачество, как таковое, должно быть уничтожено, с его сословностью и привилегиями». Это заявление не усилило на круге решимости бороться; напротив, внесло уныние и подавленность. Поднявшиеся в довольно большом количестве казаки, преимущественно старших возрастов, стекались к Новочеркасску, вместо нормального сосредоточения в разгромленных уже полковых штабах; там, не находя ни подготовленных приемников, ни организованного продовольствия, они принимались митинговать, буйствовать и расходились по станицам.

Подъема хватило лишь на несколько дней.

Между тем, положение ростовского фронта значительно ухудшилось. Большевистскому «главковерху» удалось заставить выступить против нас Ставропольский гарнизон (112 запаси, полк), к которому примкнули по дороге части 39 дивизии, составив отряд около 2½ тысяч пехоты с артиллерией. Отряд этот, передвигаясь по железной дороге, 1-го февраля неожиданно напал на наши части у Батайска; они, окруженные на вокзале вплотную со всех сторон, весь день отстреливались и, понеся значительные потери, ночью прорвались сквозь большевистское кольцо, отойдя кружным путем по еле державшемуся льду на Ростов. Ростовские переправы я наскоро закрыл юнкерским батальоном. Большевики остановились в Батайске и дня через два качали обстреливать город огнем тяжелой артиллерии, внося напряженное настроение и панику среди его населения.

На Таганрогском направлении бои продолжались. Добровольческие части таяли с каждым днем от боевых потерь, болезней, обмораживания и утечки более слабых, потерявших душевное равновесие в обстановке, казавшейся безвыходной.

Войска Сиверса овладели постепенно Морской. Синявской, Хопрами и к 9-му февраля отряд Черепова, сильно потрепанный – в особенности большие потери понес Корниловский полк – под напором противника подходил уже к Ростову, обстреливаемый и с тыла… казаками Гниловской станицы, вторично бросившими обойденный правый фланг Неженцева. На Темернике – предместье Ростова рабочие подняли восстание и начали обстреливать вокзал.

В этот день Корнилов отдал приказ отходить за Дон, в станицу Ольгинскую. Вопрос о дальнейшем направлении не был еще решен окончательно: на Кубань или в донские зимовники.

Хмурые, подавленные, собрались в вестибюле Парамоновского дома чины армейского штаба, вооруженные винтовками и карабинами, построились в колонну и в предшествии Корнилова двинулись пешком по пустым, словно вымершим улицам на соединение с главными силами.

Мерцали огни брошенного негостепреимного города. Слышались одиночные выстрелы. Мы шли молча, каждый замкнувшись в свои тяжелые думы. Куда мы идем, что ждет нас впереди?

Корнилов как будто предвидел ожидавшую его участь. В письме, посланном друзьям накануне похода, он говорил с тревожным беспокойством о своей семье, оставленной без средств, на произвол судьбы среди чужих людей и о том, что больше вероятно встретиться не придется…

Сохранились строки, написанные к близким рукой другого вождя, генерала Алексеева, которые как будто служили ответом на мучивший многих тревожный вопрос:

> «… Мы уходим в степи. Можем вернуться только, если будет милость Божья. Но нужно зажечь светоч, чтобы была хоть одна светлая точка среди охватившей Россию тьмы»…

Глава XIX. Первый Кубанский поход. От Ростова до Кубани; военный совет в Ольгинской; падение Дона; народные настроения; бой у Лежанки; новая трагедия русского офицерства

Мы уходили.

За нами следом шло безумие. Оно вторгалось в оставленные города бесшабашным разгулом, ненавистью, грабежами и убийствами. Там остались наши раненые, которых вытаскивали из лазаретов на улицу и убивали. Там брошены наши семьи, обреченные на существование, полное вечного страха перед большевистской расправой, если какой-нибудь непредвиденный случай раскроет их имя…

Мы начинали поход в условиях необычайных: кучка людей, затерянных в широкой донской степи, посреди бушующего моря, затопившего родную землю; среди них два верховных главнокомандующих русской армией, главнокомандующий фронтом, начальники высоких штабов, корпусные командиры, старые полковники… С винтовкой, с вещевым мешком через плечо, заключавшим скудные пожитки, шли они в длинной колонне, утопая в глубоком снегу… Уходили от темной ночи и духовного рабства в безвестные скитания…

– За синей птицей.

Пока есть жизнь, пока есть силы, не все потеряно. Увидят «светоч», слабо мерцающий, услышать голос, зовущий к борьбе – те, кто пока еще не проснулись…

В этом был весь глубокий смысл Первого Кубанского похода. Не стоит подходить с холодной аргументацией политики и стратегии к тому явлению, в котором все – в области духа и творимого подвига. По привольным степям Дона и Кубани ходила Добровольческая армия – малая числом, оборванная, затравленная, окруженная – как символ гонимой России и русской государственности.

На всем необъятном просторе страны оставалось только одно место, где открыто развевался трехцветный национальный флаг это ставка Корнилова.

Покружив по вымершему городу, мы остановились на

сборном пункте – в казармах Ростовского полка (ген. Боровскаго), в ожидании подхода войск. Еще с утра Боровский предложил ростовской молодежи – кто желает – вернуться домой: впереди тяжелый поход и полная неизвестность. Некоторые ушли, но часть к вечеру вернулась: «все соседи знают, что мы были в армии, товарищи или прислуга выдадут»…

Долго ждем сбора частей. Разговор не клеится. Каждый занят своими мыслями, не хочется думать и говорить о завтрашнем дне. И как то странно даже слышать доносящиеся иногда обрывки фраз

– таких обыденных, таких далеких от переживаемых минут…

Двинулись, наконец, окраиной города. По глубокому снегу. Проехало мимо несколько всадников. Один остановился. Доложил о движении конного дивизиона. Просить Корнилова сесть на его лошадь.

– Спасибо не надо.

Из боковых улиц показываются редкие прохожие и, увидев силуэты людей с ружьями, тотчас же исчезают в ближайших воротах. Вышли в поле, пересекаем дорогу на Новочеркасск. На дороге безнадежно застрявший автомобиль генерала Богаевскаго. С небольшим чемоданчиком в руках он присоединяется к колонне. Появилось несколько извозчичьих пролеток. С них нерешительно сходят офицеры, повидимому задержавшиеся в городе. Подошли с опаской к колонне и, убедившись, что свои, облегченно вздохнули.

– Ну слава Те, Господи! Не знаете, где 2-й батальон? Идем молча. Ночь звездная. Корнилов – как всегда хмурый, с внешне холодным, строгим выражением лица, скрывающим внутреннее бурное горение, с печатью того присущего ему во всем – в фигуре, взгляде, речи, – достоинства, которое не покидало его в самые тяжкие дни его жизни. Таким он быль полковником и Верховным главнокомандующим; в бою 48 дивизии и в австрийском плену; на высочайшем приеме и в кругу своих друзей; в могилевском дворце и в быховской тюрьме. Казалось не было того положения, которое могло сломить или принизить его. Это впечатление невольно возбуждало к нему глубокое уважение среди окружающих и импонировало врагам.

Вышли на дорогу в Аксайскую станицу. Невдалеке от станицы встречает квартирьер:

– Казаки «держат нейтралитет» и отказываются дать ночлег войскам.

Корнилов нервничает.

– Иван Павлович! поезжайте, поговорите с этими дураками.

Не стоит начинать поход «усмирением» казачьей станицы.

Романовский повернул встречные сани, пригласил меня, поехали вперед. Долгие утомительные разговоры сначала со станичным атаманом (офицер), растерянным и робким человеком, потом со станичным сбором: тупые и наглые люди, бестолковые речи. Поели полуторачасовых убеждений Романовского, согласились впустить войска с тем, что на следующее утро мы уйдем, не ведя боя у станицы. Думаю, что решающую роль в переговорах сыграл офицер-ординарец, который отвел в сторону наиболее строптивого казака и потихоньку сказал ему:

– Вы решайте поскорее, а то сейчас подойдет Корнилов – он шутить не любить: вас повесит, а станицу спалить.

Утомленные переживаниями дня и ночным походом добровольцы быстро разбрелись по станице. Все спить. У Аксая – переправа через Дон по льду. Лед подтаял и трескается. Явился тревожный вопрос – выдержит ли артиллерию и повозки?

Оставили в Аксайской арьергард для своего прикрытия и до окончания разгрузки вагонов с запасами, которые удалось вывезти из Ростова, и благополучно переправились. По бесконечному, гладкому снежному полю вилась темная лента. Пестрая, словно цыганский табор: ехали повозки, груженые наспех и ценными запасами, и всяким хламом; плелись какие то штатские люди; женщины – в городских костюмах и в легкой обуви вязли в снегу. А вперемежку шли небольшие, словно случайно затерянные среди «табора», войсковые колонны – все, что осталось от великой некогда русской армии… Шли мерно, стройно. Как они одеты! Офицерские шинели, штатские пальто, гимназических фуражки; в сапогах, валенках, опорках… Ничего – под нищенским покровом живая душа. В этом – все.

Вот проехал на тележке генерал Алексеев; при нее небольшой чемодан; в чемодане и под мундирами нескольких офицеров его конвоя – «деньгонош» – вся наша тощая казна, около шести миллионов рублей кредитными билетами и казначейскими обязательствами. Бывший Верховный сам лично собирает и распределяет крохи армейского содержания. Не раз он со скорбной улыбкой говорил мне:

– Плохо, Антон Иванович, не знаю, дотянем ли до конца похода…

Солнце светит ярко. Стало теплее. Настроение у всех поднялось: вырвались из Ростова, перешли Дон – это главное, а там… Корнилов выведет.

Он здоровается с проходящими частями. Отвечают радостно. И затем, пройдя несколько шагов, продолжают нескладную, но задушевную песню:

Дружно, Корниловцы, в ногу

С нами Корнилов идет;
Спасет он, поверьте, отчизну,
Не выдаст он русский народ.

Молодость, порыв, вера в будущее и вот эта крепкая, здоровая связь с вождем проведут через все испытания.

* * *

Остановились в станице Ольгинской, где уже ночевал отряд генерала Маркова, пробившийся мимо Батайска левым берегом Дона. Корнилов приступил к реорганизации Добровольческой, армии, насчитывавшей всего около 4 тысяч бойцов, путем сведения многих мелких частей.

Состав 6 армии получился следующий:

1-й Офицерский полк, под командой генерала Маркова – из трех офицерских батальонов, кавказского дивизиона и морской роты. Юнкерский батальон, под командой генерала Боровского – из прежнего юнкерского батальона и Ростовского полка.

Корниловский ударный полк, под командой полковника Неженцева»

В полк влиты части б. Георгиевского полка и партизанского отряда полковника Симановскаго. Партизанский полк, под командой генерала А. Богаевского – из пеших донских партизанских отрядов.

Артиллерийский дивизион, под командой полковника Икишева – из четырех батарей по два орудия. Командиры: Миончинский, Шмидт, Ерогин, Третьяков.

Чехо-словацкий инженерный батальон, под «управлением» штатского инженера Краля и под командой капитана Монетчика.

Конные отряды[[155]]:

а) Полковника Глазенапа – из донских партизанских отрядов.

б) Полковника Гершельмана – регулярный.

в) Подполковника Корнилова – из бывших частей Чернецова.

Сведение частей вызвало много обиженных самолюбии смещенных начальников и на этой почве некоторое неудовольствие в частях. Приглашает меня к себе Алексеев и взволнованно говорит:

– Я не ручаюсь, что сегодня не произойдет бой между юнкерами и студентами[[156]]. Юнкера считают их «социалистами»… Как можно было сливать такие несхожие по характеру части.

– Ничего, Михаил Васильевич. Все обойдется. Волнуется больше П.[[157]], чем батальон.

У Маркова также были некоторые трения, но он с первых же дней взял в руки свой полк.

– Не много же вас здесь – обратился он к собравшимся в первый раз офицерским батальонам. – По правде говоря, из трехсоттысячного офицерского корпуса я ожидал увидеть больше. Но не огорчайтесь. Я глубоко убежден, что даже с такими малыми силами мы совершим великие дела. Не спрашивайте меня, куда и зачем мы идем, а то все равно скажу, что идем к черту за синей птицей. Теперь скажу только, что приказом Командующего армией, имя которого хорошо известно всей России, я назначен командиром 1-го Офицерского полка, который сводится из ваших трех батальонов и из роты моряков, хорошо известной нам по боям под Батайском. Командиры батальонов переходят на положение ротных командиров; но и тут, господа, не огорчайтесь. Ведь и я с должности начальника штаба фронта фактически перешел на батальон.

Спешно комплектовали конницу и обоз, покупая лошадей с большим трудом и за баснословную цену у казаков. Патронов было очень мало, снарядов не более 600–700. Для этого рода снабжения у нас оставался только один способ – брать с боя у большевиков ценою крови.

Меня Корнилов назначил «помощником командующего армией». Функции довольно неопределенные, идея жуткая – преемственность. На беду у меня вышло недоразумение еще в Ростове с вещами: чемодан с военным платьем быль отправлен вперед в Батайск еще тогда, когда предполагалось везти армию по железной дороге, и там во время захвата станции попал в руки большевиков. В поход пришлось идти в штатском городском костюме и в сапогах с рваными подошвами. В результате после двух пеших переходов – тяжелая форма бронхита, благодаря которому потом долгое время на походе я ехал с войсками, а на остановках принужден был лежать в постели.

В Ольгинской разрешился, наконец, вопрос о дальнейшем плане нашего движения.

Корнилов склонен был двигаться в район зимовников[[158]], в Сальский округ Донской области. Некоторые предварительные распоряжения были уже сделаны. Обеспокоенный этим генерал Алексеев 12 февраля писал Корнилову:

> «В настоящее время с потерей главной базы армии – г. Ростова, в связи с последними решениями Донского войскового круга и неопределенным положением на Кубани – встал вопрос о возможности выполнения тех общегосударственных задач, которые себе ставила наша

организация».

«События в Новочеркасске развиваются с чрезвычайной быстротой. Сегодня к 12 часам положение рисуется в таком виде: атаман слагает свои полномочия; вся власть переходить к военно-революционному комитету; круг вызвал в Новочеркасск революционные казачьи части, которым и вверяет охрану порядка в городе; круг начал переговоры о перемирии: станица Константиновская и весь север области в руках военно-революционного комитета; все войсковые части (главн. образ. партизаны), не пожелавшие подчиниться решению круга, во главе с походным атаманом и штабом, сегодня выступают в Старочеркасскую для присоединения к Добровольческой армии».

«Создавшаяся обстановка требует немедленных решений не только чисто военных, но в тесной связи с решением вопросов общего характера».

«Из разговоров с генералом Эльснером и Романовским я понял, что принят план ухода отряда в зимовники, к сев. – зап. от станицы Великокняжеской. Считаю, что при таком решении невозможно не только продолжение нашей работы, но даже при надобности и относительно безболезненная ликвидация нашего дела и спасение доверивших нам свою судьбу людей. В зимовниках отряд будет очень скоро сжат с одной стороны распустившейся рекой Доном, а с другой – железной дорогой Царицын – Торговая – Тихорецкая – Батайск, при чем все железнодорожные узлы и выходы грунтовых дорог будут заняты большевиками, что лишит нас совершенно возможности получать пополнения людьми и предметами снабжения, не говоря уже о тоя, что пребывание в степи поставить нас в стороне от общего хода событий в России».

«Так как подобное решение выходит из плоскости чисто военной, а также потому, что предварительно начала какой-либо военной операции, необходимо теперь же разрешить вопрос о дальнейшем существовании нашей организации и направлении ее деятельности – прошу Вас сегодня же созвать совещание из лиц, стоящих во главе организации с их ближайшими

помощниками)».

На военном совете, собранном в тот же вечер, мнения разделились. Одни настаивали на движении к Екатеринодару, другие, в том числе Корнилов, склонялись к походу в зимовники.

Помимо условий стратегических и политических, это второе решение казалось весьма рискованным и по другим основаниям. Степной район, пригодный для мелких партизанских отрядов, представлял большие затруднения для жизни Добровольческой армии, с ее пятью тысячами ртов. Зимовники, значительно удаленные друг от друга, не обладали ни достаточным числом хилых помещений, ни топливом. Располагаться в них можно было лишь мелкими частями, разбросано, что при отсутствии технических средств связи до крайности затрудняло бы управление. Степной район кроме зерна (немолотого), сена и скота не давал ничего для удовлетворения потребностей армии. Наконец, трудно было рассчитывать, чтобы большевики оставили нас в покое и не постарались уничтожить по частям распыленные отряды.

На Кубани, наоборот: мы ожидали встретить не только богато обеспеченный край, но, в противоположность Дону, сочувственное настроение, борющуюся власть и добровольческие силы, которые значительно преувеличивались молвой. Наконец, уцелевший от захвата большевиками центр власти – Екатеринодар давал, казалось, возможность начать новую большую организационную работу.

Принято было решение идти на Кубань.

Однако, на другой день вечером обстановка изменилась: к командующему приехал походный атаман, генерал Попов и его начальник штаба, полковник Сидорин. В донском отряде у них было 1500 бойцов, 5 орудий, 40 пулеметов. Они убедили Корнилова идти в зимовники. Наш конный авангард, стоящий у Кагальницкой, получил распоряжение свернуть на восток… Поднявшись с постели, я пошел в штаб отвести душу. Безрезультатно. Некоторое колебание однако посеяно: решили собрать дополнительные сведения о районе.

В Ольгинской – прилив и отлив.

Присоединилось несколько казачьих партизанских отрядов, прибывают офицеры, вырвавшиеся из Ростова, раненые добровольцы, бежавшие из новочеркасских лазаретов. Притворяются здоровыми, боясь, что их не возьмут в поход.

Приехал из Новочеркасска генерал Лукомский. Накануне нашего выступления из Ольгинской, он вместе с генералом Ронжиным[[159]], переодетые в штатское платье, поехали в

бричке прямым путем на Екатеринодар для установления связи с Кубанским атаманом и добровольческими отрядами. Но в селе Гуляй-Борисовке они были пойманы большевиками, томились под арестом и едва спаслись от расстрела.

Уехал полковник Лебедев с небольшим отрядом «особого назначения», состоявшим при генерале Алексееве. Ему было поручено связаться с Заволжьем и Сибирью. Лебедев впоследствии пробрался в Сибирь и стал начальником штаба у адмирала Колчака; часть его спутников, по советским сообщениям, попала в тюрьмы Поволжья. Уехали вовсе, по личным побуждениям, несколько офицеров, в том числе генеральн. штаба генерал Складовский и капитан Роженко (бьиховец). Оба они в Великокняжеской были убиты большевиками, исключительно за «буржуйный» вид, и тела их бросили в колодец…

Определилось яснее настроение донских казаков. Не понимают совершенно ни большевизма, ни «корниловщины». С нашими разъяснениями соглашаются, но как будто плохо верят. Сыты, богаты и, по-видимому, хотели бы извлечь пользу и из «белого», и из «красного» движения. Обе идеологии теперь еще чужды казакам, и больше всего они боятся ввязываться в междоусобную распрю… пока большевизм не схватил их за горло. А, между тем, становилось совершенно ясно, что тактика «нейтралитета» наименее жизненная. Налетевший шквал суров и беспощаден: горячие и холодные – в его стихии гибнут или властвуют, а теплых он обращает в человеческую пыль…

Впрочем, неопределенная судьба армии ставила в трагическое положение и тех, кто ей сочувствовал.

– Генерал Корнилов нас здорово срамил у станичного правления – говорил мне тоскливо крепкий, зажиточный казак средних лет, недавно вернувшийся с фронта и недовольный разрухой. – Что ж, я пошел бы с кадетами[160]], да сегодня вы уйдете, а завтра придут в станицу большевики. Хозяйство, жена…

Казачество, если не теперь, то в будущем считалось нашей опорой. И потому Корнилов требовал особенно осторожного отношения к станицам и не применял реквизиций. Мера, психологически полезная для будущего, ставила в тупик органы снабжения. Мы просили крова, просили жизненных припасов – за дорогую плату, не могли достать ни за какую цену сапог и одежды, тогда еще в изобилии имевшихся в станицах, для босых и полуодетых добровольцев; не могли получить достаточного количества подвод, чтобы вывезти из Аксая остатки армейского имущества.

Условия неравные: завтра придут большевики и возьмут все –

им отдадут даже последнее беспрекословно, с проклятиями в душе и с униженными поклонами.

Скоро на этой почве началось прискорбное явление армейского быта – «самоснабжение». Для устранения или по крайней мере смягчения его последствий, командование вынуждено было вскоре перейти к приказам и платным реквизициям.

Мы шли медленно, останавливаясь на дневках в каждой станице. От Ольгинской до Егорлыцкой 88 верст – шли 6 дней. Сколачивали части, заводили обоз. При условии направления в зимовники, такая медленность была вполне понятна.

У Хомутовской Корнилов пропускал в первый раз колонну. Как всегда – у молодых горели глаза, старики подтягивались при виде сумрачной фигуры командующего. С колонной много не боевого элемента, в том числе два брата Суворины (А. и Б.), Н. Н. Львов, Л. В. Половцев, Л. Н. Новосильцев, ген. Кисляков, Н. П. Щетинина, два профессора Донского политехнического института и др. Члены нашего «Совета» не пошли: и Корнилов, и я в самой решительной форме отсоветовали им идти с нами в поход, который представлялся чреватым всякими неожиданностями и в котором каждый лишний человек, каждая лишняя повозка – в тягость.

Два перехода шли по невылазной грязи, в которой некоторые добровольцы буквально оставили обувь и продолжали путь босыми…

Утром перед выступлением из Хомутовской большевистский отряд – несколько эскадронов 4-ой кавал. дивизии с одним орудием – подошел вплотную к станице и открыл по ней ружейный и артиллерийский огонь. Охранялись добровольцы плохо: пока еще не было надлежащей выносливости в трудной солдатской работе. На окраине станицы, ближайшей к противнику, стоял обоз, и нестроевые с повозками сломя голову помчались по всем направлениям, запрудив улицы и внеся беспорядок. Вышел Корнилов со штабом, успокоил людей. Рассыпалась цепь, развернулась батарея; после нескольких выстрелов и обозначившегося движения во фланг нашей сотни, большевики ушли.

Идем дальше. В колонне опять веселое настроение; смех и шутки, даже среди раненых, которых уже без боев набралось более шестидесяти. Удивительны эти переливы в настроении – быстро меняющиеся и тот огромный импульс жизни у наших добровольцев, благодаря которому малейший проблеск среди тяжелой, иногда удручающей обстановки, дает душевное спокойствие и вызывает подъем.

«Дополнительные сведения» о районе зимовников оказались вполне отрицательными, и поэтому принято решение двигаться на Кубань. В Мечетинской Корнилов вызвал всех командиров отдельных частей, чтобы объявить им о принятом решении. Собралось много офицеров – каждый партизан, имевший под командой 30–40 человек (в составе Партизанского полка) ищет самостоятельности. Корнилов сухо, резко, как всегда изложил мотивы и императивно указал новое направление. Но взор его испытующе и с некоторым беспокойством следил за лицами донских партизан.

Пойдут ли с Дона?

Партизаны несколько смущены, некоторые опечалены. Но в душе выбор их уже сделан: идут с Корниловым.

Послано было предложение походному атаману Попову присоединиться к Добровольческой армии. Через два – три дня он ответил отказом. Попов объяснял, что, считаясь с настроением своих войск и начальников, он не мог покинуть родного Дона, и решил в его степях выждать пробуждения казачества. Про него же говорили, что честолюбие удержало его от подчинения Корнилову. Для нас Дон был только частью русской территории, для них понятие «родины» раздваивалось на составные элементы – один более близкий и ощутимый, другой отдаленный, умозрительный.

Как бы то ни было, лишение армии такой силы, в особенности в виду крайнего недостатка у нас в коннице, отяжеляло наше положение и суживало перспективы.

* * *

Наиболее приветливо встретила нас станица Егорлыцкая. Во всем – в сердечности приема, в заботах о раненых, в готовности продовольствовать войска. Многие проявляли свои симпатии в формах весьма экспансивных. Хозяин того дома, в котором я поместился – священник – положительно умилял своим желанием помочь добровольцам. Я смотрел на него с благодарностью, но и… с глубоким сожалением. Положение кочующей армии создавало поистине трагические противоречия: со своими врагами расправлялись добровольцы, с их друзьями расправлялись потом те, кто шел по нашим следам. Егорлыцкая уцелела. Но за время похода много было пролито крови тех, кто так или иначе помогал «кадетам». В станице Успенской, например, в апреле большевики повесили после нашего ухода хозяина одного дома только за то, что я – тогда уже

командующий Добровольческой армией – останавливался у него.

В Егорлыцкой при полном станичном сборе говорили генералы Алексеев и Корнилов. Первый объяснял казакам положение России и цели Добровольческой армии; второй не любил и не умел говорить; сказал лишь несколько слов; потом длинную речь держал Баткин…

«Матрос 2-й статьи Феодор Баткин».

Довольно интересный тип людей, рожденных революцией и только на ее фоне находящих почву для своей индивидуальности.

По происхождению – еврей; по партийной принадлежности – соц. – рев.; по ремеслу – агитатор. В первые дни революции поступил добровольцем в Черноморский флот, через два, три дня был выбран в комитет, а еще через несколько дней ехал в Петроград в составе так называемой Черноморской делегации. С тех пор в столицах – на всевозможных съездах и собраниях, на фронте – на солдатских митингах раздавались речи Баткина. Направляемый и субсидируемый Ставкой, он сохранял известную свободу в трактовании политических тем и служил добросовестно, проводя идею «оборончества». В январе Баткин появился в Ростове и приступил снова к агитационной деятельности за счет штаба Добровольческой армии. Социалистический этикет обязывал его, очевидно, к известной манере речи, к изображению армии в несвойственном ей облике и к огульному опорочинию всего «старого строя», задевая и военные традиции. На этой почве в известной части добровольческого офицерства, преувеличивавшего значение Баткина, возникла глухая вражда к нему и недовольство Корниловым. Незадолго до выхода в поход, комплот офицеров хотел убить Баткина, и я, совершенно случайно узнав об этом, помешал их замыслу. Корнилов сдал Баткина под охрану своего конвоя.

На походе фигура Баткина, трясущегося верхом на лошади, неизменно появлялась среди квартирьеров и потом на станичных м сельских сходах. Его «предшествие» и речи производили странное впечатление: уместная, быть может, в солдатско-рабочей среде, он были одинаково чужды и добровольческой психологии и мировозрению казачества, дня уяснения которого требовалось глубокое знание казачьей жизни и быта.

В Егорлыцкой кончается Донская область. Дальше – Ставропольская губерния, бурлящая большевизмом и занятая частями ушедшей с фронта 39 пех. дивизии. Здесь нет еще советской власти, но есть местные советы, анархия и… ненависть к «кадетам». Мы попадаем в сплошное осиное гнездо…

После состоявшегося решения идти на Кубань, необходимо

форсированное движение, по возможности избегая боев, для скорейшего достижения политического центра области – Екатеринодара. Мы начинаем двигаться с возможной скоростью.

* * *

В селении Лежанке нам преградил путь большевистский отряд с артиллерией.

Был ясный слегка морозный день.

Офицерский полк шел в авангарде. Старые и молодые; полковники на взводах. Никогда еще не было такой армии. Впереди – помощник командира полка, полковник Тимановский шел широким шагом, опираясь на палку, с неизменной трубкой в зубах; израненный много раз, с сильно поврежденными позвонками спинного хребта… Одну из рот ведет полковник Кутепов, бывший командир Преображенского полка. Сухой, крепкий, с откинутой на затылок фуражкой, подтянутый, краткими отрывистыми фразами отдает приказания. В рядах много безусой молодежи – беспечной и жизнерадостной. Вдоль колонны проскакал Марков, повернул голову к нам, что-то сказал, чего мы не расслышали, на ходу «разнес» кого-то из своих офицеров и полетел к головному отраду.

Глухой выстрел, высокий, высокий разрыв шрапнели. Началось.

Офицерский полк развернулся и пошел в наступление: спокойно, не останавливаясь, прямо на деревню. Скрылся за гребнем. Подъезжает Алексеев. Пошли с ним вперед. С гребня открывается обширная панорама. Раскинувшееся широко село опоясано линиями окопов. У самой церкви стоить большевистская батарее и беспорядочно разбрасывает снаряды вдоль дороги. Ружейный и пулеметный огонь все чаще. Наши цепи остановились и залегли: вдоль фронта болотистая, незамерзшая речка. Придется обходить.

Вправо, в обход двинулся Корниловский полк. Вслед за ним поскакала группа всадников с развернутым трехцветным флагом…

– Корнилов!

В рядах – волнение. Все взоры обращены туда, где виднеется фигура командующего…

А вдоль большой дороги совершенно открыто юнкера подполковника Миончинского подводят орудия прямо в цепи под огнем неприятельских пулеметов; скоро огонь батареи вызвал заметное движение в рядах противника. Наступление, однако,

задерживается…

Офицерский полк не выдержал долгого томления: одна из рот бросилась в холодную, липкую грязь речки и переходить вброд на дугой берег. Там – смятение, и скоро все поле уже усеяно бегущими в панике людьми мечутся повозки, скачет батарее. Офицерский полк и Корниловский, вышедший к селу с запада через плотину, преследуют.

Мы входим в село, словно вымершее. По улицам валяются трупы. Жуткая тишина. И долго еще ее безмолвие нарушает сухой треск ружейных выстрелов: «ликвидируют» большевиков… Много их…

Кто они? Зачем им, «смертельно уставшим от 4-х летней войны», идти вновь в бой и на смерть? Бросившие турецкий фронт полк и батарее, буйная деревенская вольница, человеческая накипь Лежанки и окрестных сел, пришлый рабочий элемент, давно уже вместе с солдатчиной овладевший всеми сходами, комитетами, советами и терроризировавший всю губернию; быть может и мирные мужики, насильно взятые советами. Никто из них не понимает смысла борьбы. И представление о нас, как о «врагах» – какое то расплывчатое, неясное, созданное бешено растущей пропагандой и беспричинным страхом.

– «Кадеты»… Офицеры… хотят повернуть к старому…

Член ростовской управы, с. д. меньшевик Попов, странствовавший как раз в эти дни по Владикавказской жел. дороге, параллельно движению армии, такими словами рисовал настроение населения:

> «…Чтобы не содействовать так или иначе войскам Корнилова в борьбе с революционными армиями, все взрослое мужское население уходило из своих деревень в более отдаленные села и к станциям жел. Дороги… – „Дайте нам оружие, дабы мы могли защищаться от кадет“ – таков был общий крик всех приехавших сюда крестьян… Толпа с жадностью ловила известия с „фронта“, комментировала их на тысячу ладов, слово „кадет“ переходило из уст в уста. Все, что не носило серой шинели, казалось не своим; кто был одеть „чисто“, кто говорил „по образованному“, попадал под подозрение толпы „Кадет“ – это воплощение всего злого, что может разрушить надежды масс на лучшую жизнь; „кадет“ может помешать взять в крестьянские руки землю и разделить ее; „кадет“ это злой дух, стоящий на пути всех чаяний и упований народа, а потому с ним

нужно бороться, его нужно уничтожить»[[161]].

Это несомненно преувеличенное определение враждебного отношения к «кадетам», в особенности в смысле «всеобщности» и активности его проявления, подчеркивает, однако, основную черту настроения крестьянства – его беспочвенность и сумбурность. В нем не было ни «политики», ни «Учредительного Собрания», ни «республики», ни «царя»; даже земельный вопрос сам по себе здесь, в Задонье и в особенности в привольных Ставропольских степях, не имел особенной остроты. Мы, помимо своей воли, попали просто в заколдованный круг общей социальной борьбы: и здесь, и потом всюду, где ни проходила Добровольческая армия, часть населения более обеспеченная, зажиточная, заинтересованная в восстановлении порядка и нормальных условий жизни, тайно или явно сочувствовала ей; другая, строившая свое благополучие – заслуженное или незаслуженное – на безвременьи и безвластия, была ей враждебна. И не было возможности вырваться из этого круга, внушить им истинные цели армии. Делом? Но что может дать краю проходящая армия, вынужденная вести кровавые бои даже за право своего существования. Словом? Когда слово упирается в непроницаемую стену недоверия, страха или раболепства.

Впрочем, сход Лежанки (позднее и другие) был благоразумен – постановил пропустить «корниловскую армию». Но пришли чужие люди – красногвардейцы и солдатские эшелоны, и цветущие села и станицы обагрились кровью и заревом пожаров…

У дома, отведенного под штаб, на площади, с двумя часовыми-добровольцами на флангах, стояла шеренга пленных офицеров – артиллеристов квартировавшего в Лежанке большевистского дивизиона.

Вот она новая трагедия русского офицерства!..

Мимо пленных через площадь проходили одна за другой добровольческие части. В глазах добровольцев презрение и ненависть. Раздаются ругательства и угрозы. Лица пленных мертвенно бледны. Только близость штаба спасает их от расправы.

Проходить генерал Алексеев. Он взволнованно и возмущенно упрекает пленных офицеров. И с его уст срывается тяжелое бранное слово. Корнилов решает участь пленных:

– Предать полевому суду.

Оправдания обычны: «не знал о существовании Добровольческой армии»… «Не вел стрельбы»… «Заставили служить насильно, не выпускали»… «Держали под надзором семью»…

Полевой суд счел обвинение недоказанным. В сущности не оправдал, а простил, Этот первый приговор был принят в армии спокойно, но вызвал двоякое отношение к себе. Офицеры поступили в ряды нашей армии.

Помню, как в конце мая в бою под Гуляй-Борисовкой – цепи полковника Кутепова, мой штаб и конвой подверглись жестокому, артиллерийскому огню, направленному очевидно весьма искусной рукой. Иван Павлович, попавши в створу многих очередей шрапнели, по обыкновению невозмутимо резонерствует:

– Не дурно ведет огонь, каналья, пожалуй нашему Миончинскому не уступит…

Через месяц при взятии Тихорецкой был захвачен в плен капитан – командир этой батареи.

– Взяли насильно… хотел в Добровольческую армию… не удалось.

Когда кто-то неожиданно напомнил капитану его блестящую стрельбу под Гуляй-Борисовкой, у него сорвался вероятно искренний ответ:

– Профессиональная привычка…

И так, инертность, слабоволие, беспринципность, семья, «профессиональная привычка» создавали понемногу прочные офицерские кадры Красной армии, подымавшие на добровольцев братоубийственную руку.

Глава XX. Поход к Екатеринодару: настроение Кубани; бои под Березанкой. Выселками и Кореновской; весть о падении Екатеринодара

23 февраля мы вступили в пределы Кубанской области.

Совсем другое настроение: армию встречают приветливо, хлебом-солью. После скитаний среди равнодушной или враждебной нам стихии – душевный уют и новые надежды.

Кубань – земля обетованная!

Это настроение проходило, словно невидимый ток, по всему добровольческому организму и одинаково захватывало мальчика из юнкерского батальона, полковника, шагающего в рядах офицерского полка, бывшего политического деятеля, трясущегося на возу в обозе, и… самого командующего армией.

Кубань – наша база. Здесь мы найдем надежную опору. Отсюда можно начать серьезную и организованную борьбу.

Нас – пришельцев с севера удивляли огромное богатство ее беспредельных полей, ломящиеся от хлеба скирды и амбары, ее стада и табуны. Сыты все – и казаки, и иногородние, и «хозяин» и «работник».

Нас располагал к себе веселый, открытый характер кубанских казаков и казачек – таких далеких, таких, казалось, чуждых большевистского угара.

Тихая заводь привольной кубанской жизни замутилась, однако, враждой и чувством мести к тем, кто нарушил ее покой. Когда в станице Незамаевской я замешался в пестрой праздничной, веселой толпе, там это чувство буйно рвалось наружу. Они уже «сосчитались» с одними или угрожали сосчитаться с другими из своих большевиков, главным образом иногородних. Придет утро, мы уйдем, а еще через день появится отряд «товарища» Сорокина или Автономова и начнется возмездие…

Казаки начали поступать в армию добровольцами: Незамаевская выставила целый отряд, человек в полтораста. Станичные сборы враждебны большевикам и выражают преданность Корнилову.

Кубань – земля обетованная!

Этот прогноз оказался впоследствии правильным по существу

– в оценке психологии рядового кубанского казачества, но не рассчитанным во времени: восточные станицы не испытали тогда еще настоящего большевистского гнета; еще не изжито было навождение фронтовым казачеством; не было еще широкого народного движения, готового превратиться в открытую, активную борьбу. Кубанцы выжидали. Колеблющемуся настроению давало перевес в нашу пользу только присутствие внушительной силы – армии; оно открывало уста одним и заставляло умолкнуть других. С уходом армии – маятник покачнется в другую сторону…

В направлении на Екатеринодар нам предстояло пересечь Владикавказскую железную дорогу. Узлы ее – Тихорецкая и Сосыка заняты были большими силами красногвардейцев, по дороге ходили бронированные поезда. Чтобы избегнуть боя с ними, штаб прибегнул к ряду демонстраций в западном направлении, а с вечера 25-го из станицы Веселой, армия круто повернула на юг. Двигались всю ночь и к утру подошли к станице Новолеушковской, где под прикрытием части Корниловского полка, занявшего станцию, бесконечная колонна стала быстро пересекать железнодорожный путь. Остановленный взрывом полотна вне досягаемости выстрелов, большевистский бронепоезд громил из орудий станцию и посылал навстречу колонне ряд белых дымков, расплывавшихся по небесной синеве далеко в стороне.

За эти сутки войска прошли около 60 верст. Перенесли поход легко – даже дети батальона Боровского.

Миновали Старо-Леушковскую, Ирклиевскую и 1-го марта подошли к Березанской. Здесь впервые против нас выступили кубанские казаки. Маятник колеблющегося настроения чуть качнулся влево, иногородние и фронтовики одержали верх на станичном сборе, и вокруг станицы за ночь выросли окопы, из которых под утро по нашему авангарду ударили градом пуль.

Бой был краток: огонь добровольческой артиллерии, развернувшиеся цепи Корниловцев и «Марковцев» быстро заставили большевиков очистить позицию. Цепи их не успели еще скрыться в станице, как всадник в белой папахе в сопровождении трех – четырех конных ординарцев уже влетел в самую станицу и исчез за поворотом улицы.

– Генерал Марков!

Местные большевики разошлись по домам и попрятали оружие. Пришлые ушли на Выселки.

Вечером «старики» в станичном правлении творили расправу над своей молодежью – пороли их нагайками…

Добровольческая армия прошла уже около 250 верст по

взбаламученному краю, обходя или легко опрокидывая большевистские отряды. Власть «главковерха» Антонова и Донского военно-революционного комитета, проявляясь в центрах, становилась чисто фиктивной по мере удаления от них. «Главные силы» Ставропольского «совета народных комиссаров» после взятия Батайска и разграбления Ростова, не исполнив приказа «главковерха» о преследовании Добровольческой армии, обратив в заложников своего командующего Сохацкого и военного комиссара Анисимова, пробивались с награбленным добром обратно в Ставрополь, бесчинствуя и грабя по пути. На станциях Владикавказской дороги – Степной, Кущевке, Сосыке, Тихорецкой, Торговой и др. образовались многочисленные и буйные вооруженные скопища, не подчинявшиеся никаким центрам и «управляемые» своими собственными революционными комитетами и местными самодержцами. Многие из них в два-три раза превышали численно всю нашу армию, но такое только превосходство в силах не представлялось тогда опасным для добровольцев.

Теперь мы попали в несколько иные условия: Кубанский военно-революционный комитет и «главнокомандующий войсками Сев. Кавказа» Автономов сумели собрать вокруг себя значительные силы красной гвардии (по преимуществу – эшелоны быв. Кавказской армии), которые вели успешную борьбу с Екатеринодаром. Где-то недалеко на высоте Кореновской и Усть-Лабинской должна была проходить линия обороны кубанских добровольческих отрядов, пока еще нами не обнаруженная. Теперь уклонение от боя было нецелесообразным. Корнилов решил подойти к ж. д. магистрали и ударить в тыл большевистским войскам, тем более, что уже роковым образом ощущался недостаток боевых припасов, склады которых мы надеялись найти на ж. д. станциях.

2 марта главные силы армии двинулись на станицу Журавскую, а Неженцев с Корниловским полком ударил по станции Выселки. После краткого боя, понеся небольшие потери, Корниловцы лихой атакой взяли Выселки и продвинулись на несколько верст вперед к хутору Малеваному. Армия расположилась на ночлег в Журавской, а в Выселках должен был стать заслоном конный дивизион полковника Гершельмана. Дивизион почему-то ушел без боя из Выселок, которые были заняты вновь крупными силами большевиков[[162]]. Положение создалось крайне неприятное, и Корнилов приказал генералу Богаевскому, с Партизанским полком и батареей ночной атакой овладеть Выселками. Ночь была темная, на дворе сильнейший холод. В маленькой станице не хватало ни крыш, ни

продовольствия для всех частей, набившихся в нее. Партизаны – голодные, усталые, до поздней ночи оставались под открытым небом. Вероятно поэтому Богаевский отложил наступление до утра. Чуть забрезжил рассвет, потянулась колонна к Выселкам, и под редким огнем артиллерии стали развертываться против села отряды партизан капитана Курочкина, есаула Лазарева, Власова, полковника Краснянскаго… Редкие цепи шли безостановочно к окраине деревни, словно вымершей. И вдруг длинный гребень холмов, примыкавших к селу ожил и брызнул на наступавшие цепи огнем пулеметов и ружей…

Ура!.. Ура!.. – покатилось по рядам. Бросились Партизаны в атаку. Но валятся один за другим люди, редеют цепи. А тут справа – во фланг и тыл им ударило свинцом из всех окон каменного здания паровой мельницы, утепленной в лощине… Цепи подались назад и залегли.

Бой оказался серьезнее, чем рассчитывали. Пришлось выдвинуть новые силы. Из Малеваного направлен в обход Выселок с востока батальон Корниловцев, прямо на село двинут Офицерский полк Маркова.

Когда утром Корнилов со штабом подъезжал к партизанским цепям, по дороге длинной вереницей нам навстречу несли носилки с убитыми и ранеными. Дорого стоила атака: погибли партизанские начальники Краснянский, Власов, ранен Лазарев, большой урон понесла донская молодежь Чернецовского отряда…

Скоро обозначилось наступление Корниловского батальона. Идут быстро, не останавливаясь, как на учении, заходя большевикам в тыл. Подходят Марковцы; левый фланг Партизан продвинулся уже вперед – в охват. Словно электрический ток проносится по всем цепям, раскинувшимся далеко – не окинешь взглядом; Партизаны поднялись и бросились снова вперед.

Противник бежит.

А справа от мельницы слышится уже заглушенный сухой треск одиночных выстрелов: идет, по-видимому, расправа.

Прости, Господи, виноватых и не осуди за кровь невинных…

Корнилов крупной рысью едет в Выселки. Колышется распущенный трехцветный флаг. Прошли село, едем вдоль железнодорожной насыпи – попали под сильнейший ружейный огонь, укрылись за железнодорожную будку. Впереди – никого. Нагоняет жидкая цепь Партизан. Начальник отряда, раненный в ногу, весь мокрый, ковыляет бегом по неровному полю. Не то оправдывается, не то сердится, обращаясь к штабным:

– Зачем генерал срамит нас? Ведь он конный, а мы пешие – догнать трудно.

Цепь продвинулась к впереди лежащей роще и скрылась из

глаз; огонь прекратился скоро, и все поле боя смолкло.

Корнилов объезжает собирающиеся в колонны войска и благодарит их за одержанную победу.

В этот день мы узнали крайне неприятную новость: не так давно здесь, возле Выселок произошел бой между большевиками и отрядом кубанских добровольцев Покровского. Добровольцы были разбиты и поспешно отступили в сторону Екатеринодара. Шли какие-то зловещие слухи и о кубанской столице…

Пока – только слухи. И потому на завтра приказано наступать далее, на Кореновскую, в которой сосредоточилось не менее 10 тысяч красногвардейцев с бронепоездами и с большим количеством артиллерии. Большевистскими силами командовал кубанский казак, бывший фельдшер Сорокин.

Против нас был уже не тыл, а фронт екатеринодарской группы большевиков.

* * *

4-го утром мы шли с авангардом Боровского. Конная часть, бывшая впереди, по обыкновению не предупредила, и голова колонны, выйдя на гребень, с которого открывались уже купола кореновской церкви, попала под сильный ружейный огонь.

– Положите Юнкеров!

Но Боровский не слышит или не хочет слышать – он занят отдачей распоряжений. И на него и на молодежь действует присутствие командующего. Чувствуют на себе его пристальный взгляд… Рассыпаются по линии, никто не ложится. И скоро жидкие цепи Юнкеров тихо, в рост, не останавливаясь, двинулись на станицу, опоясанную длинным рядом окопов, в которых даже простым глазом заметно было большое скопление большевиков.

Было трогательно и волнующе это наступление юношей, почти мальчиков – внешне такое немощное и такое красивое своей внутренней доблестью и простотой. Видно и на большевиков оно произвело впечатление: огонь здесь стал реже и беспорядочнее.

Главный удар наносится слева на станцию Станичную Офицерским и Корниловским полками. Мы подвигаемся влево. Бой там в полном разгаре. Немолчно гудит неприятельская артиллерия, ружейный огонь сливается в сплошной гул. Попали в полосу сильного ружейного обстрела. Все легли. Пытаюсь убедить Корнилова отойти в сторону или, по крайней мере, лечь. Безрезультатно. Обращаюсь к Романовскому:

– Иван Павлович, уведите вы его… Подумайте, если случится

несчастье…

– Говорил не раз – бесполезно. Он подумает в конце концов, что я о себе забочусь…

Корнилов поднялся на пригорок, глядит в бинокль. С ним рядом Романовский. Смотрю на них с тревогой, любуюсь обоими и думаю: кто из них выше в этой победе духа над плотью; вспоминаю – кого еще на протяжении шести лет трех войн я видел таким равнодушным к дыханию смерти…

В наступлении произошел перелом. Корниловский полк на всем фронте отходит. За ним валять густыми нестройными линиями большевики. Много, много их чернеет на светло-сером фоне поля. Артиллерийский огонь перешел в ураган; шрапнели белыми дымками густо стелются по небу и осыпают отходящие цепи пулями.

Из обоза доносят: патроны и снаряды на исходе; части требуют; отдавать ли последние?

– Надо выдать – на станции мы найдем их много – говорит Корнилов.

Но Корниловцы остановились, потоптались несколько минуть в нерешительности на месте и опять двинулись вперед; большевики залегли. Еще нет успеха, но уже чувствуется, что кризис миновал.

Стало, однако, ясным, что надо искать решительных результатов в другом месте. Корнилов послал весь свой резерв – Партизанский полк и чехо-словацкую роту под начальством Богаевского в охват позиции с запада.

Едва только части эти отделились от обоза, оттуда пришло донесение:

– В тылу возле нас появилась неприятельская конница. У обоза никакого прикрытия нет. Положение осложняется… Корнилов посылает офицера конвоя:

– Передайте Эльснеру, что у него есть два пулемета и много здоровых людей. Этого вполне достаточно. Пусть защищаются сами. Я ничего дать им не могу.

С гребня видно, как в обозе зашевелись повозки, строя вагенбург, и рассыпалась жидкая цепь.

В этот день, кроме превосходства сил, мы встретили у противника неожиданно – управление, Стойкость и даже некоторый подъем. Бой затягивался, потери росли.

Среди офицеров разговор:

– Ну и дерутся же сегодня большевики!..

– Ничего удивительного – ведь русские…

Разговор оборвался. Брошенная случайно фраза задела больные струны…

Мы переехали к Богаевскому. Партизаны медленно разворачивались против станицы, батарея полковника Третьякова шла вместе с цепями и, снявшись на последней позиции, открыла огонь в упор по юго-западной окраине ее. Батальон Боровскаго, дважды уже захватывавший окраину и оба раза выбитый оттуда, поднялся вновь и пошел в атаку. Ударили и Партизаны. Через полчаса мы входили уже в станицу. Батарея галопом мчалась по широкой улице к мосту через Бейсужек, где скоро в сгрудившуюся человеческую массу отступавших большевиков ударила картечью.

А с востока подошли уже Офицерский полк и Корниловцы, преодолев бронированные поезда, ураганный огонь артиллерии и реку – по широкому броду, усеяв свой путь вражескими телами. По-видимому, взятие Офицерским полком моста решило дело.

Арьергард противника задержался несколько в рейде, южнее Кореновской, но, выбитый оттуда Корниловцами, ушел к станице Платнировской.

В Кореновской армия пополнила свою хозяйственную часть и, в особенности, боевые припасы. Но, увы, слишком дорогой ценой: за последние бои наша маленькая армия потеряла до 400 человек убитыми и ранеными[[163]].

Здесь же ожидало нас окончательное подтверждение зловещих слухов: в ночь на 1 марта кубанские добровольцы полковника Покровского, атаман и рада оставили Екатеринодар и ушли за Кубань, в горы. Екатеринодар в руках большевиков. Подобранная в окопах советская газета в патетических тонах описывала встречу делегатов екатернодарского совета с передовым отрядом красных войск, во время которой обе стороны «не могли говорить от волнения» и только «со слезами на глазах обнимали друг друга»…

Это был тяжелый удар для армии. Терялась идее всей операции, Идее простая, понятная всякому рядовому добровольцу – накануне ее осуществления: до Екатеринодара оставалось всего два – три перехода. Гипноз «Екатеринодара» среди добровольцев был весьма велик, и разочарование, казалось, должно было отразиться на духе войск. Мне представлялось необходимым продолжать выполнение раз поставленной задачи во что бы то ни стало, тем более, что армия давно уже находилась в положении стратегического окружения и выход из него определялся не столько тем или иным направлением, сколько разгромом главных сил противника, который должен был повлечь за собою политическое его падение. А несравненные войска Добровольческой армии внушали неограниченное доверие и надежды…

В штабе узнал, что готовится приказ о повороте на юг, за

Кубань. Поговорил с Иваном Павловичем, который разделял мое мнение, и вместе с ним пошли к командующему.

– Я с вами согласен – ответил нам Корнилов, но вы говорили с Марковым и Неженцевым?

– Нет.

– Вот видите ли. Они были сегодня у меня с докладом о состоянии полков…

Он передал нам вкратце сущность доклада: большая убыль и крайнее утомление – физическое и особенно моральное. Некоторые тревожные симптомы проявились уже во вчерашнем бою. Оба командира считали необходимым дать людям некоторый отдых – от этого ежедневного крайнего нравственного напряжения, от боя и от кошмара походного лазарета; постоять на месте и не чувствовать себя вечно окруженными.

– Если бы Екатеринодар держался – говорил Корнилов – тогда бы не было двух решений. Но теперь рисковать нельзя. Мы пойдем за Кубань и там в спокойной обстановке, в горных станицах и черкесских аулах отдохнем, устроимся и выждем более благоприятных обстоятельств.

Спор наш не привел ни к чему. Вероятно потому, что все трое мы руководствовались только теоретическими предположениями и интуитивным чувством. Ибо за пределами армейского района мы ничего не знали. Область была охвачена пожаром, все внутренние связи – моральные, административные, технические – были порваны, взаимоотношения перепутались, и на почве общего разлада росли и ширились только слухи, один другого нелепее, один другого обманчивее. Ничтожный состав конницы не позволял производить серьезных дальних разведок. Посылаемые штабом тайные разведчики – люди верные и самоотверженные – обыкновенно пропадали:

их ловили, мучили, убивали, в лучшем случае они томились в тюрьмах и в подвалах чрезвычаек.

Мы не знали тогда, что за Кубанью армия попадет в сплошной большевистский район и долго еще будет вести непрерывные тяжелые бои изо дня в день; что и это новое огромное напряжение не сломить дух добровольцев; что, наконец, по иронии судьбы в то самое утро, когда армия наша повернет с Екатеринодарского направления на юг, кубанский добровольческий отряд, уверовавший наконец в приход Корнилова на Кубань, поведет наступление через аул Шенджий на Екатеринодар…

5 марта был отдан приказ – армии с наступлением сумерек, соблюдая полнейшую тишину, двинуться на Усть-Лабинскую переправу.

Глава XXI. Поворот армии на юг: бой у Усть-Лабы; кубанский большевизм; штаб армии

Двинулись холодной ночью. Предполагали остановиться на большой привал в станице Раздольной, но, лишь только рассвело, большевистские войска, занявшие тотчас же после ухода нашего арьергарда (Партизанский полк генерала Богаевскаго) Кореновскую, стали теснить Богаевского и обстреливать его артиллерийским огнем. Колонна двинулась дальше. Верстах в двух от Усть-Лабы авангард остановился: окраина станицы и железнодорожная насыпь были заняты большевиками.

Наш маневр отличался смелостью почти безрассудною. Только с такой армией, как Добровольческая, можно было решиться на него. Только потому, что Корнилов знал свою армию, а армия беззаветно верила своему вождю.

Сзади напирал значительный отряд Сорокина, грозивший опрокинуть слабые силы Богаевскаго. Впереди – станица, занятая неизвестными силами, длинная, узкая дамба (2–3 версты), большой мост, который мог быть сожжен или взорван, и железный путь от Кавказской и Екатеринодара – двух большевистских военных центров, могущих перебросить в несколько часов в Усть-Лабинскую и подкрепления и бронепоезда.

Начался бой на север и на юг, все более сжимая в узкое кольцо наш громадный обоз, остановившийся среди поля и уже обстреливаемый перелетным огнем артиллерии Сорокина.

В обозе – наша жизнь, наше страдание и страшные путы, сковывающие каждую операцию, вызывающие много лишних потерь, которые в свою очередь увеличивают и отягчают его. В нем все материальное снабжение, в особенности драгоценные боевые припасы кочующей армии, не имеющей своей базы и складов. В нем тогда уже было до 500 раненых и больных, и число их к концу похода превышало полторы тысячи!.. Наконец, много беженцев. Обоз живет одной жизнью с армией, целыми часами стоить на поле боя, не раз подвергаясь сильному обстрелу. В обозе знают, что неустойка боевой линии грозит им гибелью. Оттого в нем повышенная впечатлительность и склонность к распространению самых страшных слухов. Но паники почти не бывало. Спасаться некуда: впереди бой, сзади бой, справа и слева маячат неприятельские разъезды. И обоз тихо

и терпеливо ждал развязки боя, с напряженным вниманием прислушиваясь к приближающимся и замирающим отзвукам артиллерийской и ружейной стрельбы.

Водил обоз всегда сам начальник снабжения генерал Эльснер. Не слишком энергично, но с невозмутимым спокойствием. Кроме переменных местных подводчиков, контингент возчиков крайне разнообразный: пленные австро-германцы, старые полковники, легко раненые офицеры, иногда просто уклоняющиеся от строя; много не боевого элемента, в том числе почти все общественные деятели, следовавшие при армии. Революция и поход перевернули социальные перегородки.

Если всем было тяжело, то положение раненых, в особенности тяжелых, стало катастрофическим. Почти каждый день длинный утомительный поход, в тряской телеге, по невылазной грязи, по кочкам и рытвинам, иногда рысью. Три четверти дня под открытым небом, в поле под проливным дождем или в жестокую стужу, от которой не спасала подостланная солома и наброшенные жидкие шинели и одеяла. Ночлег – в только что взятой с бою станице или ауле, которые не могли дать в краткий срок остановки ни достаточно крыш, ни достаточно продовольствия для набившегося сверх меры воинства. Иногда двое суток без ночлега и без разгрузки – с одной только перепряжкой лошадей. И на походе, и не раз на стоянке – немолчный гул неприятельской артиллерии и сухой треск рвущихся возле снарядов…

Не было надлежащей санитарной организации и почти не было ни инструментов, ни медикаментов, ни перевязочного материала и антисептических средств. Раненые испытывали невероятные страдания, умирали от заражения крови и от невозможности производить операции – даже легко раненые. Нужно было обладать, поистине, огромным жизненным импульсом, чтобы вынести все эти муки и сохранить незатемненный разум и самую жизнь. Иногда даже жизнерадостность… накануне смерти.

В армии знали, что делается в лазарете и что ожидает каждого, кому придется лечь туда. Из лазарета шел стон и просьбы о помощи; там создавалась острая атмосфера враждебности раненых к лазаретному персоналу) вызывавшая иногда в ответ полную апатию даже со стороны людей преданных своему делу, но положительно сбившихся с ног и растерявшихся в необычайной обстановке похода. Ибо наряду с безразлично относившимися к страданиям добровольцев, среди врачей и сестер были люди в полном смысле слова самоотверженные. О многих из них сохранили благодарную память добровольцы, уже

обреченные и вырвавшиеся из холодных объятий смерти. Вспоминают, вероятно, добрым словом и одного из бывших начальников лазарета, доктора Сулковского – друга немощных, который умер потом через год, заразившись от больных сыпным тифом.

Не раз жалобы раненых доходили до генерала Корнилова, чутко относившегося к ним и болевшего за них душой; он обрушивался сурово на виновников неурядицы, облегчал как мог положение раненых и одним своим присутствием вносил успокоение в души страдальцев.

В свою очередь кричал, ругался, просил и разводил беспомощно руками Эльснер По существу они могли только сменить людей и улучшить внутренние санитарные распорядки. Действительно, за время похода сменилось 8 начальников лазарета, среди которых был и персонаж комический, и самоотверженный врач, и душевно преданный своему делу, работавший без устали полковник, наконец, приобретший большой опыт в санитарном деле еще на Юго-западном фронте – земец. Дело шло то несколько лучше, то хуже. Никто не мог изменить общих условий жизни армии и ее зияющей раны, ибо для этого нужно было прежде всего вырваться из большевистского окружения.

Смерть витала над лазаретом, и молодые жизни боролись с ней не раз исключительно только силою своего духа.

Иногда обстановка слагалась особенно тяжело, и раненые, теряя самообладание, угрожали лазаретному персоналу револьверами. Начальство и армейский комендант принимали меры к успокоению. Одного только не решались сделать – отнять у раненых оружие; возможность распорядиться своею жизнью в последний роковой момент – была неотъемлемым правом добровольцев…

* * *

Под Усть-Лабой надо было спешить, так как всегда спокойный и уравновешенный Богаевский доносил, что его сильно теснят и просил подкреплений. Корнилов двинул вперед Юнкерский батальон и Корниловский полк. Первый пошел правее на видневшуюся насыпь железн. дороги из Екатеринодара, второй прямо на станицу. Быстро, без выстрела двинулись Юнкера и, встреченные перед самым полотном огнем неприятельских цепей, с криком – Ура! ударили на них и скрылись за насыпью.

Мы идем с корниловцами, которые выслали колонну влево, в

обход станции и наступают тихо, выжидая результатов обхода. С цепями идет с винтовкой в руках генерал Казанович – корпусный командир.

– Совестно так, без дела – отвечает, улыбнувшись исподлобья на чей-то шутливый вопрос.

Несколько поодаль стоит генерал Алексеев со своим адъютантом ротмистром Шапроном и с сыном. Ему тяжко в его годы и с его болезнью, но никогда еще никто не слышал из уст его малодушного вздоха. Тщательно избегая всего, что могло бы показаться Корнилову вмешательством в управление армией, он бывал, однако, всюду – и в лазарете, и в обозе, и в бою; всем интересовался, все принимая близко к сердцу и помогал добровольцам чем мог – советом, словом ободрения, тощею казной.

Со стороны станицы показался какой то конный, неистово машущий руками. Делегат: «товарищи» форштадта[[164]] решили пропустить нас без боя. Цепи поднялись и пошли, с ними штаб и конвой. Но едва прошли полверсты – из окраины станицы затрещали ружья, пулеметы, а из появившегося бронированного поезда полетели шрапнели. Пришли, очевидно, чужие – подкрепление из Кавказской.

Опять Корнилов в жестоком огне, и Марков горячо нападает на штаб:

– Уведите вы его, ради Бога. Я не в состоянии вести бой и чувствовать нравственную ответственность за его жизнь.

– А вы сами попробуйте, Ваше превосходительство!.. – отвечает, улыбаясь, всегда веселый ген. Трухачев.

Но охват Корниловцев уже обозначился. Двинулись в атаку и с фронта, и скоро весь полк ворвался на станцию и в станицу, сбил большевиков с отвесной береговой скалы, венчавшей вход на дамбу, овладел мостом и перешел за реку Кубань.

Мы поехали следом через поле, на котором кое-где были разбросаны большевистские и добровольческие трупы, через вымерший вокзал, к станичной площади. Остановились на привал. Вдруг получается донесение, что с востока, от Кавказской подошел большевистский эшелон, разгрузился и идет к станице. Скоро по вокзалу и станице начали глухо взрываться шестидюймовые бомбы. Штаб и конвой – больше никого! Неженцев в пылу боя увлекся преследованием и не оставил заслона против Кавказской. Корнилов сумрачен и озабочен; вместе с Романовским идут к окраине; скоро ординарцы развозят распоряжения: поставить на площади батарею, повернуть на восточную окраину часть Офицерского полка, который с Марковым подходил к вокзалу, вернуть батальон корниловцев…

Проходит около ¾ часа, пока собираются части, и борьбу ведет одна лишь батарее Миончинского. Но скоро бегом мимо станции проходят Марковские офицеры и вместе с Корниловцами бьют и обращают в бегство подходящих уже к самой станице большевиков.

Путь свободен.

Как по внушению в одно мгновение знает об этом все население трехверстного обоза – всеобщая радость; дошло известие и до арьергарда. Там устойчиво – Богаевский выполнил свою задачу, сдержал преследующих.

До Некрасовской, где назначен ночлег, еще 10 верст. Всю ночь идут нескончаемой вереницей обозы, колонны. Запрудили улицы Некрасовской. В сутки прошли 46 верст с двухсторонним боем и переправой!.. Измученные люди в ожидании квартирьеров валятся на порогах хат, просто на улице. Спят и грезят: пришли в Закубанье на желанный отдых… И хотя завтра мы проснемся вновь от злорадно стучащей по крышам домов большевистской шрапнели, но это уже не так важно: благополучная переправа через Кубань подымает настроение добровольцев, оживляет их надежды.

* * *

Повсюду в области, в каждом поселке, в каждой станице собиралась красная гвардия из иногородних (к ним примыкала часть казаков, фронтовиков), еще плохо подчинявшаяся Армавирскому центру[[165]], но следовавшая точно его политике. Объединяясь временами в волостные, районные, «армейские» организации, эта вооруженная сила, представлявшая недисциплинированные, хорошо вооруженные, буйные банды, будучи единственной в крае, приступила к выполнению своих местных задач: насаждению советской власти, земельному переделу, «изъятию хлебных излишков» «социализации» т. е. попросту ограблению зажиточного казачества и обезглавливанию его – преследованием офицерства, небольшевистской интеллигенции, священников, крепких стариков. И прежде всего – к обезоружению. Достойно удивления, с каким полным непротивлением казачьи станицы, казачьи полки и батареи отдавали свои орудия, пулеметы, ружья, которые шли отчасти на вооружение местных красногвардейских отрядов, отчасти отвозились в ближайшие центры. Когда, например, потом, в конце апреля» восстали против большевиков казаки одиннадцати станиц Ейского отдела и двинулись на Ейск, это было по

описанию Щербины в полном смысле безоружное ополчение. «У казаков было не более 10 винтовок на сотню, остальные вооружились чем могли. Одни прикрепили к длинным палкам кинжалы или заостренные полоски железа, другие, сделав из железных вил что-то вроде копий, третьи вооружались острогой, а иные просто захватили лопаты и топоры». Восстание тогда было жестоко подавлено. Против беззащитных станиц выступали обыкновенно бронепоезда и карательные отряды с… казачьими орудиями. Иногда за этими карательными отрядами шли большие обозы; в них нагружалось награбленное добро женщинами красногвардейцев, которые не раз превосходили в жестокости и садизме мужчин.

К началу апреля все селения иногородних, а из 87 кубанских станиц 85, уже числились большевистскими. По существу большевизм станиц был чисто внешний. Во многих сменялись лишь названия: атаман стал комиссаром, станичный сбор – советом; станичное правление – исполнительным комитетом. Где комитеты захватывались иногородними, их саботировали, переизбирая чуть ли не каждую неделю. Шла упорная, но чисто пассивная борьба векового уклада жизни, цепко державшего в своих руках даже прозелитов новой веры – фронтовую молодежь. Борьба без воодушевления, без подъема, а, главное, без всякого духовного руководства: от своего офицерства и рядовой интеллигенции казачество отвернулось – без злобы, скорее с сожалением, полагая такой ценой купить покой и «нейтралитет»; а казачья революционная демократия сама оторвалась от массы, став на распутье между большевистским коммунизмом и казачьим консерватизмом.

Было желание, но не было дерзания. Вот и большая, богатая Некрасовская станица, с незначительным составом иногородних, покорно подчинялась какой-то «Еленовской роте», нас встретила с чувством радости и затаенной надежды, но, узнав, что завтра мы пойдем дальше, притихла и замкнулась в себя.

Большевистский отряд, стоявший в Некрасовской, долго бряцал оружием и митинговал, но в день нашего прихода с утра потихоньку, стыдливо ушел из станицы за Лабу. В этом районе, густо усеянном иногородними поселениями, давно уже было введено советское управление и существовала военная организация, возглавлявшаяся «армейским военно-революционным советом», с центром в селе Филипповском.

Несколько красногвардейских шаек с батареей заняли вплотную левый берег Лабы, камыши и прилегающие хутора и с утра 7-го по станице, расположенной на нагорном берегу, открыли орудийный и пулеметный огонь. Войска измучены,

наведение моста и переправа через глубокую реку засветло под огнем противника вызовет тяжелые потери… Корнилов приказал начать переправу авангардных частей ночью.

Днем обсуждали план предстоящих действий. В Закубанье на отдых рассчитывать нельзя – район кишит большевиками; учитывая общее направление движения армии, большевики поджидали нас в Майкопе, куда «Кубанский областной „комитет“ сосредоточивал войска, оружие и боевые запасы. Решено было поддержать большевиков в этом убеждении, двигаясь на юг; затем, перейдя реку Белую, круто повернуть на запад. Это движение выводило нас в район черкесских аулов, дружественных армий, давало возможность соединения с Кубанским добровольческим отрядом, отошедшим по слухам в направлении Горячего ключа, и не отвлекало от главной цели – Екатеринодара.

Большевистское официальное сообщение, напечатанное в «Известиях», найденных позже, и относящееся к этому дню – 7 марта, так определяло общее положение «белогвардейских банд»:

> «После обхода станции Тихорецкой, Корнилов продвинулся к Выселкам. Советские войска умелым маневром окружили здесь корниловцев. К сожалению, по топографическим условиям местности не удалось создать тесного кольца… и Корнилов вынужден был (пойти) через имевшуюся отдушину к востоку по дороге со станц. Кореновской на станицу Усть-Лабинскую, имея своей задачей пробиться к Майкопу… Белогвардейцы снова заперты в кольце войск еще более тесном… Они мечутся, стараясь нащупать более слабое место среди кольца революционных войск, чтобы, найдя его, пробиться к какому-нибудь мало-мальски крупному городскому центру, где можно было бы хоть временно опереться… Час расплаты Корнилова, Алексеева и всех главарей, находящихся у него в отряде, стал ближе».

Что касается «отрядов Филимонова и Покровского», то «разбитые под Екатеринодаром они расселись по направлению от Эйнема и Георгие-Афипской к востоку… и никакой угрозы собою представлять не могут».

Оптимизм Екатеринодарского совета не оправдался…

После совещания беседовали с Иваном Павловичем.

– Вы обратили внимание, как сегодня Корнилов резко отозвался о штабе при строевых начальниках – ведь они, несомненно, расскажут в частях. И притом совершенно несправедливо.

– Да, но он ведь потом признал свою ошибку и извинился. От

этого не легче. Он – просто по горячности – вспылит и сейчас же отойдет, а полки и без того нас недолюбливают. Скажите, чем это объяснить?

– Иван Павлович, да когда же вы видели, чтобы строй любил штаб? Это известная и ничем неустранимая психологическая антитеза. Вспомните Маркова в Ростове…

Марков – «начальник штаба Добровольческой дивизии» в Ростове – с его живым горячим характером, резкими жестами и не всегда сдержанной речью – производил ошеломляющее впечатление на всех добровольцев, по делу или без дела являвшихся в штаб дивизии и не знавших его. Добрый по натуре, он казался им бессердечным; человек простой и доступный – заносчивым и надменным. Неудовольствие против Маркова в конце января приняло такие формы, что Корнилов дважды беседовал со мной о необходимости освобождения Маркова от должности начальника штаба. Я категорически протестовал, и только расформирование перед выходом из Ростова «дивизии» разрешило безболезненно этот вопрос. Теперь тот же Марков, с той же горячностью и прямотой – кумир своего полка и любимец армии.

Кроме чисто инстинктивного предубеждения, войска не имели поводов относиться отрицательно к штабу армии. Корниловский штаб, начиная с его начальника, состоял из людей храбрых и хороших работников. Кто был знаком с их жизнью, тот чувствовал это. В отвратительных условиях, набитые не раз в тесной и грязной избе так, что пройти трудно было, они в ней работали днем и ночью, ели и спали вповалку на полу. С тем, чтобы на утро пойти в поиск, на разведку, установить связь или помногу часов разъезжать с Корниловым на поле боя под жестоким огнем. А с приходом на новый ночлег – колесо заводилось сначала. Они яснее понимали, чем в строю, всю серьезность положения, и, тем не менее, в штабе, обыкновенно, царило бодрое настроение и здоровый оптимизм. Два, три офицера не подходили под общий уровень, но они не могли испортить общего впечатления. Корнилов обычно относился хорошо к своему штабу, не взирая на несколько грубоватые иногда внешние формы отношений. Он любил и ценил своего начальника штаба Романовского, так счастливо дополнявшего своей уравновешенной натурой его пылкий и впечатлительный темперамент, скрывавшийся под суровой и сухой внешностью. Начальник штаба мирился с нелегким характером командующего, был предан ему, и не раз – только он один мог, глядя на Корнилова своими добрыми глазами, остановить шаги, продиктованные минутной вспышкой. Никогда не подчеркивал

своей большой работы и не переносил на других ошибки, не им сделанные.

– Прошлый раз, когда вышла такая же история при Маркове и Неженцеве, я попросил его освободить меня от должности. Он ответил: «никуда я вас, Иван Павлович, не отпущу». Тем и кончилось. Теперь слишком тяжелое время – такие вопросы подымать неуместно. Но, как только придем в тихую пристань уйду в строй.

Бог судил, чтобы тихою пристанью для него стала холодная могила Константинопольского кладбища…

* * *

Весь день рвутся над станицей снаряды, летящие с юга из-за реки, весь день слышен орудийный гул с севера, со стороны Усть-Лабы, против которой стояли в арьергарде Корниловцы. Посреди большой площади высокая каменная церковь; ее колокольня возвышается над всем низким южным берегом на много верст; по ней направляют огонь. На площади, по квадратному фасу которой расположены штаб, квартира Корнилова и других генералов – такой порядок заведен всегда – с глухим воем рвутся гранаты. Обоз, запрудивший было всю площадь, понемногу расползся по всей станице; осталось лишь несколько распряженных повозок с торчащими вверх оглоблями. Площадь пустынна, изредка лишь пробежит, пугливо озираясь, превозмогая страх, кто-нибудь из станичных жителей в церковь. Идет вечерня. В храме, кроме некрасовцев – наши добровольцы, раненые – на костылях, с повязками. В полумраке слабо мерцают свечки перед ликами скорбными и суровыми. И когда за стеною раздастся резкий удар, а по куполу застучит, словно от крупного града, глуше звучат возгласы из алтаря, ниже склоняются головы молящихся. Из темного угла послышался гулко и явственно чей-то голос:

– Господи, прости!

Не жалоба, не прошение, а покаяние. Не так ли в сознании широких слоев русского народа все ужасы лихолетья приняты, как возмездие за грехи мирские, грехи вселенские, которые ниспослал «Бог – грозный судия, довлеющий во гневе»… И чудится, как вместе с дымом кадильным из сотни сердец возносятся «горе» моления такие страстные и мучительные… О ком? О себе, о нас, о тех, кто за рекой? Ведь и о них, вероятно, кто-нибудь молится…

Храм – единственное убежище, куда не вторгнулось еще звериное начало. Завтра придут «они», убьют священника и

надругаются над храмом[[166]].

Глава XXII. Поход в Закубанье; бой за Лабой и у Филипповского; теневые стороны армейского быта

В ночь на 8 марта наши передовые части перешли с боем на левый берег Лабы и, отбросив большевиков, обеспечили переправу армии. Первым перешел Юнкерский батальон. Боровский доносил, что юнкера смело бросились в холодную воду, хотя «малыши пускали пузыри», так как местами глубина реки превышала их рост.

Перешедшие войска сразу же попали в сплошное большевистское окружение. Каждый хутор, каждая роща, отдельные строения ощетинились сотнями ружей и встречали наступающие части огнем. Марковцы, Партизаны, Юнкера шли по расходящимся направлениям, выбивая противника, появлявшегося неожиданно, быстро ускользавшего, неуловимого. Каждая уклонившаяся в сторону команда или отбившаяся повозка встречала засаду и… пропадала. Занятые с бою хутора оказывались пустынными: все живое население их куда-то исчезало, уводя скот, унося более ценный скарб и оставляя на произвол судьбы свои дома и пожитки. Скоро широкая долина реки, насколько видно было глазу, озарилась огнем пожаров: палили рвавшиеся гранаты, мстительная рука казака и добровольца или просто попавшая случайно среди брошенных хат непотушенная головня.

Неженцев занимал еще северную окраину станицы, прикрывая ее со стороны войск, наступавших от Усть-Лабы. А внизу, под крутым скатом берега шла лихорадочная переправа обоза; жиденький мост был сильно перегружен; часть повозок с беженцами и ранеными спустилась к глубоким бродам; лошади шли неохотно в студеную воду, иногда повозка опрокидывалась или, отнесенная течением в глубокое место, погружалась чуть не доверху, вместе с походным скарбом или беспомощно бьющимся человеческим телом. На том берегу обоз раскинулся широким табором в ожидании «открытия пути».

Лишь к закату армия раздвинула несколько сжимавшее ее огневое кольцо и заночевала в двух хуторских поселках. Штаб – в Киселевских хуторах. Собственно только эти два пункта находились в нашем фактическом обладании, охраняемые на небольшом расстоянии аванпостами. А дальше – раздвинутое кольцо сжалось вновь.

Шел дождь, была стужа. На улицах тесного поселка сбились в кучу повозки, столпились люди – и половине не хватило крыш. Я пошел ночевать к Алексееву. Он был нездоров и, видимо, несколько расстроен: вчера опять вышло недоразумение между ним и Корниловым по поводу неправильно отведенной квартиры. Эти два человека органически неприязненны друг другу, но сознание долга и огромной нравственной ответственности заслоняют личные чувства и заставляют их идти вместе, одной дорогой, к одной одинаково понимаемой цели. С большим трудом удалось Романовскому успокоить Корнилова. О своих взаимоотношениях с Корниловым Алексеев избегает говорить. Мы делимся впечатлениями минувшего боя и прогнозом будущего. Последний неизменен:

Пробуждение казачества и создание обеспеченной базы.

Иначе конец организации и весьма болезненный процесс переноса живой силы ее на другую почву – более плодотворную. Волга, Сибирь. При отсутствии иного выхода – даже, быть может, Закавказье. Мы не углубляем еще этой темы – надежда не потеряна – но одно было ясно, что добровольческое движение только еще начинается. Вспомнилась фраза, сказанная как-то Иваном Павловичем:

– Умом не постигаю, но сердцем верую, что не погибнет ни идея, ни армия.

Штаб Алексеева со всем конвоем расположился в одном дворе. Его и меня поместили в маленькой каморке с полатями; на них чья-то добрая рука положила густо соломы и покрыла рядном. Тепло, благодать! Ночью просыпаюсь от страшного удушья: припадок бронхита? Нет… Вся комната полна дымом, огненные языки лижут полати. Вскочил. Подо мною сейчас же вспыхнула солома. С большим трудом разбудил Алексеева. Выбита рама, полетел в окно, в грязь мой обгоревший вещевой мешок с последними пожитками…

– Чемодан забыли!

В комнату вскочил сын Алексеева, еще кто-то и с большим трудом вытащили оттуда знаменитый «Алексеевский чемодан» – в нем вся добровольческая казна.

Пожар потушили. Кто-то уже острить:

– Казенное добро в воде не тонет, в огне не горит.

Выступление назначено рано, но до полудня продвинулись мало, так как шедшие впереди Офицерский полк и, в особенности, Партизанский пробивались с трудом, отвоевывая каждую версту пути упорным боем. Задерживаться в хуторах также было небезопасно, так как вскоре у самой окраины их послышался сильный треск пулеметов… Пули жужжали между

избами. Все войска втянулись в бой, и потому для прикрытия колонны с тыла в распоряжение коменданта штаба, полковника Корвин-Круковского, оставлена в хуторах «охранная» рота из офицеров – инвалидов и конвой Корнилова. С трудом протискиваясь по запруженной улице, эти части выходят на окраину. Двинулся обоз и остановился в версте. Опять по нем бьет неприятельская артиллерия – очевидно перелеты по боевым линиям – и с фронта, и с тыла, и еще откуда-то, видимо со стороны Некрасовской.

Офицерский полк рассыпан редкими цепями, затерявшимися среди беспредельного поля и такими, казалось, слабыми в сравнении с массой большевиков. Цепи подвигаются очень медленно: мы едем вперед рысью к маленькому хуторку. Корнилов с Романовским – уже на стогу. Треск пулеметов. Ранен тяжело в голову полковник генерального штаба Патронов. Текинцы суетливо прячут за стог и за хату лошадей…

Отчетливо видны отдельные фигуры в цепях. Похаживает вдоль них небольшого роста, коренастый человек. Шапка на затылке, руки в карманах – Кутепов – командир 3-ей роты. В этот день три пули пробили его плащ, но по счастью не ранили. Подымаются отдельные группы прямо в рост, перетаскивают куда-то пулемет. Тихо бредут и ползут назад раненые. И не один из них вдруг валится на пашню, как срезанный – догнала новая пуля… Офицеры поднялись, снова пошли в атаку, и темная масса впереди сначала зашевелилась на местах, потом хлынула назад.

Немедленно под прикрытием Офицерского полка главные силы и обоз двинулись влево, в направлении Филипповского. Прошли версты три, опять остановились: справа у Богаевского еще идет бой, а впереди слышна дальняя редкая перестрелка, и от Неженцева, направленного с утра на Филипповское, нет сведений – занято ли уже это село – центр большевизма и военной организации всего района… Стоим в поле долго. Уже наступает ночь – тихая беззвездная. Кони давно не кормлены, повесили понуро головы. По обочинам дороги лежат группами люди и тихо ведут беседу.

Пять тысяч жизней – старых и молодых – собрались в темную ночь в чистом поле, в глухом углу Кубанской области, среди враждебной им стихии. Без крова и приюта. Бросивших дом, семью, близких и «взыскующих града». Уставших от тягот небывалого похода, морального одиночества и непрерывных боев. Не знающих – что сейчас сулят им темные дали с чуть мерцающими двумя, тремя путеводными огоньками: покой или новый бой, кровь, быть может смерть…

О чем их мысли?

О гибнущей отчизне… О прошлом, далеком и невозвратимом… О славе, подвиге, о радостях жизни… О завтрашнем дне и новом вражеском окружении… О тех могильных холмах, которые выросли на всем пройденном пути… что к ним, быть может, сегодня или завтра присоединится еще один – маленький, незаметный, который смоют дожди, распашет плуг, и сгинет след человеческой жизни… Наконец, просто о теплой хате и сытном ужине.

Темное небо прямо на запад, в направлении Екатеринодара прорезали бледные зарницы и – почудилось только, или было на самом деле – издалека донеслись совсем тихие, еле слышные звуки, словно рокот отдаленного грома…

– Смотрите, смотрите, это у Покровского!

Он или не он, быть может местное восстание казаков или горцев, но одно несомненно: где-то, за несколько десятков верст идет артиллерийский бой. Там столкнулись две силы, два начала, одно из которых очевидно родственно армии. И по всей колонне, по всему обозному табору люди напрягают зрение, чтобы отгадать таинственный смысл далеких зарниц, видят незримое и слышат незвучное…

Скоро и другая приятная новость: Корниловский полк после небольшой стычки овладел Филипповским, которое оставили большевики и покинули все жители.

* * *

В волостном правлении толчея. Собрались начальники в ожидании отвода квартирных районов. Толпятся квартирьеры, снуют ординарцы с донесениями и за указаниями. За стеной слышен громкий спор.

– Вы почему заняли кварталы правее площади?

– Да потому, что ваши роты явились с вечера и до чиста обобрали наш район.

– Ну, знаете… кто бы говорил. Я вот сейчас заходил в лавку за церковью, видел, как ваши офицеры ящики разбивают…

Вот – оборотная сторона медали. Подвиг и грязь. Нервно, подергивается Кутепов и куда-то уходит. Через четверть часа возвращается.

– Нашли сухари и рис. Что же прикажете бросить и не варить каши?

Никто не возразил. Тяжелая обстановка гражданской войны вступала в непримиримые противоречия с общественной моралью. Интендантство не умело и не могло организовать

правильной эксплуатации местных средств в селениях, которые брались вечером с бою и оставлялись утром с боем. Походных кухонь и котлов было ничтожное количество. Части довольствовались своим попечением, преимущественно от жителей подворно. К середине похода не было почти вовсе мелких денег и не только приварочные оклады, но и жалованье выдавалось зачастую коллективно 5–8 добровольцам тысячерублевыми билетами, впоследствии и пятитысячными, а организованный размен наталкивался всегда на непреоборимое недоверие населения. Да и за деньги нельзя было достать одежды, даже у казаков; иногородние не раз скрывали и запасы, угоняли скот в дальнее поле. Голод, холод и рваные отрепья – плохие советчики, особенно, если село брошено жителями на произвол судьбы. Нужда была поистине велика, если даже офицеры, изранив в конец свои полубосые ноги не брезгали снимать сапоги с убитых большевиков.

Жизнь вызвала известный сдвиг во взгляде на правовое положение населения не только в военной среде, но и у почтенных общественных и политических деятелей, следовавших при армии Я помню, как одни из них в брошенном Филипповском с большим усердием таскали подушки и одеяла для лазарета… Как другие на переходе по убийственной дороге из Георгие-Афипской в аул Панахес силою отнимали лошадей у крестьян, чтобы впрячь их в ставшую и брошенную на дороге повозку с ранеными Как расценивали жители эти факты, этот вопрос не вызывает сомнений Что же касается общественных деятелей, то я думаю, что ни тогда, ни теперь они не определяли этих своих поступков иначе, как проявлением милосердия.

В этот сложный и больной вопрос примешивались еще обстоятельства чисто психологического характера. Чрезвычайно трудно было кубанскому казаку или черкесу, которых большевики обобрали до нитки, у которых спалили дом или разорили дотла хозяйство, внушить уважение к «частной собственности» большевиков, которыми они чистосердечно считали всех иногородних. Мой вестовой – текинец – был до крайности изумлен, когда я в том же Филипповском, в брошенном доме выгнал его из кладовки, где он перебирал в сундуке хозяйское добро – добро того большевика, который встретил нас огнем и потом бежал, оставив «добычу». Оттого отношение к станице и аулу было иное, чем к селу; к казачьему двору иное, чем к хутору иногороднего. В одном только отношении не было разницы между «эллином и иудеем» – в отношении лошадей. Совершенно одинаково кавалеристы-добровольцы, казаки, черкесы, по прочно внедрившимся навыкам еще европейской войны, «промышляли»

лошадей для посадки спешенных

– у всех и всеми способами, считая это не грехом, а лихостью. Так, впоследствии, в марте 1919 года, когда временно развалился донской фронт, а два Кубанских корпуса были брошены в Задонье, чтобы остановить вторгнувшиеся туда большевистские силы, «младший брат» у «старшего» увел много табунов – тысячи голов добрых донских коней.

Наконец, армия состояла не из одних пуритан и праведников. Та исключительная обстановка, в которой приходилось жить и бороться армии, неуловимость и потому возможная безнаказанность многих преступлений – давали широкий простор порочным, смущали морально неуравновешенных и доставляли нравственные мучения чистым.

С явлениями этими боролись и Корнилов, и весьма энергичный комендант штаба, полковник Корвин-Круковский, и большинство командиров – иногда мерами весьма суровыми. Искоренить своеволие они не могли, но сдерживали его все же в известных рамках. До некоторой степени облегчало борьбу то обстоятельство, что части шли компактно и останавливались на ночлег в большинстве случаев в одном пункте.

Война и революция были слишком дурной школой для морального воспитания нации и армии.

* * *

10 марта нам пришлось вести бой – наиболее серьезный и кровопролитный. Еще с рассвета головной батальон Корниловского полка, шедшего в авангарде, перешел через реку Белую у окраины села и, повернув круто на запад, двинулся по дороге на станицу Рязанскую Дорога здесь шла низкой долиной, постепенно удаляясь от берега и подходя к гребню высот, тянувшихся параллельно реке.

Едва только начали переправу главные силы полка, как на гребень, оставленный без наблюдения, высыпали густые цепи большевиков и открыли жестокий огонь по мостам. Произошло замешательство. Люди шарахнулись с моста, многие попадали в воду. Полк понес потери, но скоро оправился от неожиданности, при содействии артиллерийского огня переправился и, поднявшись на гребень, оттеснил несколько большевистский фронт. Только оттеснил, перед нами развернулись крупные силы, значительно превосходившие численно Добровольческую армию, собранные со всех сторон для прикрытия Майкопского направления. Их развертывание вдоль параллельных берегу высот

в случае успеха ставило армию в критическое положение, запирая ее в узкой (½ – 1 вер.) долине непроходимой в брод болотистой реки. Едва только за Корниловским полком успели пройти Партизаны и чехо-словаки, развернувшись вправо и влево от Корниловцев, как большевики вновь широким фронтом перешли в решительное наступление на наши линии… И, тем не менее, наш несчастный обоз вынужден был переходить реку и идти именно туда, навстречу, под склон высот, на гребне которых вот-вот мог появиться вновь прорывающийся противник. Ибо с севера на Филипповское давили уже наши вчерашние враги, их батарея обстреливала село и переправу, и Боровский с Юнкерами, оставленный в арьергарде, с трудом сдерживал их напор.

А переправа по одному мосту протекает убийственно долго…

Удержат ли гребень?..

Уже начинают отходить чехо-словаки, расстреляв все свои патроны; отдельные фигуры их стали спускаться с высот. К ним поскакал конвой Корнилова. Там – замешательство. Командир батальона капитан Неметчик лег на землю, машет неистово руками и прерывающимся голосом кричит:

– Дале изем немохль уступоват. Я зустану зде доцеля сам[[167]]…

Возле него в нерешительности мнутся чехо-словаки, некоторые остановились и залегли. Текинцы снабдили их патронами и легли рядом. Открыли вновь огонь. Наступление врага приостановлено. Надолго ли?

Уже начинает изнывать Корниловский полк; заколебался один батальон, в котором убит командир… Густые цепи большевиков идут безостановочно сплошной стеной, явственно слышатся их крики и ругательства. Потери растут. Мечется нервный, горячий Неженцев – из части в часть, из боя в бой, видит, что трудно устоять против подавляющей силы, и шлет Корнилову просьбы о подкреплении.

Корнилов со штабом стоял у моста, пропуская колонну, сумрачен и спокоен. По его приказанию офицеров и солдат, шедших с обозом и по наружному виду способных драться, отводят в сторону. Роздали ружья и патроны, и две команды человек в 50–60 каждая, с каким то полковником во главе идут к высотам – «психологическое» подкрепление.

Действительно, боевая ценность его не велика, но появление на поле боя всякой новой «силы» одним своим видом производит впечатление всегда на своих и на чужих.

Весь день идет бой с таким неопределенным перемежающимся успехом – слишком неравные силы. Весь день неприятельские снаряды кроют гребень, село, район переправы и

лощину, где словно врос в землю и замер обоз. Наши орудия отвечают редко, одиночными выстрелами. Несут много раненых. И в обозе несколько повозок разбито гранатами; опрокинуло повозку Алексеева и смертельно ранило его кучера; сам генерал был где то на бугре. Люди здесь жмутся в кучки и как-то странно передвигаются с места на место, очевидно стараясь предугадать новое направление шрапнельной очереди. Из артиллерийского отдела то и дело высылают войскам снаряды и патроны – остается их угрожающе малое количество. Роздали уже ружья легко раненым. И когда сухой треск пулеметной стрельбы становится таким болезненно отчетливым и близким, на подводах, с лежащими под жидкими одеялами беспомощными телами страдальцев, заметно волнение. Слышится чей-то придавленный голос:

– Сестрица, не пора ли стреляться?..

В горячем сражении бывают минуты, иногда долгие часы, когда между двумя враждебными линиями наступает какое-то странное и неустойчивое равновесие. И достаточно какого-либо ничтожного толчка, чтобы нарушить его и сломить волю одной из сторон, психологически признавшей себя побежденной. Так и в этот день: по приказу и без приказа перед вечером наши войска на всем левобережном фронте перешли в контрнаступление – и противник был отброшен. В западном направлении расчищена широкая «отдушина», и колонна, извиваясь среди холмистого поля кавказских предгорий, быстро уходила на запад, провожаемая справа и слева беспорядочным и безвредным огнем большевистской артиллерии.

Вскоре огонь смолк. Мы шли то степью, то жидкими перелесками среди беззвучной тишины умиравшего дня. На душе покойно и радостно. Вероятно у всех так. Идут загорелые, обветренные, пыльные, грязные. Всю усталость от напряженного боя и перехода сразу как будто рукой сняло. В колонне слышится разговор, смех и шутки. Откуда-то вдруг доносится песня:

Так за Корнилова, за Родину, за Веру.

Мы грянем дружное «Ура»!

Прозвучала, покатилась по полю, отозвалась за холмом и так же неожиданно оборвалась: командир напомнил о близости противника… Мы обгоняем рысью колонну и на ходу обмениваемся с Романовским короткими фразами:

– Где еще найдется – говорит Иван Павлович – такое офицерство!..

Нигде, конечно.

* * *

Станица Рязанская «выразила покорность». Главные силы с обозом перешли речку Пшиш и остановились на большой привал в черкесском ауле Несшукай – ранним утром предстояло дальнейшее движение. Штаб с арьергардом остался в Рязанской. В первый раз в казачьей станице так неуютно, прямо тягостно. Начиная со встретившей Корнилова с белым флагом «депутации», участники которой все порывались стать на колени, во всей станице в отношении к нам чувствуется страх и раболепство. Многие дома были брошены жителями перед нашим приходом.

Только на другой день в черкесском ауле выяснилась причина: рязанские имели основание опасаться суровой кары. Станица одна из первых приняла большевизм, при чем в практическом его применении трогательно объединились и казаки, и иногородние. Они разгромили совместно соседние мирные аулы, а в одном – Габукае – перебили почти всех мужчин-черкесов[[168]]. Добровольцы в иных пустых саклях находили груды человеческих внутренностей… Несколько дней приезжали из Рязанской в аул с подводами казаки, крестьяне, женщины и дети и забирали черкесское добро… Аул словно кладбище.

Среди добровольцев – разговоры:

– Если бы знали раньше, спалили бы Рязанскую.

Бедные черкесские аулы встречали нас, как избавителей, окружали вниманием, провожали с тревогой. Их элементарный разум воспринимал все внешние события просто: не стало начальства – пришли разбойники (большевики) и грабят аулы, убивают людей. В их настроениях нельзя было уловить никаких отзвуков революционной бури: ни социального сдвигания разрыва со старой государственностью, ни черкесской самостийности.

Был страх, и было желание вернуться к спокойным, мирным условиям жизни. Только.

Штаб получил, наконец, подтверждение слухов об отряде Покровского в последние дни он вел бои где-то в районе аулов Шенджи – Гатлукая, верстах в 40–60 от нас. Теперь уже представилась реальная возможность соединения. Необходимо было спешить, чтобы большевики не успели разбить кубанских добровольцев до соединения с нами. И Корнилов ведет армию по тяжелым дорогам так быстро, как только позволяют наши путы – обоз, с каждым боем непомерно растущий. От Филипповскаго прошли, не разгружая лазарет, два дня – 40 верст до Панажукая. Оттуда после дневки, опять таким же порядком, – 40 верст до аула Шенджий Армия понимала хорошо значение этих маршей. Понимали и те, кто днями и ночами тряслись на подводах по весенним ухабам с гноящимися ранами и переломленными

костями, терпели и видели… как одного за другим уносить смерть.

13 марта мы стали на ночлег в ауле Шенджий, а на другой день в аул въезжал в сопровождении нарядного, пестрого конвоя кавказских всадников, произведенный в этот день Кубанской радой в генералы «командующий войсками Кубанского края» Покровский.

Глава XXIII. Судьба Екатеринодара и Кубанского добровольческого отряда; встреча с ним

Оставление Екатеринодара «кубанскими правительственными войсками» являлось вопросом не столько военной необходимости, сколько психологии. Еще во второй половине января после неудачного боя под Выселками, Кубанский добровольческий отряд, прикрывавший Тихорецкое направление, спешно отступил к Екатеринодару; в связи с этим были отведены и другие отряды, и в двадцатых числах все вооруженные силы «Кубанской республики», в составе, преимущественно, добровольцев-офицеров и юнкеров, Черкесского полка и незначительного числа кубанских казаков, стояли уже на ближайших подступах к Екатеринодару.

Во всей области, охваченной большевистским угаром, оставалась только одна точка – Екатеринодар, еще боровшийся, но уже испытывавший и в своих стогнах тяжкий гнет большевиствующей революционной демократии.

Довольно нетерпимое в своих отношениях к не казачьему и не кубанскому элементу кубанское правительство принуждено было, минуя своих генералов, вручить командование войсками капитану Покровскому, произведенному правительством за бой под Эйнемом в полковники. Покровский был молод, малого чина и военного стажа и никому неизвестен. Но проявлял кипучую энергию, был смел, жесток, властолюбив и не очень считался с «моральными предрассудками». Одна из тех характерных фигур, которые в мирное время засасываются тиной уездного захолустья и армейского быта, а в смутные дни вырываются кратковременно, но бурно на поверхность жизни. Как бы то ни было, он сделал то, чего не сумели сделать более солидные и чиновные люди: собрал отряд, который один только представлял из себя фактическую силу, способную бороться и бить большевиков. Успех под Эйнемом окончательно укрепил его авторитет в глазах правительства. Но для преобладающей массы добровольцев имя его не говорило ничего. Еще меньше внутренней связи было между добровольцами и кубанской властью. Хотя в официальных актах и упоминался часто термин «верные правительству войска», но это была лишь фраза без содержания, ибо в войсках создалось если не враждебное, то во всяком случае, недоброжелательное отношение к многостепенной кубанской власти, слишком

напоминавшей ненавистный офицерству «совдеп» и слишком резко отмежевавшейся от общерусской идеи. Еще с января в Екатеринодаре жил генерал Эрдели, в качестве представителя Добровольческой армии. В числе поручений, данных ему, было подготовить почву для включения Кубанского отряда в состав Добровольческой армии. При той оторванности, которая существовала тогда уже между Ростовом и Екатеринодаром, такое подчинение должно было иметь главным образом моральное значение, расширяя военно-политическую базу армии и давая идейное обоснование борьбе кубанских добровольцев. В то же время М. Федоров добивался от Кубани материальной помощи для Добровольческой армии.

Эти предположения встретили резко отрицательное отношение к себе среди всех кубанских правителей. Стоявший тогда во главе правительства Лука Быч заявил решительно.

– Помогать Добровольческой армии, значит готовить вновь поглощение Кубани Россией.

О внутренних противоречиях кубанской политической жизни я уже говорил. Внешне же в феврале противобольшевистский стан в Екатеринодаре представлял следующую картину:

Законодательная рада, оторванная от казачества, продолжала творить «самую демократическую в мире конституцию самостоятельного государственного организма – Кубани» и одновременно втайне от своей иногородней, явно большевистской фракции, собиралась на закрытые совещания о порядке исхода…

Кубанское правительство ревниво оберегало свою власть от вторжения атамана, косилось на Эрдели, по-царски награждало Покровского, но начинало уже не на шутку побаиваться все яснее обнаруживавшихся его диктаторских замашек.

Атаман Филимонов то клялся в конституционной верности, то поносил раду и правительство в дружеских беседах с Эрдели и Покровским.

Командующий войсками Покровский требовал оглушительных кредитов от атамана и от правительства и сам мечтал об атаманской булаве и о разгоне «совдепа» (правительства).

Добровольцы – казаки то поступали в отряды, то бросали фронт в самую критическую минуту. А добровольцы – офицеры просто заблудились: без ясно поставленных и понятных целей борьбы, без признанных вождей они собирались, расходились, боролись – впотьмах, считая свое положение временным и нервно ловя слухи о Корнилове, чехословаках, союзной эскадре – о всем том действительном и несбыточном, что должно было, по их

убеждению, появиться, смести большевиков, спасти страну и их.

Несомненно в этом пестром сочетании разнородных элементов были и люди стойкие, убежденные, но общей идеи, связующей их, не было вовсе, если не считать всем одинаково понятного сознания опасности и необходимости самообороны.

В феврале пал Дон, большевистские силы приближались к Екатеринодару. Настроение в нем упало окончательно. «Работа правительства и рады – говорит официальный повествователь – с открытием военных действий, конечно, не могла уже носить спокойного и плодотворного характера… Грохот снарядов заглушал и покрывал собою все». Правительство решило «сохранить себя, как идейно-политический центр; – как ядро будущего оздоровления края» и совместно с казачегорской фракцией рады постановило покинуть Екатеринодар и уйти в горы, выведя и «верные правительству» войска. День выступления предоставлено было назначить полковнику Покровскому.

При создавшихся военно-политических условиях длительная оборона Екатеринодара не имела бы действительно никакого смысла. Но 25-го февраля обстановка в корне изменилась. В этот день прибыл в Екатеринодар посланный штабом Добровольческой армии и пробравшийся чудом сквозь большевистский район офицер. Он настойчиво и тщетно убеждал кубанские власти повременить с уходом, в виду того, что Корниловская армия идет к Екатеринодару и теперь уже должна быть недалеко.

Ему не поверили или не хотели поверить: держали его под негласным надзором.

Вечером 28 февраля из Екатеринодара через реку Кубань на юг выступили добровольческие отряды, атаман, правительство, казачегорская фракция законодательной рада, городские нотабли и много беженцев. В их числе и председатель Государственной думы М. В. Родзянко В обращении к населению бывшая кубанская власть объясняла свой уход тактической трудностью обороны города, нежеланием «подвергать опасности борьбы городское население», на которое может обрушиться «ярость большевистских банд» и, наконец, тем обстоятельством, что население края «не смогло защитить своих избранников».

В этом послесловии сепаратной деятельности кубанской революционной демократии в первый период смуты – прозвучал и новый, как будто, примиряющий мотив: «Мы одухотворены идеей защиты республики Российской и нашего края от гибели, которую несут с собой захватчики власти, именующиеся большевиками».

Сосредоточившиеся на другой день в ауле Шенджий кубанские войска были сведены в более крупные части, составив в общей сложности отряд до 2½ – 3 тысяч штыков и сабель с

артиллерией.

Отряд дошел до станицы Пензенской. Но в эти несколько дней похода отсутствие объединяющей политической и стратегической цели встало пред всеми настолько ярко, что не только под давлением резко обозначившегося настроения войск, но и по собственному побуждению кубанские власти сочли необходимым поставить себе ближайшей задачей соединение с Корниловым. Тем более, что к этому времени вновь были получены сведения о движении Добровольческой армии к Екатеринодару и о происходивших к востоку от него 2–4 марта боях.

Покровский двинул отряд обратно в Шенджий и 7 марта, выслав заслоны против станции Эйнема и Екатеринодарского железнодорожного моста, неожиданно с главными силами захватил Пашковскую переправу. В течение двух дней Покровский вел артиллерийскую перестрелку, не вступая в серьезный бой, и в ночь на 10-е, отчаявшись в подходе Корнилова, ушел на восток. 10-го встретил сопротивление большевиков у аула Вочепший, где бой затянулся до ночи.

Неудача поисков Добровольческой армии, непонятное метание отряда и недоверие к командованию вызвали в войсках сильный упадок духа. Аула не взяли (мы были в этот вечер всего верстах в 30 от Вочепшия) и расстроенный отряд ночью, бросая обоз, без дорог устремился по направлению к горам на станицу Калужскую. Но со стороны Калужской шло уже наступление значительных сил большевиков, поставившее Кубанский отряд в критическое положение, 11-го произошел бой, в котором утомленные несколькими днями маршей и бессонными ночами войска Покровского напрягали последние усилия, чтобы сломить упорство врага. Участь боя, которым руководил командир Кубанского стрелкового полка, подполковник Туненберг, не раз висела на волоске. Уже в душу многих участников закрадывалось отчаяние, и гибель казалась неизбежной. Уже введены были в дело все силы, пошли вперед вооруженные наспех обозные, старики «радяне»[[169]] – подобие нашего «психологического подкрепления»… Артиллерия противника гремела не смолкая, цепи его пододвинулись совсем близко… Но вот Кубанский полк собрался с духом, поднялся и бросился в атаку. Большевики дрогнули, повернули назад и, преследуемые черкесской конницей, понеся большие потери, отхлынули в Калужскую.

Победа. Но в стане победителей настроение далеко не ликующее. Отряд, иззябший и замученный, заночевал в чистом поле под проливным дождем. Сзади – занятый большевиками Вочепший, впереди – Калужская, вокруг которой идет еще бой

передовых частей.

В эту тяжелую минуту по всему полю, по обозному биваку, по рядам войск разнеслась весть:

– Приехал разъезд от Корнилова. Корниловская армия недалеко от нас.

Участники похода передавали мне то неизгладимое впечатление, которое произвело на всех появление «корниловцев».

– И верилось, и немножко мучило сомнение – ведь столько раз обманывали, но безумная радость охватила нас, словно открылась крышка, уже захлопнувшаяся было над нашей головой, и мы увидели опять свет Божий.

На другой день была взята Калужская, и Кубанский отряд расположился наконец со спокойным сердцем на отдых.

14-го состоялось в ауле Шенджий свидание с Покровским. В комнату Корнилова, где, кроме хозяина, собрались генералы Алексеев, Эрдели, Романовский и я, вошел молодой человек в черкеске с генеральскими погонами – стройный, подтянутый, с каким-то холодным, металлическим выражением глаз, по-видимому несколько смущенный своим новым чином, аудиторией и предстоящим разговором. Он произнес краткое приветствие от имени кубанской власти и отряда, Корнилов ответил просто и сдержанно. Познакомились с составом и состоянием отряда, его деятельностью и перешли к самому важному вопросу о соединении.

Корнилов поставил его с исчерпывающей ясностью: полное подчинение командующему и влитие кубанских войск в состав Добровольческой армии.

Покровский скромно, но настойчиво оппонировал: кубанские власти желают иметь свою собственную армию, что соответствует «конституции края»; кубанские добровольцы сроднились со своими частями, привыкли к своим начальникам, и всякие перемены могут вызвать брожение в войсках. Он предлагал сохранение самостоятельного «кубанского отряда» и оперативное подчинение его генералу Корнилову.

Алексеев вспылил.

– Полно те, полковник – извините, не знаю, как вас и величать. Войска тут не при чем – мы знаем хорошо, как относятся они к этому вопросу. Просто вам не хочется поступиться своим самолюбием.

Корнилов сказал внушительно и резко:

– Одна армия и один командующий. Иного положения я не допускаю. Так и передайте своему правительству.

Хотя вопрос и остался открытым, но стратегическая

обстановка не допускала промедления. И потому условились, что на другой день, 15-го, наш обоз перейдет в Калужскую, где и останется временно вместе с кубанским, под небольшим прикрытием; войска же Добровольческой армии и Кубанского отряда в тот же день одновременным ударом захватят станицу Новодмитриевскую, занятую крупными силами большевиков, и там фактически соединятся. Небольшой конный отряд должен был произвести демонстрацию на Эйнем.

Это движение к Новодмитриевской – на юго-запад, а не на Калужскую – в горы, где нас ждали бы голод и распыление – носило в себе идею активной борьбы, свидетельствовало об уверенности в своих силах и предрешало ход дальнейших событий.

* * *

Екатеринодар, между тем, после ухода добровольцев переживал тяжело перемену власти, 1-го марта в город вошли войска Сорокина, и начались неслыханные бесчинства, грабежи и расстрелы. Каждый военный начальник, каждый отдельный красногвардеец имел власть над жизнью «кадет и буржуев». Все тюрьмы, казармы, общественные здания были переполнены арестованными, заподозренными «в сочувствии кадетам». В каждой воинской части действовал свой «военно-революционный суд», выносивший смертные приговоры.

Военные начальники красной гвардии не могли или не хотели остановить бесчинства, а гражданская власть в течение всего марта месяца только еще слагалась. Первоначально, с 1 марта образовался «Комитет общественной безопасности» из представителей революционной демократии Екатеринодара; 3-го был создан объединенный комитет, в состав которого вошли представители екатеринодарского, армавирского и новороссийского комитетов и красной гвардии, и который получил название «Кубанского областного военно-революционного комитета»; он действовал до конца марта; 20-го на съезде советов Кубанского края был избран исключительно из большевиков и левых с. р. – ов «Кубанский областной исполнительный комитет, выделивший из своей среды „совет народных комиссаров“.

В течение марта месяца центральная власть за пределами Екатеринодара почти ничем не проявлялась. Да и в самом Екатеринодаре она вынуждена была вести борьбу с игнорировавшими ее главковерхами Автономовым, Сорокиным,

Чистовым и др., издавать никем не исполнявшиеся декреты и взывать к совести красной гвардии.

Красногвардейщина залила, заполонила всю область. Вопли шли со всех сторон: от демократии, буржуазии и казаков. И в то время, когда не слишком разборчивый в средствах и не отличавшийся чрезмерной гуманностью «Цик» все же требовал от Автономова прекращения бесчинств, военный комендант Екатеринодара Сошенко, поддержанный «главковерхом», издавал приказы, призывавшие пролетариат «к искоренению всей сволочи, которая не хотит замазать свои белые руки»… «Я инвалид – писал Сошенко – и, как поставленный Армией Кавказского фронта во власти коменданта города, слежу за свободой; предупреждаю всю буржуазию, что за нарушение правил (?), выказанных против трудового народа, буду беспощадно расстреливать или уполномачивать лиц мандатами на право расстреливания негодяев Трудового Народа».

Так как «правил» екатеринодарцы так и не узнали, то жили в постоянном смертном страхе за свою судьбу, страстно ожидая избавления.

Глава XXIV. Ледяной поход – бой 15 марта у Ново-Дмитриевской. Договор с кубанцами о присоединении Кубанского отряда к армии. Поход на Екатеринодар

15 марта – Ледяной поход – слава Маркова и Офицерского полка, гордость Добровольческой армии и одно из наиболее ярких воспоминаний каждого первопоходника о минувших днях – не то были, не то сказки.

Всю ночь накануне лил дождь, не прекратившийся и утром. Армия шла по сплошным пространствам воды и жидкой грязи – по дорогам и без дорог – заплывших, и пропадавших в густом тумане, стлавшемся над землею. Холодная вода пропитывала насквозь все платье, текла острыми, пронизывающими струйками за воротник. Люди шли медленно, вздрагивая, от холода и тяжело волоча ноги в разбухших, налитых водою, сапогах. К полудню пошли густые хлопья липкого снега, и подул ветер. Застилает глаза, нос, уши, захватывает дыхание, и лицо колет, словно острыми иглами.

Впереди перестрелка: не доходя 2–3 верст до Новодмитровской – речка, противоположный берег которой занят аванпостами большевиков. Их отбросили огнем наши передовые части, но мост оказался не то снесенным вздувшейся и бурной речкой, не то испорченным противником. Послали конных искать броды.

Колонна сгрудилась к берегу. Две, три хаты небольшого хуторка манили дымками своих труб. Я слез с лошади и с большим трудом пробрался в избу сквозь сплошное месиво человеческих тел. Живая стена больно сжимала со всех сторон; в избе стоял густой туман от дыхания сотни людей и испарений промокшей одежды, носился тошнотный, едкий запах прелой шинельной шерсти и сапог. Но по всему телу разливалась какая-то живительная теплота, отходили окоченевшие члены, было приятно и дремотно.

А снаружи ломились в окна, в двери новые толпы.

– Дайте погреться другим, совести у вас нету.

Переправу искали долго. Корнилов разослал и всех конвойных офицеров. Всадники шли по подернувшему реку у берега тонкому слою льда, проваливались и иногда вместе с

конем погружались в ледяную воду. Наконец, Марковские конные разведчики перешли реку в брод у снесенного моста. Тотчас же мелькнула белая папаха Маркова, и с того берега донесся его громкий голос:

– Всех коней к мосту, полк переправлять верхом и на крупах.

Началась томительно долгая переправа: глубина – в пол корпуса лошади, одновременно проходило не более двух; потом в поводу поворачивали коней обратно за новой очередью пехоты. Попробовали провезти орудие. Лошади шарахнулись, запутались о постромках, повалились вместе с ездовыми в воду и опрокинули пушку. Новая задержка. А в это время переправу начала громить неприятельская артиллерия. Одна за другой ложатся гранаты по снежному полю, падают в реку, вздымая высокие столбы пенящихся брызг. Вот одна упала прямо в костер, разведенный на берегу среди гревшейся толпы добровольцев; разметала, побила, переранила людей.

Между тем, погода вновь переменилась: неожиданно грянул мороз, ветер усилился, началась снежная пурга. Люди и лошади быстро обросли ледяной корой; казалось, все промерзло до самых костей; покоробившаяся, будто деревянная одежда сковала тело; трудно повернуть голову, трудно поднять ногу в стремя.

Уже вечереет – пурга заглушает шум ружейной стрельбы. Не слышно, что делается впереди. Возле дороги, ведущей от переправы к Новодмитриевской, в поле – брошенные орудия и повозки, безнадежно застрявшие в расплывшейся пахоте, подернутой сверху тонкой корой льда. По дороге тянется вереница людей. Словно тени. Местами тут же на дороге лежит неподвижное тело.

– Раненый? Долго молчит. Потом отрицательно качает головой.

– Вы подбодритесь, деревня близко, пропадете ведь здесь, в поле…

Идут и не обращают уже никакого внимания на свист пуль, которыми посыпают дорогу застрявшие где-то в стороне, в темнеющей роще большевики. Проехал Корнилов с одним только штабом – конвой почти весь переправляет пехоту. Стемнело окончательно.

Марков, развернув против станицы Офицерский полк, оказался с ним в полном одиночестве. Покровский, который должен был атаковать станицу с юга, не подошел – счел невозможным двигать по такой дороге и в такую погоду свой отряд. Это обстоятельство спасло большевиков от окружения и стоило нам потом двух лишних боев и лишней крови. Коннице, направленной в охват вправо, не удалось перейти речку и к ночи

она вернулась к общей переправе; батарее, с поврежденными механизмами орудий, застряла в поле; в пятом часу только еще начинала переходить брод голова Партизанского полка – переправа его протянется очевидно до ночи…

Марков решил:

– Ну вот что. Ждать некого. В такую ночь без крыш тут все подохнем в поле. Идем в станицу!

И бросился с полком под убийственный огонь мгновенно затрещавших со всех сторон ружей и пулеметов.

Полузамерзшие, держа в онемевших руках винтовки, падая и проваливаясь в густом месиве грязи, снега и льда, офицеры бежали к станице, ворвались в нее и перемешались в рукопашной схватке с большевиками; гнали их потом до противоположной окраины, встречаемые огнем чуть не из каждого дома, где засели и грелись не ожидавшие такой стремительной атаки и не успевшие построиться красногвардейцы резервных частей.

Когда мы подъехали к окраине станицы, Офицерского полка там уже не было. У околицы толпились артиллеристы застрявшей батареи с лошадьми, спасавшиеся от стужи и стоявшие в нерешительности: по всем темным улицам станицы шла беспорядочная стрельба. Корнилов послал ординарцев разыскать Маркова и полк, но не дождался донесения и поехал с Романовским, несколькими чинами штаба и ординарцами в обычный сборный пункт – станичное правление.

Командующий армией входил туда как раз в тот момент, когда из правления в другие двери выбегала толпа большевиков, встреченная в упор огнем…

Всю ночь шла стрельба в станице; всю ночь переправлялась армия и весь следующий день подбирали и вытаскивали из грязи повозки обоза и артиллерию. Утром большевики атаковали Новодмитриевскую, но с большим уроном были отброшены. И каждый день потом их артиллерия со стороны Григорьевской громила нашу станицу, преимущественно площадь с церковью, где, как всегда, располагался Корнилов с штабом.

В тот же день, 15-го, наш обоз переходил из аула Шенджий в станицу Калужскую, куда прибыл поздно ночью. Раненые и больные весь день лежали в ледяной воде… Смерть витала над лазаретом.

* * *

Мой бронхит свалил меня окончательно. Молодой зауряд-врач, променявший свою мирную профессию на беспокойную и

опасную должность ординарца генерала Маркова, милейший Г. Д. Родичев, выслушал меня и, найдя какие-то необыкновенные шумы, смущенно сказал:

– Дело плохо, надо сбегать за доктором…

Но 17-го приехали представители Кубани на совещание по поводу соединения армий. Пришлось подняться. Предварительно беседовал с Корниловым и Романовским. Выяснилось, что части Кубанского отряда «с оказией» прислали доложить, что они подчиняются только генералу Корнилову и, ест их командование и кубанское правительство почему-либо на это не пойдут, то все они перейдут к нам самовольно. Было решено, чтобы не создавать опасных прецедентов и не подрывать принципов дисциплины, побудить кубанские власти к мирному и добровольному соглашению.

Приехали – атаман, полковник Филимонов, генерал Покровский, председатель и товарищ председателя законодательной рады Рябовол и Султан-Шахим-Гирей, председатель правительства Быч – люди которые суждено было впоследствии много времени еще играть большую роль в трагических судьбах Кубани.

Начались томительно долгие нудные разговоры, к которых одна сторона вынуждена была доказывать элементарные основы военной организации, другая в противовес выдвигала такие аргументы, как «конституция суверенной Кубани», необходимость «автономной армии», как опоры правительства и т. д. Они не договаривали еще одного своего мотива – страха перед личностью Корнилова: как бы вместе с Кубанским отрядом он не поглотил и их призрачную власть, за которую они так цепко держались. Этот страх сквозил в каждом слове. На нас после суровой, жестокой и простой обстановки похода и боя от этого совещания вновь повеяло чем то старым, уже, казалось, похороненным, напомнившим лето 1917 года – с бесконечными дебатами революционной демократии, доканчивавшей разложение армии. Зиму в Новочеркасске и Ростове – с разговорами донского правительства, дум и советов, подготовлявшими вступление на Дон красных войск Сиверса… А за стеною жизнь, настоящая жизнь уже напоминала о себе громким треском рвавшихся на площади и возле дома гранат.

Нелепый спор продолжался.

Корнилов заявил категорически, что он не согласен командовать «автономными» армиями, и пусть в таком случае выбирают другого.

Кубанское правительство согласилось, наконец, на соединение армий, но устами Быча заявило, что оно устраняется

от дальнейшего участия в работе и снимаег с себя всякую ответственность за последствия.

Корнилов вспылил и, ударяя по столу пальцем с надетым на нем перстнем – его характерный жест – сказал:

– Ну нет! Вы не смеете уклоняться. Вы обязаны работать и помогать всеми средствами командующему армией.

Жизнь настойчиво возвращала совещание к суровой действительности: задрожали стены, зазвенели стекла; возле нашего дома разорвалось несколько гранат; одна забрызгала грязью окна, другая разбила ворота…

Кубанские представители – попросили разрешения переговорить между собой. Мы вышли в другую комнату, и» набросав там проект договора, послали его кубанцам.

В окончательной редакции протокол совещания гласил:

> «1. В виду прибытия Добровольческой армии в Кубанскую область и осуществления ею тех же задач, которые поставлены Кубанскому правительственному отряду, для объединения всех сил и средств признается необходимым переход Кубанского правительственного отряда в полное подчинение генералу Корнилову, которому предоставляется право реорганизовать отряд, как это будет признано необходимым.
>
> 2. Законодательная рада, войсковое правительство и войсковой атаман продолжают свою деятельность, всемерно содействуя военным мероприятиям Командующего армией.
>
> 3. Командующий войсками Кубанского края с его начальником штаба отзываются в состав правительства для дальнейшего формирования Кубанской армии»

Подписали: генералы Корнилов, Алексеев, Деникин, Эрдели, Романовский, полковник Филимонов, Быч, Рябовол, Султан-Шахим-Гирей.

Последние строки 3-го пункта, введенные по настоянию кубанских представителей, главным образом, якобы, только для морального удовлетворения смещенного командующего войсками, создали впоследствии большие осложнения во взаимоотношениях между главным командованием и Кубанью.

В этот день. 17-го, после артиллерийского обстрела большевики из Григорьевской перешли опять в наступление на Новодмитриевскую; вечером проникли даже небольшими частями в самую станицу, соединившись здесь с местными иногородними. Несколько часов по улицам жужжали пули, пока, наконец, около полуночи наступление не было отбито. В ближайшие дни

прибыли кубанские войска, влились в Добровольческую армию, которая после расформирования некоторых частей получила следующую организацию[[170]]:

1-я бригада, Генерал Марков. Офицерский полк. 1-й кубанский стрелковый полк. 1-я инженерная рота.

1-я и 4-я батареи.

2-я бригада, Генерал Богаевский. Корниловский ударный полк. Партизанский полк. Пластунский батальон.

2-я инженерная рота. 2-я, 3-я и 5-я батареи.

Конная бригада, Генерал Эрдели. 1-й конный полк.

Кубанский полк (вначале – дивизион). Черкесский полк. Конная батарея.

Общая численность армии возросла до 6 тысяч бойцов. Вместе с тем почти удвоился наш обоз.

Атака Екатеринодара решена. Были сомневающиеся, но не было несогласных, тем более, что армия до этих дней не знала неудачи и выполняла, не взирая на невероятные трудности, всякий маневр, который ей указывал командующий. Второй месяц уже Корнилов шел вперед, разбивая все преграды, которые встречал на своем пути, побеждая большевиков силою своей воли, обаянием своего мужества и доблестью преданных ему добровольцев.

План операции заключался в следующем: 1) разбить отряды противника, действовавшие южнее Екатеринодара, для того, чтобы обеспечить возможность переправы и увеличить запас боевых припасов за счет большевистских складов; 2) внезапным ударом захватить станицу Елисаветинскую в 18 верстах западнее Екатеринодара – пункт, где имелась только паромная переправа и где нас меньше всего ожидали; 3) переправиться через Кубань и атаковать Екатеринодар[[171]].

В двадцатах числах бригада генерала Богаевского после кровопролитного боя захватила Григорьевскую и Смоленскую. Эрдели с конницей пошел к Елисаветинской. 24-го перед рассветом генерал Марков должен был внезапным ударом овладеть Георгие-Афипской станицей и станцией, где был центр закубанских отрядов, гарнизон свыше 5 тысяч человек с артиллерией и бронепоездами и склад боевых припасов.

Неожиданным нападение не вышло: выступление почему-то сильно замешкалось и, когда голова колонны была в расстоянии менее версты от станицы, как-то сразу рассвело. Большевики увидели перед собою на ровном открытом поле не успевшую развернуться компактную массу пехоты, артиллерии, конных и, после минутного замешательства, открыли по ней убийственный огонь, в котором принял участие и показавшийся за поворотом

бронированный поезд Корнилов со штабом в это время обгонял колонну и едва успел отъехать в сторону. Ружейной пулей ранило в ногу навылет генерала Романовского, который, однако, остался с Корниловым. По всему полю заметались люди, орудия… По счастью, впереди по заливным лугам проходила высокая насыпь железной дороги, и Марков успел развернуть и скрыть за ней свои части.

В таком положении колонне Маркова пришлось простоять несколько часов. Впереди – окраина станицы, опоясанная протекавшей в совершенно отвесных берегах речкой Шелш с единственным через нее мостом.

Наступление замерло.

Корнилов послал приказание бригаде Богаевского ускорить движение от Смоленской в глубокий обход Гергие-Афипской с запада. Сам переехал на это направление.

Во второй половине дня Корниловцы и Партизаны, прорезав железную дорогу, вышли в тыл большевикам и после краткого горячего боя ворвались в станицу и на станцию. С востока вошел и Марков. Началось истребление метавшихся по всей станице остатков большевиков, не успевших прорваться к Екатеринодару. На станции, в числе прочей Добычи, нашли и драгоценные для нас снаряды – до 700 штук.

Полки как всегда соперничали в доблести, не омраченной ревнивым чувством. Когда Корнилов благодарил командира Партизанского полка, генерала Казановича, за взятие станицы, он ответил: – Никак нет, Ваше Высокопревосходительство. Всем успехом мы обязаны Митрофану Осиповичу[172]] и его полку…

25 марта подтянулся обоз и пополудни армия двинулась дальше на северо-запад, подорвав железнодорожный мост и выслав отряд для демонстрации против Екатеринодара. Шли вначале вдоль полотна; скоро однако приостановились: подъехал бронированный поезд и эшелон большевиков, с которым наш авангард вел бой до темноты. Колонна свернула в сторону и продолжала путь уже темной ночью. Опять без дорог, сбиваясь и путаясь среди сплошного моря воды, залившей луга и дороги, скрывшей канавы, ямы, обрывы, в которые проваливались люди и повозки. Ночь казалась такой бесконечно долгой, и таким желанным – рассвет…

Пройдя 32 версты, колонна остановилась в ауле Панахес, откуда после небольшого отдыха, 2-я бригада генерала Богаевского двинулась дальше к Елисаветинской переправе, находившейся в десяти верстах и уже захваченной Эрдели.

Переправа через Кубань представляет большой интерес не только технической стороной ее выполнения, но и

необыкновенной смелостью замысла.

У Елисаветинской был паром, подымавший нормально около 15 всадников или 4 повозки с лошадьми, или 50 человек. Позднее откуда то снизу, притянули другой паром, меньшей подъемной силы и с неисправным тросом, действовавший с перерывами. Был еще десяток рыбачьих гребных лодок.

Этими средствами нужно было перебросить армию с ее обозом и беженцами, в составе не менее 9000 человек, до 4000 лошадей и до 600 повозок, орудий, зарядных ящиков.

Операция выполнялась под угрозой с левого берега – со стороны большевиков, владевших железно-дорожным мостом, и под некоторым давлением с правого – со стороны авангарда екатеринодарской группы большевиков.

Переправа протекала в полном порядке и длилась трое суток в условиях почти мирных – за исключением нескольких часов 27-го – без обстрела. Обратный отход с боем потребовал бы значительно большого времени, вернее был невыполним вовсе, и, в случае неудачи боя, грозил армии гибелью.

Переброшенный на правый берег громадный обоз – подвижной тыл армии, прижатый к реке, становился в полную зависимость от какой либо случайности в изменчивой обстановке сражения.

Для того, чтобы решиться на такую операцию, нужна была крепкая вера вождя в свое боевое счастье и в свою армию.

Корнилов не сомневался.

27 марта мы беседовали в штабе о вопросах, связанных с занятием Екатеринодара, как о чем то неизбежном и не допускающим сомнения. Чтобы не повторить ростовской ошибки, решено било временно, до упрочения военного положения, не восстановлять кубанскую власть, а назначить в Екатеринодар генерал-губернатора; эта должность возложена была на меня. Помню, что кубанское правительство отнеслось к этой мере с молчаливым осуждением. И, когда я просил дать мне в помощь опытных общественных деятелей, они предложили мне… уволенного некогда полициймейстера и свое контр-разведочное отдъление[[173]]… В этот же день Корнилов в первый раз отдал приказ о том, чтобы окрестные кубанские станицы выставили и немедленно прислали в состав Добровольческой армии определенное число вооруженных казаков.

Не сомневалась и армия.

Весело толпились у берега, спеша переправиться. Корниловцы и Партизаны, шедшие в этот раз в голове, за конницей. Нервничали Марковские офицеры, и ворчал их генерал, оставленный с бригадой в арьергарде на левом берегу по

окончания переправы обоза.

– Черт знает что! Попадешь к шапочному разбору!.. Хорошее настроение царило и в обозном походном городке, по капризу судьбы вдруг выросшем на берегу Кубани вокруг маленького черкесского аула[[174]]. Сотни повозок; пасущиеся возле, стреноженные лошади; пестрые лохмотья, разложенные для сушки на чуть пробивающейся траве под яркими еще холодными лучами весеннего солнца; дым и треск костров; разбросанные по всему полю группы людей, с нетерпением ждущих своей очереди для переправы и жадно ловящие вести с того берега. Словно во времена очень далекие – табор крестоносцев – безумцев или праведников, пришедших из-за гор и морей под стены святого города…

И у нашей армии был свой маленький «Иерусалим». Пока еще не тот – заветный, далекий с золотыми маковками сорока сороков Божьих церквей… Более близкий:

– Екатеринодар.

Он влек необыкновенной притягательной силой. Даже люди с холодным умом, ясно взвешивавшие военно-политическое положение, не обольщавшиеся слишком радужными надеждами, поддавались невольно его гипнозу. А массы видели в нем конец своим мучениям, прочную почву под ногами и начало новой жизни.

Почему – в этом плохо разбирались, но верили, что так именно будет.

Глава XXV. Штурм Екатеринодара

К 27 марта на правом берегу Кубани была уже конница Эрдели и 2-я бригада Богаевскаго. Бригада Маркова прикрывала обоз.

Смелый замысел, поразивший воображение большевиков и спутавший все расчеты их командования, не был доведен до своего логического конца. Над тактическими принципами, требовавшими быстрого сосредоточения всех сил для решительного удара, восторжествовало чувство человечности – огромная моральная сила вождя, привлекающая к нему сердца воинов и, вместе с тем, иногда сковывающая размах стратегии и тактики.

Корнилов мог, рассчитывая на трудную проходимость левобережных плавней, оставить для прикрытия обоза части вспомогательного назначения – охранную, инженерные роты, команды кубанского правительства, вооруженных чинов обоза и т. п. Бригада Маркова могла бы к вечеру 27-го сосредоточиться в Елисаветинской. Но раненые оставались бы тогда три ночи без крова, и всему многочисленному населению обоза, в случае серьезного наступления с тыла от аула Панахес, грозила опасность попасть в руки большевиков.

И Корнилов оставил на левом берегу треть своих сил и… Маркова, 1-я бригада постепенно, по частям выходила потом в боевую линию, начиная с полудня 28-го и до вечера 29-го.

Начался бой за Екатеринодар.

Утром, 27-го, отряд большевиков из Екатеринодара повел наступление на Елисаветинскую и открыл артиллерийский огонь по станице, явно нащупывая переправу. Сторожевое охранение Корниловцев было потеснено, и Неженцев постепенно ввел в дело весь свой полк. Пополудни генерал Богаевский двинул в бой и Партизанский полк. Генерал Казанович, развернув свои батальоны Партизан, двинулся в атаку без выстрела вдоль Екатеринодарской дороги, поддерживаемый редким огнем своей батареи. Большевики не выдержали атаки и бросились бежать в направлении на Екатеринодар. Бежали густыми толпами, в полном беспорядке и остановились только на линии «фермы»[[175]] и примыкающих к ней хуторов – в 3-х верстах от города.

Казанович, преследуя большевиков, овладел кирпичным заводом, стоявшим на берегу Кубани, в полпути от Екатеринодара.

В виду того, что на Богаевского возложено было только

прикрытие Елисаветинской, а атака Екатеринодара предположена была лишь после переправы всей армии, он счел свою задачу выполненной и, оставив на высоте кирпичного завода сторожевое охранение, отвел полки на ночлег в станицу.

Между тем, в штабе настроение значительно поднялось. Легкость, с которой был одержан успех этого дня, моральная неустойчивость большевиков, доходившие сведения о панике в Екатеринодаре, о начинающейся будто бы эвакуации и, вместе с тем, о подходящих спешно подкреплениях – все это побудило Корнилова поспешить атакой и нанести решительный удар прежде чем большевики опомнятся и усилятся, не дожидаясь сосредоточения всех наших сил. Поздно ночью отдан был приказ ускорить переброску Кубанского стрелкового полка (из бригады Маркова), а Богаевскому совместно с Эрдели атаковать Екатеринодар 28-го марта.

В этом решении многие видели потом причину рокового исхода операции… На войне принимаются не раз решения как будто безрассудные и просто рискованные. Первые кончаются удачей иногда, вторые часто. Успех в этом случае создает полководцу ореол прозорливости и гениальности, неудача обнажает одну только отрицательную сторону решения.

Корнилов рискнул и… ушел из жизни раньше, чем окончилась Екатеринодарская драма. Рок опустил внезапно занавес, и никто не узнает, каким был бы ее эпилог.

Утром 28-го Богаевский двинулся на Екатеринодар. Партизанскому полку приказано было атаковать западную окраину города, Корниловскому – Черноморский вокзал (севернее города). Еще левее шла конница Эрдели в охват города с севера и северо-востока; она должна была преградить большевикам пути по Черноморской и Владикавказской железным дорогам и поднять казаков станицы Пашковской.

Корниловцы, не получив почему-то своевременно приказа, задержались, и Казанович – этот несравненный таран для лобовых ударов – атаковал ферму и прилегающие хутора один и после горячего боя взял их. Не надолго: большевики подвели крупные резервы, при содействии сильного артиллерийского огня перешли в контратаку и вновь овладели фермой. Но слева подходили уже Корниловцы, опрокидывая большевиков; кубанские пластуны полковника Улагая поддержали Партизан и вместе с ними снова ворвались на ферму, закрепив ее за нами окончательно. В этот день пало много храбрых, в числе других ранены генерал Казанович, полковник Улагай, партизан – есуал Лазарев.

Мы подъехали к ферме вскоре после ее занятия. Был ясный

солнечный день. С возвышенности, на которой стояла ферма, открывалась панорама Екатеринодара. Отчетливо видны были контуры домов предместья, кладбище и Черноморский вокзал. Впереди их – длинные неправильные ряды большевистских окопов.

Возле фермы стала наша батарее. Каждый выезд на позицию – это трагедия: десяток патронов – по целям, требующим сотен, молчание – когда пехота не в силах подняться из окопов под сплошным ливнем неприятельского огня. Вправо, ближе к берегу, пошли и скрылись в складках поля и в роще Партизаны и пластуны, направляясь на кожевенные заводы Севернее большой дороги наступает Корниловский полк, и Неженцев идет вперед, не обращая внимания на летящие пули, уже сразившие нескольких его спутников, идет к кургану; откуда должно быть видно, как на ладони, открытое Поле, отделяющее нас от вокзала – поле смерти, которое судьба на этот раз предоставляла преодолеть его полку.

Странно и жутко было видеть от фермы человеческие силуэты[[176]] на вершине бугра среди цепей и огня.

Ферма, где остановился штаб армии, расположена на высоком отвесном берегу Кубани. Она маскировалась несколько рядом безлистых тополей, окаймлявших небольшое опытное поле, примыкающее к ферме с востока. С запада к ней подходила вплотную небольшая четырехугольная роща. Внутри двора – крохотный домик в четыре комнаты, каждая площадью не больше полторы сажени, и рядом сарай. Вся эта резко выделявшаяся на горизонте группа была отчетливо видна с любого места городской окраины и, стоя среди открытого поля, в центре расположения отряда, не могла не привлечь к себе внимания противника.

Перед вечером получено было донесение, что войска правого крыла, под начальством полковника Писарева (Партизаны, пластуны и подошедший батальон Кубанского стр. полка) после жестокого боя овладели предместьем города с кожевенным заводом и идут дальше.

Настроение «фермы» ликующее. Уже никто не сомневается, что Екатеринодар падет. Не было еще случая, чтобы красная гвардия, потеряв окраину, принимала бой внутри города или станицы. Корнилов хотел уже перейти на ночлег в предместье и ему с трудом отсоветовали ехать туда. Коменданту штаба армии послано было приказание – к рассвету выслать квартирьеров…

Разместились тесно – на полу, на соломе: в одной комнатке

– Корнилов с двумя адъютантами, в двух – Романовский со штабом и команда связи, четвертая – для перевязочного пункта; в маленькой кладовке, рядом с комнатой Корнилова, поместился я

с двумя офицерами. Весь корридор был забит мертвецки спящими телами. Богаевский со штабом расположился возле, в роще, под бурками.

Мне плохо спалось от холода, от стонов, раздававшихся всю ночь из перевязочной, и от напряженного ожидания

Утром 29-го нас разбудил треск неприятельских снарядов, в большом числе рвавшихся в районе фермы. В течение трех дней с тех пор батареи большевиков перекрестным огнем осыпали ферму и рощу. Расположение штаба становилось тем более рискованным, что ферма стояла у скрещения дорог – большой и береговой, по которым все время сновали люди и повозки, поддерживавшие сообщение с боевой линией. Но вблизи жилья не было, а Корнилов не хотел отдаляться от войск. Романовский указал командующему на безрассудность подвергаться такой опасности, но, видимо, не очень настойчиво, больше по обязанности, так как и сам лично относился ко всякой опасности с полнейшим равнодушием.

И штаб остался на ферме.

За ночь, оказалось, боевая линия не продвинулась. Писарев дошел до ручья, отделявшего от предместья артиллерийские казармы, обнесенные кругом земляным валом, представлявшим прекрасное оборонительное сооружение, и дальше продвинуться не мог. Атаки повторены были и ночью, и под утро – не оставившим строя раненым Казановичем, вызвали лишь тяжелые потери (ранен был и полковник Писарев), но успехом не увенчались. Казанович предпринимал более «солидную» артиллерийскую подготовку. На нашем языке это означало лишних 15–20 снарядов…

Неженцев оставался в прежнем положении, встретив упорное сопротивление и будучи не в силах преодолеть жестокий огонь противника. Корниловский полк, ослабленный сильно предшествовавшими боями, таял. В его ряды на пополнение влили две – три сотни мобилизованных кубанских казаков по большей части необученных, которые, попадая сразу в самое пекло оглушительного боя, терялись и нервничали. Неженцев страдал за полк, ставил на чашку весов последнюю гирю – свое моральное обаяние и второй день уже безотлучно сидел возле цепей на кургане, вокруг которого неустанно сыпались пули, и рвали в клочья человеческое тело вражеские гранаты.

Только у Эрдели дело шло по-видимому успешно: конница его заняла Сады[177]], пересекла железную дорогу и направилась к Пашковской. Станица эта, расположенная в 10 верстах к востоку от Екатеринодара – большая и многолюдная, была враждебна большевизму с первых его дней, и восстание там в ближайшем

тылу екатеринодарского гарнизона сулило весьма благоприятные перспективы.

Между тем, береговой дорогой к кожевенному заводу мимо нас потянулись части Офицерского полка. Скоро показался и Марков. Идет широким шагом, размахивая нагайкой и издали еще, на ходу ругается:

– Черт знает что! Раздергали мой Кубанский полк, а меня вместо инвалидной команды к обозу пришили. Пустили бы сразу со всей бригадой – я бы уже давно в Екатеринодаре был.

– Не горюй, Сережа, – отвечает Романовский – Екатеринодар от тебя не ушел.

Два близких друга – родственных по духу. В обоих – горит огонь. Только в одном он прорывается наружу ярким пламенем, другой сковал его силой воли и сознанием исключительной нравственной ответственности своего поста…

В виду сосредоточения всей бригады Маркова, решено было разобрать перемешанные части и вечером в 5 часов повторить атаку всем фронтом: Маркову на артиллерийские казармы, Богаевскому против Черноморского вокзала.

Батарее полковника Третьякова редким огнем подготовляет штурм казарм. Цепи наши лежат словно вросшие в землю; нельзя поднять головы, чтобы тотчас же не задела одна из тысяч летящих кругом пуль. В глубокой канаве – Марков с Тимановским, штабом (три человека) и командой разведчиков. Он ходит нервными шагами, нетерпеливо ждет начала атаки. Приказ отдан, но части медлят…

– Ну, видимо, без нас дело не обойдется Вскочил на насыпь и бросился к цепям.

– Друзья, в атаку, вперед!

Ожило поле, поднялись Добровольцы, и все живое бросилось к смертоносному валу – храбрые и робкие – падая, подымаясь, оставляя за собою на взрыхленном снарядами поле, на камнях мостовой судорожно подергивавшиеся и мертвенно неподвижные тела…

Артиллерийские казармы взяты.

Когда известие об этом дошло до левого фланга, Неженцев отдал приказ атаковать. Со своего кургана, на котором Бог хранил его целые сутки, он видел, как цепь поднималась и опять залегала; связанный незримыми нитями с теми, что лежали внизу, он чувствовал, что наступил предел человеческому дерзанию, и что пришла пора пустить в дело «последний резерв». Сошел с холма, перебежал в овраг и поднял цепи.

– Корниловцы, вперед!

Голос застрял в горле. Ударила в голову пуля. Он упал.

Потом поднялся, сделал несколько шагов и повалился опять, убитый наповал второй пулей.

Не стало Митрофана Осиповича Неженцева!

Потрясенные смертью командира, потеряв раненым помощника Неженцева, полковника Индейкина и убитым командира Партизанского батальона, капитана Курочкина, перемешанные цепи Корниловцев, Партизан и елисаветинских казаков схлынули обратно в овраг и окопы.

А к роковому холму подходил последний батальон резерва[[178]], и генерал Казанович с рукой на перевязи, превозмогая боль перебитого плеча, повел его в атаку. Под бешенным огнем, увлекая за собой и елисаветинцев, он опрокинул передовые цепи большевиков и уже в темноте по пятам бежавших двинулся к городу.

Вечером этого дня Богаевский объезжал позицию. «Большевики открыли бешенный пулеметный огонь – рассказывает он – пришлось спешиться и выждать темноты. Ощупью, ориентируясь по стонам раненых, добрался я до холмика с громким названием „штаб Корниловского полка“ почти на линии окопов. Крошечный „форт“ с отважным гарнизоном, среди которого только трое было… живых; остальные бойцы лежали мертвые. Один из живых – временно командующий полком, измученный до потери сознания, спокойно отрапортовал мне о смерти командира, подполковника Неженцева. Он лежал тут же, такой же стройный и тонкий; на груди черкески тускло сверкал георгиевский крест.

От позиции большевиков было несколько десятков шагов. Они заметили наше движение, и пули роем засвистели над нами, впиваясь в тела убитых. Лежа рядом с павшим командиром, я слушал свист пуль и тихий доклад его заместителя о боевом дне»…

К ночи в штабе армии положение фронта определялось следующим образом: Бригада Маркова закрепляется в районе артиллерийских казарм. С партизанами Казановича связь потеряна и о судьбе их ничего неизвестно Корниловский полк, весьма расстроенный, занимает прежние позиции. Конница Эрдели отходит к Садам.

Когда Корнилову доложили о смерти Неженцева, он закрыл лицо руками и долго молчал. Был угрюм и задумчив; ни разу с тех пор шутка не срывалась с его уст, никто не видел больше его улыбки. Не раз он неожиданно прерывал разговор с новым человеком:

– Вы знаете, Неженцев убит, какая тяжелая потеря…

И на минуту замолчит, нервно потирая лоб своим

характерным жестом.

Когда к ферме подвезли на повозке тело Неженцева, Корнилов склонился над ним, долго с глубокой тоской смотрел в лицо того, кто отдал за него свою жизнь, потом перекрестил и поцеловал его, прощаясь, как с любимым сыном…

На ферме как-то все притихли. Иван Павлович говорил мне в этот день:

– Никогда еще я не видел его таким расстроенным. Стараюсь отвлечь его мысли, но плохо удается. Просто так вот по-человечески ужасно жалко его.

Опять ночь на ферме. Опять плохо спится – от холода, от стонов раненых и от… тревожного предчувствия.

* * *

Утром 30-го ко всеобщему сожалению мы узнали, что успех боя был уже почти обеспечен, и только ряд роковых случайностей вырвал его из наших рук Генерал Казанович с вечера 29-го, преследуя бежавших большевиков, прошел мимо участка Кутепова и просил его атаковать одновременно правее и доложить об этом Маркову. Затем, рассеяв легко большевиков, занимавших самую окраину, ворвался в город и, не встречая далее никакого сопротивления, стал подвигаться по улицам вглубь его.

Этот удивительный эпизод, похожий на сказку, сам Казанович передает такими правдивыми и скромными словами:

> «– Стрельба на участке 1-й бригады стихла. Я был уверен, что мои соседи справа также продвигаются по одной из ближайших улиц, а потому приказал от времени до времени кричать: „ура генералу Корнилову“ – с целью обозначить своим место моего нахождения Подвигаясь таким образом, мы достигли Сенной площади. Все было тихо. На площади стали появляться повозки, направлявшиеся на позиции противника. Преимущественно это были санитарные повозки с фельдшерами и сестрами милосердия, но попалась и одна повозка с хлебом, которой мы очень обрадовались, несколько повозок с ружейными патронами и, что особенно ценно, на одной были артиллерийские патроны.
>
> Между тем ночь проходила. Встревоженный долгим отсутствием каких либо сведений о наших частях, я

послал по пройденному нами пути разъезды на отбитых у большевиков конях». Вернувшийся разъезд доложил, что «наших частей нигде не видно, что окраина города в том месте, где мы в него ворвались, занята большевиками, которые невидимому не подозревают о присутствии у них в тылу противника».

Начальник разъезда, принятый за своего, успокоил большевиков, уверив их, что в городе все тихо.

«Потеряв надежду на подход подкреплений, я решил, что дожидаться рассвета среди многолюдного города, в центре расположения противника, имея при себе 250 человек, значит обречь на гибель и их, и себя без всякой пользы для дела. Построив в первой линии Партизан с пулеметами, за ними Елисаветинцев и, наконец, захваченных у большевиков лошадей и повозки, я двинулся назад, приказав на расспросы большевиков отвечать, что мы – „Кавказский отряд“ – идем занимать окопы впереди города. (Такой отряд незадолго перед тем высаживался на вокзале). Подходя к месту нашей последней атаки, мы наткнулись сначала на резервы большевиков, а потом и на первую линию. Наши ответы сначала не возбуждали подозрений, затем раздались удивленные возгласы

– Куда же вы идете, там впереди уже кадеты!

– Их-то нам и надо.

Я рассчитывал, как только подойду вплотную к большевикам, броситься в штыки и пробить себе дорогу. Но большевики мирно беседуя с моими людьми, так с ними перемешались, что нечего было и думать об этом; принимая во внимание подавляющее численное превосходство противника, надо было возможно скорее выбираться на простор.

Все шло благополучно, пока через ряды большевиков не потянулся наш обоз. Тогда они спохватились и открыли нам в тыл огонь, отрезав часть повозок».

А в то же время, услышав огонь, начали стрелять из казарм наши части, пока, наконец, не выяснилось недоразумение.

Настал рассвет, и все кончилось. Еще один счастливый случай потерян. Все складывалось на этот раз к нашему неблагополучию. И гибель всех старших начальников на участке Корниловского полка, удержавшая левое крыло на месте, и то

обстоятельство, что Кутепов, по его словам, не мог поднять в атаку свои перемешанные и расстроенные после вчерашнего боя части, и случайность, что Марков перешел вечером на свой правый фланг, а Кутепов почему-то не послал ему доложить об атаке Казановича.

Шел четвертый день непрерывного боя. Противник проявлял упорство доселе небывалое. Силы его везде, на всех участках боевой линии разительно превышали наши. Какова их действительная численность не знали ни мы, ни вероятно, большевистское командование. Разведка штаба определяла в боевой линии до 18 тысяч бойцов при 2–3 бронепоездах, 2–4 гаубицах и 8-10 легких орудиях.

Но отряды пополнялись, сменялись, прибывали новые со всех сторон. Позднее в Екатеринодарских «Известиях» мы прочли, что защита Екатеринодара обошлась большевикам в 15 тысяч человек, в том числе 10 тысяч ранеными, которыми забиты были все лазареты, все санитарные поезда, непрерывно эвакуируемые на Тихорецкую и Кавказскую.

Как бы то не было, ясно почувствовалось, что темп атаки сильно ослабел.

В этот день генерал Корнилов собрал военный совет – впервые после Ольгинской, где решалось направление движения Добровольческой армии. Я думаю, что на этот шаг побудило его не столько желание выслушать мнение начальников относительно плана военных действий, который был им предрешен, сколько надежда вселить в них убеждение в необходимости решительного штурма Екатеринодара.

Собрались в тесной комнатке Корнилова генералы Алексеев, Романовский, Марков, Богаевский, я и кубанский атаман полковник Филимонов. Во время беседы выяснилась печальная картина положения армии:

Противник во много раз превосходит нас силами и обладает неистощимыми запасами снарядов и патронов.

Наши войска понесли тяжелые потери, в особенности в командном составе. Части перемешаны и до крайности утомлены физически и морально четырехдневным боем. Офицерский полк еще сохранился, Кубанский стрелковый сильно потрепан, из Партизанского осталось не более 300 штыков, еще меньше в Корниловском[[179]]. Замечается редкое для добровольцев явление – утечка из боевой линии в тыл. Казаки расходятся по своим станицам. Конница по-видимому ничего серьезного сделать не может.

Снарядов нет, патронов нет.

Число раненых в лазарете перевалило за полторы тысячи.

Настроение у всех членов совещания тяжелое. Опустили глаза. Один только Марков, склонив голову на плечо Романовскаго, заснул и тихо похрапывает. Кто-то толкнул его.

– Извините, Ваше Высокопревосходительство, разморило – двое суток не ложился…

Корнилов не старался внести успокоительную ноту в нарисованную картину общего положения и не возражал. За ночь он весь как-то осунулся, на лбу легла глубокая складка, придававшая его лицу суровое, страдальческое выражение. Глухим голосом, но резко и отчетливо он сказал:

– Положение действительное тяжелое, и я не вижу другого выхода, как взятие Екатеринодара. Поэтому я решил завтра на рассвете атаковать по всему фронту. Как ваше мнение, господа?

Все генералы, кроме Алексеева, ответили отрицательно. Мы чувствовали, что первый порыв прошел, что настал предел человеческих сил, и об Екатеринодар мы разобьемся; неудача штурма вызовет катастрофу, даже взятие Екатеринодара, вызвав новые большие потери, привело бы армию, еще сильную в поле, к полному распылению ее слабых частей для охраны и защиты большого города И, вместе с тем, мы знали, что штурм все-таки состоится, что он решен бесповоротно.

Наступило тяжелое молчание Его прервал Алексеев.

– Я полагаю, что лучше будет отложить штурм до после завтра, за сутки войска несколько отдохнут, за ночь можно будет произвести перегруппировку на участке Корниловского полка; быть может, станичники подойдут еще на пополнение.

На мой взгляд такое половинчатое решение, в сущности лишь прикрытое колебание, не сулило существенных выгод: сомнительный отдых – в боевых цепях, трата последних патронов и возможность контратаки противника. Отдаляя решительный час, оно сглаживало лишь психологическую остроту данного момента Корнилов сразу согласился.

– И так, будем штурмовать екатеринодар на рассвете 1-го апреля.

Участники совета разошлись сумрачные Люди, близкие к Маркову, рассказывали потом, что, вернувшись в свой штаб, он сказал:

– Наденьте чистое белье, у кого есть. Будем штурмовать Екатеринодар. Екатеринодара не возьмем, а если и возьмем, то погибнем.

После совещания мы остались с Корниловым вдвоем.

– Лавр Георпевич, почему вы так непреклонны в этом вопросе?

– Нет другого выхода, Антон Иванович. Если не возьмем

Екатеринодар, то мне останется пустить себе пулю в лоб.

– Этого вы не можете сделать. Ведь тогда остались бы брошенными тысячи жизней Отчего же нам не оторваться от Екатеринодара, чтобы действительно отдохнуть, устроиться и скомбинировать новую операцию? Ведь в случае неудачи штурма отступить нам едва ли удастся.

– Вы выведете.

Я встал и взволнованно проговорил:

– Ваше Высокопревосходительство! Если генерал Корнилов покончит с собой, то никто не выведет армии – она вся погибнет.

Кто-то вошел, и мы никогда уже не докончили этот разговор. В тот же вечер Корнилов как будто продолжил его с прибывшим с позиции в резерв Казановичем:

– Я думаю – сказал Корнилов – завтра повторить атаку всеми силами. Ваш полк будет у меня в резерве, и я двину его в решительную минуту. Что вы на это скажете?

Казанович ответил, что по его мнению также следует атаковать и он уверен, что атака удастся, раз Корнилов лично будет руководить ею.

– Конечно, – продолжал Корнилов – мы все можем при этом погибнуть. Но, по моему, лучше погибнуть с честью. Отступление теперь тоже равносильно гибели: без снарядов и патронов это будет медленная агония[[180]]…

* * *

В этот день, как и в предыдущие, артиллерия противника долго громила ферму, берег и рощу. Вдоль берега по дороге сновали взад и вперед люди и повозки. Шли из екатеринодарского предместья раненые – группами и поодиночке. Я сидел на берегу и вступал в разговоры, с ними. Осведомленность их обыкновенно не велика – в пределах своей роты, батальона, понятие об общем положении подчас фантастическое, но о настроении частей дают представление довольно определенное: есть усталость и сомнение, но нет уныния; значит далеко еще не все потеряно. С левого фланга по большой дороге проходят люди более подавленные и более пессимистически определяют положение; они, кроме того, голодны и промерзли.

Неожиданная встреча: Идет с беспомощно повисшей рукой – перебита кость – штабс-капитан Бетлинг. Спаситель «Бердичевской группы генералов», начальник юнкерского караула в памятную ночь 27 августа[[181]]. Притерпелось или

пересиливает боль, но лицо веселое. Усадил его на скамейку, поговорили.

У Бетлинга типичный формуляр офицера-первопоходника:

Геройски дрался с немцами и был ими ранен.

В числе первых поступил на должность рядового в Добровольческую армию.

Геройски дрался в кубанском походе и дважды был ранен большевиками.

С одной здоровой рукой продолжал службу после похода и умер от сыпного тифа.

Мир его душе!

И этот храбрый офицер о штурме говорил в тот день как то нерешительно.

– От красногвардейцев, когда идешь в атаку, просто в глазах рябит. Но это ничего. Если бы немного патронов, а главное хоть немножко больше артиллерийского огня. Ведь казармы брали после какого-нибудь десятка гранат…

Как бы то ни было, там – в окопах, в оврагах екатеринодарских огородов, в артиллерийских казармах – люди живут своей жизнью, не отдают себе ясного отчета о грозности общего положения, страдают и слепо верят.

Верят в Корнилова.

А ведь вера творит чудеса!

Глава XXVI. Смерть генерала Корнилова

С раннего утра 31-го. как обычно, начался артиллерийский обстрел всего района фермы. Корнилова снова просили переместить штаб, но он ответил:

– Теперь уже не стоит, завтра шгурм.

Перебросились с Корниловым несколькими незначительными фразами – я не чувствовал тогда, что они будут последними…

Я вышел к восточному краю усадьбы взглянуть на поле боя:

там тихо; в цепях не слышно огня, не заметно движения. Сел на берегу возле фермы. Весеннее солнце стало ярче и теплее; дышит паром земля; внизу под отвесным обрывом тихо и лениво течет Кубань, через головы то и дело проносятся со свистом гранаты, бороздят гладь воды, вздымают столбы брызг, играющих разноцветными переливами на солнце, и отбрасывают от места падения в стороны широкие круги.

Подсели два, три офицера. Но разговор не вяжется, хочется побыть одному. В душе – тягостное чувство, навеянное вчерашней беседой с Корниловым. Нельзя допустить непоправимого… Завтра мы с Романовским, которому я передал разговор с командующим, будем неотступно возле него…

Был восьмой час. Глухой удар в роще: разметались кони, зашевелились люди. Другой совсем рядом – сухой и резкий…

Прошло несколько минут…

– Ваше превосходительство! Генерал Корнилов… Предо мной стоит адъютант командующего, подпоручик Долинский с перекошенным лицом и от сдавившей горло судороги не может произнести больше ни слова. Не нужно. Все понятно.

Генерал Корнилов был один в своей комнате, когда неприятельская граната пробила стену возле окна и ударилась об пол под столом, за которым он сидел; силой взрыва его подбросило по-видимому кверху и ударило об печку. В момент разрыва гранаты в дверях появился Долинский, которого отшвырнуло в сторону. Когда затем Казанович и Долинский вошли первыми в комнату, она была наполнена дымом, а на полу лежал генерал Корнилов, покрытый обломками штукатурки и пылью. Он еще дышал… Кровь сочилась из небольшой ранки в виске и текла из пробитого правого бедра.

…

Долинский не докончил еще своей фразы, как к обрыву подошел Романовский и несколько офицеров, принесли носилки и поставили возле меня Он лежал на них беспомощно. и недвижимо; с закрытыми глазами, с лицом, на котором как будто застыло выражение последних тяжелых дум и последней боли. Я наклонился к нему. Дыхание становилось все тише, тише и угасло.

Сдерживая рыдание, я приник к холодеющей руке почившего вождя…

…

Рок – неумолимый и беспощадный. Щадил долго жизнь человека, глядевшего сотни раз в глаз смерти. Поразил его и душу армии в часы ее наибольшего томления.

Неприятельская граната попала в дом только одна, только в комнату Корнилова, когда он был в ней, и убила только его одного Мистический покров предвечной тайны покрыл пути и свершения неведомой воли.

Вначале смерть главнокомандующего хотели скрыть от армии до вечера. Напрасные старания: весть разнеслась, словно по внушению. Казалось, что самый воздух напоен чем то жутким и тревожным и что там в окопах еще не знают, но уже чувствуют, что свершилось роковое.

Скоро узнали все. Впечатление потрясающее. Люди плакали навзрыд, говорили между собою шепотом, как будто между ними незримо присутствовал властитель их дум. В нем, как в фокусе, сосредоточилось ведь все: идея борьбы, вера в победу, надежда на спасение. И когда его не стало, в сердца храбрых начали закрадываться страх и мучительное сомнение. Ползли слухи, один другого тревожнее, о новых большевистских силах, окружающих армию со всех сторон, о неизбежности плена и гибели.

– Конец всему!

В этой фразе, которая срывалась с уст не только малодушных, но и многих твердых людей, соединились все разнородные чувства и побуждения их: беспредельная горечь потери, сожаление о погибшем, казалось, деле и у иных – животный страх за свою собственную жизнь.

Корабль, как будто, шел к дну, и в моральных низах армии уже зловещим шепотом говорили о том, как его покинуть.

Было или казалось только, но многие верили, что враг знал уже о роковом событии; чудилось им за боевой линией – какое-то необычайное оживление; а в атаках и передвижениях

большевиков видели подтверждение своих догадок. Словно таинственные флюиды перенесли дыхание нашей скорби в окопы врагов, вызвав в них злорадство и смелость.

Повозка с телом покойного, покрытым буркой, в сопровождении текинского конвоя тихо двигалась по дороге в Елисаветинскую. С ней поравнялся ехавший на ферму генерал Алексеев. Сошел с коляски, отдал земной поклон праху, поцеловал в лоб, долго, долго смотрел в спокойное уже, бесстрастное лицо.

Последнее прощание двух дождей, которых связала общность идеи, разъединяло непонятное чувство взаимного личного разлада и соединит через полгода смерть…

В Елисаветинской тело омыли и положили в сосновый гроб, убранный первыми весенними цветами. В виду неопределенности положения армии, надо было скрыть судьбу останков от внимания врагов. Тайно, в присутствии лишь нескольких человек, случайно узнавших о смерти Корнилова, станичный священник дрожащим голосом отслужил панихиду по убиенном воине Лавре… Тайно вечером положили гроб на повозку и, прикрыв его сеном, повезли в обозе уходившей армии. 2 апреля на остановке в немецкой колонии Гначбау предали тело земле. Лишь несколько человек конвоя присутствовало при опускании гроба. И вместо похоронного салюта верных войск, почившего командующего провожал в могилу гром вражеских орудий, обстреливавших колонию. Растерянность и страх, чтобы не обнаружить присутствием старших чинов места упокоения, были так велики, что начальник конвоя доложил мне о погребении только после его окончания. И я стороной, незаметно прошел мимо, чтобы бросить прощальный взгляд на могилу.

Могилу сравняли с землей; сняли план места погребения в трех экземплярах и распределили между тремя лицами. Невдалеке от Корнилова был похоронен молодой друг и любимец его – Неженцев.

Но судьба, безжалостная к вождю при жизни, была безжалостна и к праху его.

Когда ровно через четыре месяца Добровольческая армия вошла победительницей в Екатеринодар, и в Гначбау были посланы представители армии поднять дорогие останки, они нашли в разрытой могиле лишь кусок соснового гроба.

> «В тот же день (2-го апреля) – говорится в описании Особой комиссии по расследованию злодеяний большевиков – Добровольческая армия оставила колонию Гначбау, а уже на следующее утро, 3 апреля,

появились большевики в предшествии разъездов Темрюкского полка. Большевики первым делом бросились искать якобы „зарытые кадетами кассы и драгоценности“. При этих розысках они натолкнулись на свежие могилы. Оба трупа были выкопаны и тут же большевики, увидев на одном из трупов погоны полного генерала, решили, что это генерал Корнилов. Общей уверенности не могла поколебать оставшаяся в Гначбау по нездоровью сестра милосердия Добровольческой армии, которая, по предъявлении ей большевиками трупа для опознания, хотя и признала в нем генерала Корнилова, но стала уверять, что это не он. Труп полковника Неженцева был обратно зарыт в могилу, а тело генерала Корнилова, в одной рубашке, покрытое брезентом повезли в Екатеринодар».

«В городе повозка эта въехала во двор гостиницы Губкина на Соборной площади, где проживали главари советской власти Сорокин, Золотарев, Чистов, Чуприн и другие. Двор быль переполнен красноармейцами; ругали генерала Корнилова. Отдельные увещания из толпы не тревожить умершего человека, ставшего уже безвредным, не помогли; настроение большевистской толпы повышалось. Через некоторое время красноармейцы вывезли на своих руках повозку на улицу. С повозки тело было сброшено на панель. Один из представителей советской власти Золотарев появился пьяный на балконе и, едва держась на ногах, стал хвастаться перед толпой, что это его отряд привез тело Корнилова; но в то же время Сорокин оспаривал у Золотарева честь привоза Корнилова, утверждая, что труп привезен не отрядом Золотарева, а Темрюкцами. Появились фотографы; с покойника были сделаны снимки, после чего тут же проявленные карточки стали бойко ходить по рукам. С трупа была сорвана последняя рубашка, которая раздиралась на части и обрывки разбрасывались кругом. Несколько человек оказались на дереве и стали поднимать труп. Но веревка оборвалась, и тело упало на мостовую. Толпа все прибывала, волновалась и. шумела».

«После речи с балкона стали кричать, что труп надо разорвать на клочки. Наконец отдан был приказ увезти труп за город и сжечь его. Труп был уже неузнаваем: он

представлял из себя бесформенную массу, обезображенную ударами шашек, бросанием на землю. Тело было привезено на городские бойни, где, обложив соломой, стали жечь в присутствии высших представителей большевистской власти, прибывших на это зрелище на автомобилях».

«В один день не удалось докончить этой работы: на следующий день продолжали жечь жалкие останки; жгли и растаптывали ногами и потом опять жгли».

«Через несколько дней после расправы с трупом по городу двигалась какая-то шутовская ряженая процессия; ее сопровождала толпа народа. Это должно было изображать „похороны Корнилова“. Останавливаясь у подъездов, ряженые звонили и требовали денег на помин души Корнилова».

На крутом берегу Кубани, на месте, где испустил последний вздох вождь Добровольческой армии, поставлен скромный деревянный крест; с ним рядом приютился скоро другой – над могилой друга – жены, пережившей его всего лишь на шесть месяцев.

Носились слухи, что после нашего ухода с Кубани в 1920 году большевики сожгли ферму, сорвали кресты и затоптали могилу.

Безумные люди! Огненными буквами записано в летописях имя ратоборца за поруганную русскую землю; его не вырвать грязными руками из памяти народной.

Глава XXVII. Вступление мое в командование Добровольческой армией. Снятие осады Екатеринодара. Бои у Гначбау и Медведовской. Подвиг генерала Маркова

Жизнь шла своим чередом, не позволяла предаваться унынию и от горестных мыслей о тяжкой утрате возвращала к суровой действительности.

В тот момент, когда от берега Кубани понесли носилки с прахом командующего, его начальник штаба обратился ко мне:

– Вы примете командование армией?

– Да.

Не было ни минуты колебания. Официально по званию «помощника командующего армией» мне надлежало заменить убитого. Морально я не имел права уклониться от тяжелой ноши, выпавшей на мою долю в ту минуту, когда армии грозила гибель. Но только временно – здесь, на поле боя…

Поэтому когда мне дали на подпись краткое сообщение о событии, адресованное в Елисаветинскую генералу Алексееву, с приглашением прибыть на ферму, я придал записке форму рапорта, предпослав фразу: «Доношу, что…» Этим я признавал за Алексеевым естественное право его на возглавление организации и, следовательно, на назначение постоянного заместителя павшему командующему.

Штаб перешел в конец рощи, где расположился на перекрестке дорог, под открытым небом, в ожидании генерала Алексеева и Кубанского атамана полковника Филимонова.

Приехал Алексеев и обратился ко мне:

– Ну, Антон Иванович, принимайте тяжелое наследство. Помоги вам Бог!

Мы обменялись крепким рукопожатием.

Вместе с Романовским Алексеев обсуждал проект приказа, при чем оба остановились в нерешительности на одной технической детали: неписаная конституция Добровольческой власти не знала иного определения ее, как термином «командующий армией». От чьего же имени отдавать приказ, как официально определить положение Алексеева? Романовский

разрешил вопрос просто:

– Подпишите «генерал от-инфантерии»… и больше ничего. Армия знает, кто такой генерал Алексеев.

Приказ гласил:

> «Неприятельским снарядом, попавшим в штаб армий, в 7 ч. 30 м. 31 сего марта убит генерал Корнилов.
>
> Пал смертью храбрых человек, любивший Россию больше себя и не могший перенести ее позора.
>
> Все дела покойного свидетельствуют, с какой непоколебимой настойчивостью, энергией и верой в успех дела отдался он на служение Родине.
>
> Бегство из неприятельского плена, августовское выступление, Быхов и выход из него, вступление в ряды Добровольческой армии и славное командование ею – известны всем нам.
>
> Велика потеря наша, но пусть не смутятся тревогой наши сердца и пусть не ослабнет воля к дальнейшей борьбе. Каждому продолжать исполнение своего долга, памятуя, что все мы несем свою лепту на алтарь Отечества.
>
> Вечная память Лавру Георгиевичу Корнилову – нашему незабвенному Вождю и лучшему гражданину Родины. Мир праху его!
>
> В командование армией вступить генералу Деникину»

На бурках возле дороги сели в круг Алексеев, Романовский, Филимонов и я Я очертил общее положение армии Оно несколько ухудшилось в тактическом отношении после 30 марта: на фронте Эрдели началось продвижение противника в охват нашего левого фланга, которое Эрдели сдерживал лихими конными атаками; но, тем не менее, он потеснен и оставил Сады. Туда направлен последний резерв – Казанович с тремястами Партизан.

Но не в этом главное. Смерть вождя нанесла последний удар утомленной нравственно и физически пятидневным боем армии, повергнув ее в отчаяние

Поэтому, ставя себе главной целью спасение армии, я решил сегодня с закатом снять осаду Екатеринодара и быстром маршем, большими переходами вывести армию Из-под удара екатеринодарской группы большевистских войск.

Возражений не последовало. Мы приступили к обсуждению марш рута, пользуясь сведениями Кубанского атамана о настроении станиц и о существующих переправах через реки. Выбор был небольшой: на востоке Екатеринодар, на юге река

Кубань, с единственной паромной переправой, на западе плавни и море; наш злейший враг – железная дорога опоясывала нас кругом линиями Тимашевская – Крымская – Екатеринодар…

И я отдал приказ Добровольческой армии с наступлением темноты двигаться на север, в направлении станицы Старовеличковской.

В темную ночь армия уходила от Екатеринедара в неизвестное.

Шли молча, понуро, подавленные, но в полном порядке; в движении колонн и обоза заметна была даже какая-то подчеркнутая исполнительность и дисциплина. Но когда с рассветом с бронированного поезда, увидевшего наш конный арьергард, открыли по нем артиллерийский огонь, отдаленные звуки его производили на колонну явно тягостное, доселе не замечавшееся впечатление и вызвали большую торопливость.

Необходимо было дать время улечься настроению и избегать боя. Этого, однако, сделать не удалось. Пройдя около 40 верст авангард был встречен ружейным огнем из попутной станицы и завязал перестрелку. Скоро по нас открыли огонь одно или два большевистских орудия. Колонна продолжала путь, не задерживаясь и свернув лишь несколько вправо полевой дорожкой. Я выехал к кургану, возле станицы. Противник, к счастью, оказался плохо организованным. Наши части скоро ворвались в станицу, батарее не более чем тремя выстрелами прогнала неприятельские орудия, а появившиеся на горизонте во множестве подкрепления – повозки с большевистской пехотой – после двух трех артиллерийских выстрелов умчались назад.

Так как и Старо и Ново-Величковская станицы оказались занятыми неприятелем, я приказал армии переправляться через реку Понура между двумя этими пунктами по двум мостам, возле немецкой колонии Гначбау, где и заночевать. Конница стала у переправы на хуторах.

Арьергард (ранее авангард) прикрывал это движение, занимая до ночи взятую станицу, которую большевики обстреливали артиллерией. Мост был испорчен, пришлось его долго чинить, и переправа продолжалась почти до рассвета.

На походе я узнал, что из станицы Елисаветинской не удалось вывезти всех раненых. Начальник обоза доложил, что окрестности были уже заняты противником, перевозочных средств одной Елисаветинской не хватало и пришлось оставить в ней 64 тяжело раненых из числа безнадежных и тех, которые безусловно не в состоянии были бы вынести предстоящие форсированные марши. С ранеными оставлены врач, сестры и денежные средства. Глубокой болью сжалось сердце. Я не знал

тогда, где смерть вернее. Но чувствовал, что язык цифр и фактов для них не убедителен, что они – обреченные – имели нравственное право осудить ушедших…

После 50 верстного перехода отдых в Гначбау вышел весьма относительный: колония не в состоянии была вместить всех, многим пришлось оставаться под открытым небом на улице.

План предстоящего похода заключался в том, чтобы, двигаясь на восток, вырваться из густой сети железных дорог и более организованного района борьбы «Кубанско-Черноморской советской республики», сосредоточиться на перепутье трех «республик» и трех военных командований – Дона, Кубани и Ставрополя и оттуда, в зависимости от обстановки, начать новую операцию.

Во исполнение этого плана 2-го апреля нам предстояло прорваться через линию Черноморской железной дороги; я наметил для этого станцию Медведовскую. Обозы были готовы с утра, и выступление предположено с таким расчетом, чтобы подойти к железной дороге в темноте. Но около полудня неожиданно со стороны Ново-Величковской обнаружилось наступление крупного отряда большевиков, и скоро колония с ее скученным добровольческим населением подверглась жестокому обстрелу десятка орудий; в то же время большевистская пехота начала охватывать нас с востока, стремясь запереть в излучине реки.

При таких условиях о скрытности движения и перехода через жел. дор. не могло быть и речи. И я решился на крайнее средство – отсидеться в Гначбау до темноты с тем, чтобы под покровом ночи скрыть свой марш и от Гначбауского и от Медведовского противника. Обоз приказал сократить до минимума: изъять все лишние войсковые повозки; бросить лишние орудия, унеся затворы и испортив лафеты, так как для оставшихся 30 снарядов достаточно было и четырех орудий; беженцам оставить по повозке на 6 человек, остальные порубить. В голову обоза поставить лазарет.

Части 2-й бригады выдвинулись за окраину, залегли и приостановили наступление противника. Но артиллерийский обстрел колонии продолжался с исключительной силой.

Этот день останется в памяти первопоходников навсегда. В первый раз за три войны мне пришлось увидеть панику. Когда люди, прижатые к реке и потерявшие надежду на спасение, теряли всякий критерий реальной обстановки и находились во власти самых нелепых, самых фантастических слухов. Когда обнажались худшие инстинкты, эгоизм, недоверие и подозрительность – друг к другу, к начальству, одной части к

другой. Главным образом в многолюдном населении обоза. В войсковых частях было лучше, но и там создалось очень нервное настроение. Вероятно среди малодушного элемента шли разные разговоры, потому что в продолжение пяти, шести часов в штаб приходили вести одна другой тревожнее. Получаю, например, донесение, что один из полков конницы решил отделиться от армии и прорываться отдельно… Что организуется много конных партий, предполагающих распылиться… Входит бледный ротмистр Шапрон, адъютант Алексеева и трагическим шепотом докладывает, что в двух полках решили спасаться ценою выдачи большевикам старших начальников и добровольческой казны… предусмотрено какое-то участие в этом деле Баткина… что сводный офицерский эскадрон прибыл добровольно для охраны генерала Алексеева: От всякой охраны лично я отказался, но много позднее узнал, что тревожные слухи дошли до штаба 1-й бригады и полковник Тимановский[[182]] придвинул незаметно к штабу армии «на всякий случай» офицерскую часть.

Люди теряли самообладание, и надо было спасать их помимо их собственной воли. Мы с Иваном Павловичем, который сохранял, как всегда, невозмутимое спокойствие, успокаивали волнующихся, спорили с сановными беженцами, добивавшимися права следовать чуть ли не с авангардом, и ждали с нетерпением наступления все примиряющих сумерек. Часовая стрелка в этот день, как всегда в таких случаях, передвигалась с необычайной медленностью…

Перед самым закатом приказал начать движение колонны на север, по Старо-Величковской дороге. Движение замечено было противником, и лощину, где проходит дорога, большевики начали обстреливать ураганным огнем. Но уже спускалась ночь, огонь стал беспорядочнее, голова колонны круто свернула вправо и пошла на северо-восток по дороге на Медведовскую.

Вырвались!

Колонна двигалась в полной тишине, не преследуемая противником. В авангарде шла бригада Маркова. Конница Эрдели была направлена севернее Медведовской для рассредоточения, отвлечения внимания противника и порчи пути; к югу для той же цели двинут Черкесский полк.

После 24 верстного перехода, в начале пятого часа утра, замелькали вдали огни железнодорожной будки на переезде, в версте от станции. Марков послал вперед конных разведчиков, но не утерпел, и поскакал туда сам. Когда я со штабом подъехал к будке, было еще совсем темно и совершенно тихо. Марков, как оказалось, от лица арестованного дорожного сторожа переговорил уже по телефону с дежурившими на станции

большевиками, услышавшими подозрительный шум и успокоил их. На станции оказались два эшелона красногвардейцев и бронепоезд. Подходила голова бригады, и тихо начали разворачиваться возле полотна цепи. Батальон Офицерского полка двинут Марковым против станции Медведовской, инженерная рота для порчи полотна и обеспечения с юга, а для захвата станицы, расположенной в полуверсте от будки, я послал конные команды штаба армии, во главе с подполковником генерального штаба Ряснянским.

Ждем результатов захвата станции. На будку приходит штабс-ротмистр Алексеев, сын Михаила Васильевича.

– Отец просит разрешения прийти в будку.

– Пожалуйста, милости просим.

Это, очевидно – для примера другим подчеркнутое подчинение драконовским правилам порядка в движении колонны и, вместе с тем, подтверждение не писанной добровольческой конституции: полное невмешательство в дело организации, управления и вождения армией. Такая система завелась с первого дня и строго соблюдается, сильно облегчая командование.

В ночной тишине послышался вдруг один, другой ружейный выстрел. Оказалось потом, что наш разъезд неосторожно спугнул большевиков – часовых на станции. И через несколько минуть со стороны станции показалась какая-то движущаяся громада:

Бронированный поезд.

Медленно, с закрытыми огнями, надвигается на нас; только свет от открытой топки скользит по полотну и заставляет бесшумно отбегать в сторону залегших возле полотна людей. Поезд уже в нескольких шагах от переезда» У будки все: генерал Алексеев, командующий армией со штабом и генерал Марков. Одна граната, несколько лент пулемета и… в командном составе армии произошли бы серьезные перемены.

Марков с нагайкой в руке бросился к паровозу.

– Поезд стой! Раздавишь с. с. Разве не видишь что свои?.!

Поезд остановился.

И пока ошалевший машинист пришел в себя, Марков выхватил у кого-то из стрелков ручную гранату и бросил ее в машину. Мгновенно из всех вагонов открыли по нас сильнейший огонь из ружей и пулеметов. Только с открытых орудийных площадок не успели дать ни одного выстрела.

Между тем Миончинский продвинул к углу будки орудие и под градом пуль почти в упор навел его по поезду.

– Отходи в сторону от поезда, ложись! – раздается громкий голос Маркова.

Грянул выстрел, граната ударила в паровоз, и он с треском повалился передней частью на полотно. Дугая, третья по блиндированным вагонам… И тогда со всех сторон бросились к поезду «Марковцы». С ними и их генерал. Стреляли в стенки вагонов, взбирались на крышу, рубили топорами отверстия и сквозь них бросали бомбы; принесли из будки смоляной пакли, и скоро запылали два вагона. Большевики проявили большое мужество и не сдавались:

из вагонов шла беспрерывная стрельба. Отдельные фигуры выскакивали на полотно и тут же попадали на штыки. Было видно, как из горящих вагонов, наполненных удушливым дымом, сквозь пробитый пол обгорелые люди выбрасывались вниз и ползли по полотну.

Скоро все кончилось. Слышался еще только треск горящих патронов.

Горячо обнимаю виновника этого беспримерного дела.

– Не задет?

– От большевиков Бог миловал – улыбается Марков. – А вот свои палят, как оглашенные. Один выстрелил над самым моим ухом – до сих пор ничего не слышу.

Нельзя терять времени. Послал приказание подвести на рысях вторую батарею, а колонне полным ходом продолжать путь. Уже светало. Перед нашими глазами развернулась картина боя. На севере Боровский с Офицерским полком атакует станцию, оттуда большевики обстреливают сильным огнем будку, переезд и дорогу в станицу; под этим огнем полковник Тимановский – невозмутимый «Степаныч», как его звал Марков, с неизменной трубкой в зубах, подгоняет залегших Кубанских стрелков, ведя их в подкрепление к Боровскому. С юга задымилась труба паровоза, и новый бронированный поезд открыл артиллерийский огонь по колонне; несколькими выстрелами, однако, наша батарее отогнала поезд, и орудия его на пределе продолжали вести по колонне безвредный огонь. Мимо нас через переезд тянутся бесконечной вереницей повозки, попадают в сплошную полосу огня, мчатся рысью и ныряют в станичные улицы. А на самом переезде идет лихорадочная работа: здесь тушат, расцепляют вагоны и выгружают из них драгоценные боевые припасы.

Какое счастье! В этот день взято более 400 артиллерийских и около 100 тысяч ружейных патронов. По добровольческим масштабам на несколько боев мы обеспечены.

Боровский взял станцию, перебил много большевиков; часть их успела погрузиться в поезд, который ушел на север.

Конница, потрепанная несколько при переходе через железнодорожный мост встретившимся бронепоездом, перешла

линию еще севернее.

После привала в Медведовской армия без всякого давления противника двигалась дальше 17 верст в мирную, дружественную нам станицу Дядьковскую. Потери наши были совершенно ничтожны.

Когда я в этот день обгонял колонну, то по лицам добровольцев, по их ответам и разговорам почувствовал ясно, что хотя тяжелая рана, нанесенная смертью любимого вождя, болит и заживет не скоро, но что наваждение уже прошло; что по этой широкой кубанской степи, под ясным солнцем идет прежняя Добровольческая армия, сильная духом, способная опять бороться за Родину и побеждать.

Глава XXVIII. Поход на восток – от Дядьковской до Успенской; трагедия раненых; жизнь на Кубани

В Дядьковской – дневка; в покое, тепле, сытости и уюте. Встретили нас станичники хлебом-солью и добрым словом; для меня это наиболее тягостная процедура, принимая во внимание последствия, ожидающие говоривших… после нашего ухода. Но иногда нельзя было избегнуть этих встреч.

Для осуществления общего плана операции, чтобы спутать все предположения большевиков внезапностью и быстротою, я решил еще больше увеличить суточные переходы, посадив всю пехоту на подводы. Идее эта применялась частично и не без пользы красногвардейскими отрядами.

Но это решение ставило с необыкновенной остротой вопрос о лазарете. Положение тяжело раненых становилось безвыходным. Они целыми днями тряслись в повозках по ухабам. В течение последних трех суток (от вечера 31-го до вечера 2-го) обоз прошел свыше 90 верст, при чем «отдых» в Гначбау не превышал 6–8 часов, а некоторые повозки не разгружались за это время вовсе. В дальнейшем ожидались еще большие трудности. Смертность в лазарете, в котором, кроме того, уже иссякли лечебные и перевязочные средства, достигла ужасных размеров. Предстояло одно из двух: или изменить систему маршей, подвергая армию возможности окружения и гибели, или обречь походом на верную смерть тяжело раненых добровольцев.

Жизнь подсказывала и третье решение, морально наиболее тяжелое: получено было известие из Елисаветинской, что станичники сберегли наших раненых, и последние отправлены в местные лазареты. Впоследствии это сведение оказалось ложным: из 64 оставленных только 14 спаслись, остальных большевики зверски убили. Но тогда оно сыграло известную роль в принятии решения, спасшего много жизней.

Я пригласил на совещание старших начальников и некоторых общественных деятелей, следовавших при армии. Очертив им обстановку, предложил на обсуждение вопрос: брать ли с собой всех раненых или оставить тяжелых в станице, приняв меры, до известной степени гарантирующие их безопасность. Ответственные начальники почти все, в том числе Алексеев, Романовский и Марков высказались за оставление; другие говорили о гнетущем впечатлении, которое вызовет факт

оставления.

Я знал, конечно, что вся моральная тяжесть этого решения падет на мою голову; что для личного моего успокоения легче было бы взять всех с собою и предоставить разрешение вопроса на волю судьбы; и все же, после тяжкого раздумья, приказал оставить.

Врачи составили список раненых, не могущих выдержать перевозки, которых оказалось около 200; станичный сбор постановил принять их на свое попечение! оставлена была известная сумма денег, врач, сестры и несколько заложников, выведенных кубанцами из Екатеринодара, среди которых был влиятельный большевик Лиманский, давший слово оберечь раненых и исполнивший добросовестно свое обещание. Остался по собственному желанию и «матрос» Баткин, услугами которого более не пользовались.

Фактически осталось только 119 человек – остальные были увезены своими однополчанами. Впоследствии оказалось, что из оставшихся двое были убиты большевиками, шестнадцать умерло и сто один спаслось.

Переживая мысленно минувшее, я живо помню свои душевные терзания. И делясь тогда впечатлениями с Романовским, мы оба пришли к одинаковому заключению: подписать приказ заставлял тяжелый долг начальника; но, если бы пришлось оставаться самим, мы предпочли бы пустить себе пулю в лоб.

5 апреля двинулись дальше на восток; предстоял снова переход через магистраль Владикавказской дороги, казавшуюся нам весьма опасной, благодаря сосредоточению в двух ее узлах (Екатеринодар, Тихорецкая) крупных сил и многих бронепоездов.

В Приказе, отданном накануне, ночлег был фиктивно назначен в станице Березанской. И только на плотине через речку Журавку выставленный штабом маяк сворачивал колонны по действительному направлению к станице Журавской. Предосторожность оказалась не лишней: большевики своевременно узнали о приказе и усиленно рыли окопы для нашей встречи у Березанской.

Добровольческой армии, противно всей природе военного дела, приходилось двигаться не вдоль, а поперек железных дорог, находившихся в руках большевиков; эти нормальные средства связи и питания были для нас злейшими врагами, которых нужно было портить и разрушать; они сжимали нас в своих тисках, готовя тактические западни и окружения; простая сама по себе операция перехода осложнялась до крайности наличием 8-10 верстного обоза, который требовал для своей переброски сносной

дороги, железнодорожного переезда и несколько часов времени. В нашем активе были, однако, маневр и абсолютное повиновение войск, противопостановленное медлительной системе большевистского митингового управления.

После привала в Журавской, все выходы из которой во избежание сношений жителей с большевиками заблаговременно были закрыты конницей, с наступлением темноты армия приступила к выполнению задачи. Конница, двинувшись Двумя колоннами, быстрым налетом захватила станцию Выселки и разъезд южнее ее и испортила там пути. Авангард – бригада Богаевского (Марков с Богаевским чередовались постоянно в этих переходах) – занял средний переезд и обеспечил его справа и слева ближней порчей рельс и выставлением заслонов с артиллерией. И под покровом ночи колонна главных сил, соблюдая возможную тишину, быстро стала пересекать железную дорогу. Я пропускал колонну у переезда. Люди на повозках обоза подозрительно косились в сторону убегавших рельс – не появятся ли оттуда огненные глаза поезда, со вздохом облегчения слушали раскаты отдаленного взрыва – наша конница рвет путь и, благополучно миновав переезд; снимали шапки и крестились – «пронес Господь»!

Перейдя благополучно и этот раз железнодорожную линию и сделав за сутки 65 верст, армия заночевала в станице Бейсугской. На другой день предстояла еще более трудная задача – вырваться из треугольника дорог через преграждавшую нам путь линию Тихорецкая – Кавказская; между этими двумя узловыми пунктами было всего лишь 60 верст – расстояние допускавшее удар с двух сторон. Опять усиленные демонстрации в южном направлении, к станицам Тифлисской и Казанской; быстрый марш на северо-восток; большой привал во Владимирской; заслоны конницы против Тихорецкого и Кавказского узлов; в третий раз благополучный переезд ночью через железную дорогу между станциями Малороссийской и Мирской. И к утру, 8-го, армия, после 45 верстного перехода, сосредоточилась в Хоперских хуторах. Подоспевший неприятельский броневой поезд успел лишь обстрелять безвредным огнем хвост арьергарда.

В хуторах пробыли недолго, так как обнаружилось наступление неприятеля – вероятно передовых частей войск, подвозимых по железной дороге; вести затяжной бой в непосредственной близости от нее (7 верст) было нецелесообразно, и армия ночным переходом перешла в станицу Ильинскую, еще 23 версты, где и расположилась на более продолжительный отдых.

Стратегическое положение армии к этому времени

значительно изменилось: в 9 дней она прошла от Екатеринодара 220 верст почти без потерь и вырвалась из густой сети железных дорог, получив известную свободу действий; добровольцы были измучены физически, но отдохнули и окрепли морально.

В эти дни советские газеты были полны ликующих сообщений о «разгроме и ликвидации белогвардейских банд, разорявшихся по всему северному Кавказу»…

В Ильинской мы отдыхали три дня. 10 и 11-го большевики наступали на станицу небольшими силами с запада, со стороны станции Малороссийской, но были легко отброшены. 12-го я перевел армию в Успенскую, обеспечив ее заслонами у Дмитриевской, Расшеватской и в сторону посада Наволокинского. В последнем направлении двинут был Эрдели с частью конницы, поддержанной потом батальоном Корниловцев; по полученным сведениям в этом районе находился штаб местных революционных войск и, что самое главное, склад боевых припасов. Последних, к сожалению, не нашли, отряд понес потери до 60 человек, и поиск этот принес пользу лишь тем, что окончательно укрепил большевиков в мысли о нашем намерении «пробиваться на восток». Между тем, в эти дни, уже забрезжил свет с севера… Предусматривая поворот туда, я избегал тревожить неприятеля в этом направлении, посылая к ж. д. линии Тихорецкая-Торговая только лазутчиков.

Почти два месяца похода по Кубани сблизили нас с краем. Добровольцы, принимаемые в станицах с сердечною лаской, платили кубанским казакам таким же отношением. Поступавшие в ряды армии кубанцы составляли в ней элемент храбрый, надежный и располагающий к себе своей открытой, мягкой натурой, своей простой и ясной верой в тех, кто их вели. Казалось, что боевые узы, совместные страдания и обильно пролитая за общее дело кровь свяжут навсегда армию с краем. Так было. И понадобилось потом полтора года упорной работы кубанской социалистической демократии, по обидной иронии судьбы – главным образом тех представителей ее, которые нашли убежище при армии, чтобы порвать эти связующие нити на погибель краю и добровольческому делу.

Настроение Кубани постепенно менялось. Неверно было бы утверждать, что область «изжила большевизм». В казачьей среде, как я уже говорил, больны им были не более 30 % – фронтовая молодежь. Несомненно, день за днем шло некоторое численное перемещение и из этого лагеря в стан противников большевизма. Но главное – советский режим с его неизбежными приемами – убийствами, грабежами и насилиями стал вызывать уже в казачьей среде волю к активному сопротивлению. Оно возникало

во многих местах стихийно, неорганизованно и разрозненно. Так, кроме Ейского округа, поднялись серьезные восстания в районах Армавира и Кавказской, кроваво подавленные большевиками, обрушившимися во всеоружии военной техники на почти безоружные казачьи ополчения. Во многих более крупных центрах, наряду с казачьей революционной демократией, все еще искавшей путей примирения с советской властью, наряду с пассивной обывательщиной и довольно значительным числом «нейтрального» офицерства, проявляли скрытую руководящую деятельность и активные элементы: создавались тайные кружки и организации, в состав которых, кроме энергичных офицеров и более видных казаков, входили представители городской буржуазии и демократии. Без всякого навыка к подобной работе, все эти организации имели уже свои длинные мартирологи выданных и замученных. Но большинство кубанских станиц были предоставлены самим себе. Вся их интеллигенция – терроризованный священник, нейтральный учитель и скрывающийся офицер – опасливо сторонились еще от участия в движении, не вполне доверяя его искренности и серьезности. Тем более, что советская власть на эту именно интеллигенцию воздвигла жестокое гонение, в особенности на духовенство.

Простое свершение христианских обрядов становилось подчас… подвигом.

Помню, как в станице Ильинской мы собрались в первый раз отслужить панихиду по «болярине Лавре и воинах Добровольческой армии, на поле брани живот свой положивших». Долго не отворялись царские врата; наконец, после напоминания вышли растерянные священник и диакон, и последний глухим, дрожащим голосом возгласил прошение об упокоении… «православных воинов, на брани убиенных». Внушительный шепот коменданта штаба армии исправил текст поминания.

Другой раз, в Успенской: шло великопостное служение; я подошел к аналою исповедаться. Священник, увидав командующего армией, затрясся весь и не мог произнести ни слова; потом, покрыв поспешно мою голову епитрахилью, не исповедуя, прочел разрешительную молитву…

Только впоследствии я убедился, что опасения духовенства имели веские основания. В одной Кубанской области весною 1918 года было зверски замучено 22 священнослужителя за такие вины, как «сочувствие кадетам и буржуям», осуждение большевиков в проповедях и исполнение треб для проходивших частей Добровольческой армии. Аресты, насилия и издевательства над духовенством производились широко и повсеместно. Это гонение частью сознательно, частью

инстинктивно обрушивалось не столько на людей, сколько на идею. Так в станице Незамаевской большевики замучили священника Юанна Пригоровского – человека, по определению следственной комиссии «крайнего левого направления». В ночь под Пасху, во время службы, посреди церкви красногвардейцы выкололи ему глаза, отрезали уши и нос и размозжили голову. С невероятным цинизмом они оскверняли храмы и священные предметы богослужения. Помню, какое тяжелое впечатление произвело на меня посещение церкви в станице Кореновской после взятия ее с боя добровольцами в июле: стены ее исписаны были циничными надписями, иконы размалеваны гнусными рисунками, алтарь обращен в отхожее место, при чем для этого пользовались священными сосудами…

Нравственное одичание, шедшее извне, возбуждало пока лишь глухой и робкий протест в неизвращенной еще народной целине.

Просматривая впоследствии синодик замученных священнослужителей, я, к душевному своему успокоению, не нашел в нем имен тех, которых подвел невольно под большевистскую опалу.

Кубанские казаки начали присоединяться к армии целыми сотнями. Кубанские правители, шедшие с армией, во всех попутных станицах созывали станичные сборы и объявляли мобилизацию. Правда, многие казаки тотчас по выступлении в поход возвращались домой, многие должны были за отсутствием оружия следовать при обозе. Тем не менее, в рядах армии к маю было более двух тысяч кубанцев.

Появился и другой неожиданный способ комплектования – пленные красногвардейцы. Поступали они в небольшом числе – обычно в качестве обозных, иногда и в строй. Но само по себе явление это служило симптомом известного положительного сдвига в добровольческой психологии.

Между кубанскими властями и командованием установились отношения сухие, но вполне корректные. Атаман, правительство и рада ни разу не делали попыток нарушить прерогативы командования и, кроме мобилизации, несколько помогли растаявшей казне Алексеева – миллионом рублей и принятием на себя реквизиционных квитанций за взятых лошадей и другое снабжение. В частях, не исключая и кубанских, к правительству и раде относились иронически и враждебно. Им не могли простить их самостийно-революционное прошлое и то обстоятельство, что «радянский отряд», в 160 здоровых, молодых всадников, на отличных конях, ездил в обозе даже тогда, когда в бой шли раненые.

Что касается революционности, то диапазон ее, впрочем, в представлении известной части офицерства имел весьма широкие размеры. В Успенской ко мне заходит М. В. Родзянко и говорит:

– Мне очень тяжело об этом говорить, но все же решил с вами посоветоваться. До меня дошло, что офицеры считают меня главным виновником революции и всех последующих бед. Возмущаются и моим присутствием при армии. Скажите, Антон Иванович, откровенно, если я в тягость, то останусь в станице, а там уж что Бог даст.

Я успокоил старика. Не стоит обращать внимания на праздные речи.

Добровольцы чистились, мылись, чинились и отсыпались. Даже ходили в станичный кинематограф, с безбожно рябившими в глазах картинами. Создавалась видимость мирной обстановки, хоть на время успокаивающая издерганные нервы. Части проверили свой состав: добровольцы, самовольно покинувшие ряды, составляли лишь редкое исключение.

Сохранились записанные кем-то слова Маркова, обращенные по этому поводу к Офицерскому полку:

> «Ныне армия вышла из под ударов, оправилась, вновь сформировалась и готова к новым боям… Но я слышал, что в минувший тяжелый период жизни армии некоторые из вас, не веря в успех, покинули наши ряды и попытались спрятаться в селах. Нам хорошо известно, какая их постигла участь, они не спасли свою драгоценную шкуру. Если же кто-либо еще желает уйти к мирной жизни, пусть скажет заранее. Удерживать не стану. Вольному – воля, спасенному – рай, и… к черту».

В Успенской в первый раз мне удалось собрать часть армии на смотр.

Одежда в заплатах. Загорелые, обветренные лица. Открытый, доверчивый взгляд. Трогательная простота и скромность, как будто не ими пройден путь крови, страданий и яркого подвига.

Говорил им о славном их прошлом, о предстоящих задачах армии, о надеждах на спасение Родины. Чувствовал, что слово идет от сердца к сердцу.

Где они теперь? Спят непробудным сном, усеяв костями своими необъятные русские просторы от Орла до Владикавказа, от Камышина до Киева.

«Не многие вернулись с поля»…

Глава XXIX. Восстания на Дону и на Кубани. Возвращение армии на Дон. Бои у Горькой балки и Лежанки. Освобождение Задонья

Еще во время остановки в Ильинской пришли хорошие вести с двух сторон.

Из кубанской станицы Прочноокопской – наиболее твердой и всегда враждебно относившейся к большевизму, явились посланцы с просьбой идти к ним, в Лабинский отдел. Они рассказывали, что, не взирая на неудачу, постигшую недавно восставших, вся тайная организация, охватывающая Лабинский, Баталпашинский, частью Майкопский и Кавказский отделы – сохранилась, что оружие спрятано, закопано в землю, что, наконец, сделаны все приготовления к захвату города Армавира, где имеются в изобилии в большевистских складах оружие и боевые припасы.

В то же время до нас доносились настойчивые слухи с Дона, что казачество там встало поголовно и что даже столица донская – Новочеркасск – в руках восставших.

Армия воспрянула духом окончательно.

Обозные стратеги волновались больше всех, роптали на долгую остановку и рвались дальше – к полуоткрывшимся окнам, в которых вдруг мелькнул свет. Но военно-политическая обстановка оставалась для штаба все еще далеко неясной. Нужно было убедиться в серьезности всех этих сведений, чтобы решить, куда идти. От этого зависела дальнейшая судьба армии.

С этой целью на Дон, в станицу Егорлыцкую был послан с разъездом полковник генерального штаба Барцевич. Одновременно, по просьбе кубанского правительства и генерала Покровского, в его распоряжение предоставлен был отряд в составе до четырех кубанских и черкесских сотен, который должен был составить ядро восставших лабинцев; отряд стал сосредоточиваться к югу, в станице Расшеватской, в ожидании решения общего плана операции.

Барцевич выехал из Ильинской, в несколько дней сделал лихой пробег в 200 верст (туда и обратно) и вернулся в Успенскую с сотней донских казаков в восторженном настроении:

Дон восстал. Задонские станицы ополчились поголовно, свергли советскую власть, восстановили командование и дисциплину и ведут отчаянную борьбу с большевиками. Бьют

челом Добровольческой армии, просят забыть старое и поскорее придти на помощь.

Одно только было не совсем ясно в привезенных сведениях: советские войска по всему северо-донскому фронту проявляли странную нервность, и через Ростов, якобы, один за другим уходили спешно на юг большевистские эшелоны с войсками и имуществом под давлением какой-то неведомой силы…

Жизнь Дона под властью большевиков в своей бытовой и социальной сущности ничем не отличалась от кубанской. Поэтому я не буду останавливаться на этом вопросе, ограничившись лишь фактической стороной его.

12 февраля на заседание войскового круга явился большевик – войсковой старшина Голубов и крикнул народным избранникам, которые все, кроме атамана Назарова, почтительно встали при его появлении:

– В России совершается социальная революция, а здесь какая-то сволочь разговоры разговаривает. Вон!

Круг был разогнан, атаман, председатель круга Волошинов и некоторые члены круга расстреляны. В Новочеркасске поставлен командующим войсками вахмистр Смирнов, в Ростове сел «председатель областного совета Донской республики» демагог, урядник Подтелков. Голубов остался в стороне и затаил злобу. Началось внедрение советской власти в пределы области, сопровождавшееся, как обычно, захватом пришлыми элементами местного управления, грабежами, реквизициями, арестами, убийствами[[183]]], казнями и карательными экспедициями против непокорных станиц. Хлеб и скот большими партиями увозились на север; одновременно начался дележ казачьей земли крестьянами. Казаки скоро убедились, что с новым строем они теряют все: землю, волю и власть. Даже большие надежды донских казаков на возможность поживиться несметными богатствами ростовской буржуазии, оказались тщетными: буржуазия всецело поступила в эксплуатацию пришлого «российского пролетариата». Этот новый властитель, однако, в противоположность положению, создавшемуся на Кубани, оказался одинаково непереносимым как для обираемого им казачьего, так и для покровительствуемого крестьянского населения. В отчете о заседаниях областного съезда советов Донской республики, состоявшегося в последних числах марта, отмечена враждебность массы его членов к советскому коммунизму и неудержимая тяга к «беспартийности». При полном одобрении всего крестьянского большинства съезда, один из депутатов «со слезами на глазах, с хватающей за душу непосредственностью поведал, как крестьяне партий не знали и

шли за тем, кто „крепче“ обещал трудовому люду. А в результате появились свои „трудовые“ красногвардейцы, которые понаставили пулеметы и пушки и держат в страхе и трепете население»[184]]…

Такое настроение обнаружилось в донской деревне уже на второй месяц большевистского управления.

Пробуждение казачества пошло стремительнее, чем было его падение.

Уже в середине марта началось сильное брожение в различных местах области и тайная организация казачьих сил, чему немало способствовала наступившая весенняя распутица, мешавшая передвижению большевистских карательных отрядов. 18 марта впервые собирается в станице Манычской съезд Черкасского округа, на котором казаки выносят постановления против советской власти. Во второй половине марта начались и вооруженные выступления.

Одновременно шла и личная борьба между властями Ростова и Новочеркасска. Подтелков, связавший свою судьбу всецело с «рабочим пролетариатом», относился крайне подозрительно к деятельности Голубова и Смирнова, проводивших большевизм свой – донской, казачий, хотя и родственный советскому, но замкнутый в областных рамках и не допускавший господства пришлой власти.

Новочеркасск скоро стал в резкую оппозицию к областному комитету. Голубов, вернувшись из своей поездки по области, привез в Новочеркасск скрывавшегося Митрофана Богаевского, бывшего помощника атамана Каледина. Настроение донской столицы очевидно сильно изменилось, если Богаевскому, приведенному с гауптвахты, дали возможность на многолюдном митинге в течение трех часов говорить казакам «всю правду». Казаки слушали с умилением и клялись «не выдавать».

Областной комитет, обеспокоенный этим, потребовал прибытия в Ростов Голубова и Смирнова и выдачи Богаевскаго. Новочеркасск отказал. Тогда прибыл из Ростова карательный отряд и ликвидировал дело: Смирнов и Голубов бежали, при чем последний в одной из станиц был опознан и убит. Такая же участь постигла вскоре и Подтелкова. М. Богаевского бросили все, его перевезли большевики в Ростов и там вскоре расстреляли.

Так окончилось содружество двух большевизмов – советского и казачьего[185]]. На Дону теперь противопоставлены были без средостения две силы: советская власть и подымающееся казачество.

1-го апреля казаки станиц, ближайших к Новочеркасску, под начальством войскового старшины Фетисова внезапным

нападением захватили город. Незначительное число коммунистов и красной гвардии было истреблено или бежало, а необольшевики, казаки голубовской дивизии, объявили «нейтралитет». Это, плохо организованное выступление полувооруженного ополчения кончилось печально: 5-го большевики обратно овладели городом, подвергнув население жестокому грабежу и новым казням. Голубовская дивизия предусмотрительно ушла из города накануне, захватив награбленное за время расположения в Новочеркасске добро. По дороге, впрочем, оно было отнято и перераспределено восставшими станицами.

Неудача не остановила, однако, донцов. Организация вооруженного сопротивления продолжалась открыто, и к середине апреля под командой вернувшегося после скитаний в Сальских степях походного атамана, генерала Попова, объединились следующие значительные группы донских ополчений: 1. Задонская группа генерала Семенова (район Кагальницкой – Егорлыцкой); 2. Южная группа – полковника Денисова (район станицы Заплавской); 3. Северная группа – бывший «Степной отряд» – войскового старшины Семилетова (район Раздорской). Во всех этих отрядах было свыше 10 тысяч бойцов. Кроме того, и в других отдаленных округах формировались более или менее значительные ополчения.

«Пробуждение Дона» было, однако, далеко еще не полным. И походному атаману, подготовлявшему наступление на Новочеркасск, приходилось не раз посылать карательные экспедиции в нераскаявшиеся еще и поддерживавшие большевиков станицы, расположенные даже в непосредственной близости от атаманского штаба.

Всех этих подробностей тогда в Успенской мы еще не знали. Но и сведений, привезенных Барцевичем, было достаточно, чтобы сделать выбор: «окно», а не «окошко»; возможность связи и сношений с внешним миром, а не оторванность и одиночество в кавказских предгорьях; новая военно-политическая база, а не продолжение партизанской войны. Словом – на Дон!

Генерал Алексеев разделял всецело мой взгляд.

Пригласил кубанских правителей, очертил им обстановку и сообщил решение. Приняли с грустью, но без протеста. Выразили опасение, как бы уход с Кубани не вызвал оставления рядов армии кубанскими казаками и черкесами… Опасение оказалось неосновательным: сотни, которые должны были идти по собственному желанию с Покровским в Лабинский отдел, услышав о движении армии на север, не пожелали расставаться с нею.

Окончательное успокоение среди кубанцев внесло мое заявление: Кубани я не брошу; военно-политическая обстановка рисуется в таком виде, что армия в ближайшее время будет сосредоточена в непосредственной близости от Кубанской области и, выполняя общероссийскую задачу, при первой возможности окажет вооруженную помощь для освобождения Кубани

Предстояло снова в четвертый раз пересечь железную дорогу.

Выступление назначил на 16 апреля, пополудни, с таким расчетом, чтобы в сумерках скрыть направление движения и до рассвета закончить переход дороги на участке между станциями Ея и Белая Глина. На этих станциях стояли бронированные поезда, а последняя была занята большим отрядом красногвардейцев.

Выходить из Успенской пришлось под прикрытием арьергарда, в виду начавшегося с юга на станицу наступления большевиков.

Двинул колонну умышленно на северо-восток; авангард вступил в бой с охранением ставропольских красногвардейских отрядов; колонна приостановилась и, как только стемнело, свернула в лево; двигались в ночной темноте, по дорогам и без дорог – целиною по указанию сбивавшихся с пути проводников; под утро подошли к глухому железнодорожному переезду и начали переход. Опять конница и авангард разошлись веером – в разные стороны, в виде заслонов. Взрывают путь. Повозки крупной рысью по две в ряд, гремя по каменному настилу, летят через полотно. Опять люди вздыхают полной грудью, крестятся и поздравляют друг друга:

Ну, слава Богу, кажется перевалили последнюю!..

Но настал рассвет, и от Белой Глины показался дым бронепоезда; у переезда начали ложиться неприятельские гранаты; позади бронепоезда стал высаживаться из вагонов эшелон пехоты и густыми цепями рассыпаться по полю; из арьергарда донесли, что противник «нажимает»; голову обоза из села Горькой Балки встретили огнем…

Войска спокойно развернулись, открыли огонь наши батареи. И скоро нависшие было тучи рассеялись: выступление местных большевиков в Горькой Балке, яром большевистском притоне, оказалось не серьезным и скоро было ликвидировано, арьергард отбил противника, а бронепоезд и эшелоны из Белой Глины держались в почтительном отдалении несколькими десятками выстрелов нашей артиллерии и огнем правого заслона.

После большого привала в Горькой Балке, во время которого не прекращался бой к востоку от села, армия двинулась дальше и

заночевала в кубанской станице Плоской.

В последние сутки армия прошла с боем до 70 верст!

Прибывший в Плоскую с Дона разъезд донес, что на Задонские станицы идет большое наступление с севера и запада, и донское начальство просит помощи.

19-го я послал 1-й конный полк полковника Глазенапа прямо на Егорлыцкую, а армию перевел в Лежанку – то село, которое некогда первое встретило Добровольческую армию огнем и жестоко за это поплатилось. Теперь там все мирно. В окрестностях, однако, собрались большие отряды красной гвардии.

Задонье, между тем, переживало критический момент: большевики, после недолгого сопротивления заняли вновь станицы Кагальницкую и Мечетинскую и начали в них творить расправу; вооруженные казаки отступили на юг, к Егорлыцкой, куда также подходит неприятель. Таким образом, вместо отдыха приходилось начинать новую серьезную операцию для освобождения Задонья.

Оставив в Лежанке бригаду Маркова и конницу Эрдели, я приказал Богаевскому со 2-й бригадой идти в тыл большевистским войскам в направлении на Гуляй-Борисовку; Глазенапу, после освобождения Егорлыцкой, наступать на север, объединив командование над донскими ополчениями.

20-го Богаевский выступил. Вероятно это движение было замечено большевиками и сочтено за отход, так как в тот же день со стороны Лопанки началось наступление на Лежанку больших сил красной гвардии.

В течении двух дней большевистская артиллерия громила село, а неприятельские цепи распространялись все дальше к западу, в охват нашего расположения, отрезая пути на Егорлыцкую. Частными атаками Марков временно отбрасывал их, но они возвращались опять большими массами. Это несоизмеримое превосходство сил и наличие в селе беззащитного обоза сильно препятствовало маневренной свободе Марковской бригады.

Были дни страстной недели – пятница и суббота. В станичной церкви шло богослужение, выносили плащаницу, и люди в скорби и трепете молились «поправшему смерть» под гром рвавшихся вокруг церковной ограды снарядов. Из алтаря слышалось слово Божье о прощении, а за селом лилась кровь, и брат убивал брата…

В субботу огонь был особенно жестоким. Зашел ко мне Романовский и пригласил в штаб – для выслушания доклада Оказалось, что никакого доклада не предстоит, а… мой дом –

легкая деревянная постройка, и во дворе его шрапнель уже переранила наших лошадей, тогда как штаб помещался в солидном каменном здании. Предосторожность, однако, на этот раз вышла некстати: в дом штаба и смежное с ним помещение лазарета ударило несколько гранат и нас осыпало известкой, но не тронуло, убило и переранило вновь нескольких человек в лазарете.

Обозу деваться некуда – ждет своей участи и терпит. Наконец, пришло донесение, что Егорлыцкая свободна. Когда Глазенап подошел к станице, в ней оказались только немногие казачки и дети – все казаки с семьям и пожитками ушли в степь, не рассчитывая на свои силы и не желая покоряться большевикам. Их вернули и вооруженных присоединили к отряду; а 21-го большевики, приближавшиеся к станице, внезапно повернули назад и побежали. Сказывалось очевидно появление Богаевскаго.

Многострадальный обоз двинулся, наконец, кружным путем в Егорлыцкую.

Уход его развязал руки нашему отряду в Лежанке. К вечеру Марков перешел в контратаку по всему фронту и блестящим ударом Офицерского полка, двинувшегося вперед молча, без единого выстрела, опрокинул большевиков, обратившихся в бегство; их преследовала конница. Я приказал Маркову задержаться в Лежанке на сутки и затем перейти в Егорлыцкую кружным путем, через полустанок Целину, чтобы одновременно отбросить отряд «анархистов», оперировавший с бронепоездами между Торговой и Егорлыцкой (станция Атаман) и испортить там на несколько верст железнодорожный путь.

Богаевский в эти дни по пути разметал отряды большевиков, разбил их главные силы под Гуляй-Борисовкой и расположился в этом селе. Глазенап занял Мечетинскую, потом и Кагальницкую. Задонье было освобождено.

Боевое счастье вновь явно начинало склоняться на сторону Добровольческой армии…

Поздно ночью я со штабом ехал по дороге в Егорлыцкую, спеша к пасхальной заутрене. Беседовали с Иваном Павловичем. С первых же дней совместной службы в качестве командующего и начальника штаба между нами установились отношения интимной дружбы, основанные на удивительном понимании друг друга и таком единомыслии, которого мне лично еще не приходилось испытывать в своих отношениях с людьми. Работать вместе было легко и приятно.

Ночь была тихая и звездная. Справа на горизонте догорал зажженный кем-то после боя хутор и бросал кровавый отблеск в небесную высь и в степь. Гулко стучали подковы по не оттаявшей

еще земле. Перешли в шаг.

– Вот – резонерствовал Иван Павлович – два месяца тому назад мы проходили это же место, начиная поход. Когда мы были сильнее – тогда или теперь? Я думаю, что теперь. Жизнь толкла нас отчаянно в своей чертовой ступке и не истолкла; закалилось лишь терпение и воля; и вот эта сопротивляемость, которая не поддается никаким ударам.

– Что же, Иван Павлович, как говорит внутренний голос – одолеем?

– Как сказать… Мне кажется, что теперь мы выйдем на большую дорогу. Но попадем в жестокую схватку между двумя процессами – распада и сложения здоровых народных сил. Они по существу будут бороться, а мы, в зависимости от течения их борьбы, одолеем или пропадем.

Я вспомнил этот разговор через два года, также в Святую ночь – в Средиземном море, на русском корабле под английским флагом, уносившем меня от последнего клочка Русской земли и от свежей могилы друга…

В стороне от дороги послышался шорох.

– Стой!

В темноте обрисовались силуэты казачьей заставы. Въезжаем на площадь.

Светится ярко храм. Полон народа. Радость Светлого праздника соединилась сегодня с избавлением от «нашествия», с воскресением надежд. Радостно гудят колокола, радостно шумит вся церковь в ответ на всеблагую весть:

– Воистину воскресе!

В мареве дыма кадильного и дрожащего света паникадил сияют лица молящихся.

«… И нас сподоби чистым сердцем Тебе славити».

Глава XXX. Поход Дроздовцев

С приходом на Дон восстановилась связь с внешним миром, и мы были ошеломлены нахлынувшими со всех сторон неожиданными новостями.

23 апреля донским ополчением Южной группы полковника Денисова взят был Новочеркасск.

Глава посланного туда от Добровольческой армии представительства, генерал Кисляков в своих донесениях определять положение с большой осторожностью: «полевой армии» в истинном смысле этого слова на Дону еще нет; казаки по прежнему в боях не всегда устойчивы; то, что там происходит – пока еще только местные восстания, не вполне прочно взятые в руки». Но несомненно, что восстания эти серьезные и на большом пространстве, за исключением двух округов, обнимающие всю область.

Как будто в подтверждение его слов, 25 апреля большевики с севера повели наступление на Новочеркасск и ко второму дню овладели уже предместьем города, переживавшего часы сильнейшей паники. Казаки не устояли и начали отступать. Порыв казался исчерпанным, и дело проигранным. Уже жителям несчастного Новочеркасска мерещились новые ужасы кровавой расправы…

Но в наиболее тяжелый момент свершилось чудо: неожиданно в семи верстах к западу от Новочеркасска, у Каменного Брода, появился Офицерский отряд полковника Дроздовского, силою до 1000 бойцов, который и решил участь боя.

Это была новая героическая сказка на темном фоне русской смуты[[186]]: два месяца из Румынии, от Ясс до Новочеркасска, более тысячи верст отряд этот шел с боями на соединение с Добровольческой армией.

Чтобы удержать от падения Румынский фронт, генерал Щербачев в конце 1917 года приступил к переформированию корпусов в национальные соединения, главным образом украинские.

Мера эта не привела ни к каким результатам, не находя почвы в солдатских настроениях и встретив решительное противодействие со стороны большей части офицерства.

Общие невыносимые условия армейского быта, введение выборного начала и система национализации создали большие кадры бездомного офицерства, которое частью разъезжалось, но в большинстве оседало в крупных городах фронта и в пунктах

квартирования высших штабов.

Едва ли где либо слагалась более благоприятная обстановка для добровольческих формирований, чем на Румынском фронте. Тем более, что сохранившие дисциплину румынские войска сдерживали в известной мере своеволие распущенных тыловых банд русских солдат, а союзные миссии имели тогда еще большое влияние на румынское правительство.

Офицерство ждало приказа, ждало, чтобы во главе его стал авторитетный начальник, который повел бы его на борьбу. Это стремление усилилось еще более, когда стало известным, что генерал Алексеев прислал письмо генералу Щербачеву, которым сообщал о создании Добровольческой армии, об ее целях и приглашал добровольцев на Дон.

Генерал Щербачев не нашел в себе достаточно решимости чтобы стать во главе движения, или, по крайней мере, придать ему сразу широкие организованные формы. Несомненно, в этом отношении на него повлияло резкое противодействие украинского комиссара Чеботаренко и колебания французской миссии, увлекавшейся тогда созданием самостоятельной Украины и «союзной украинской армии» – идеей, стоявшей в прямом противоречии с началами положенными в основу добровольчества. Не взяв на себя задачи формирования добровольческого отряда, ген. Щербачев, вместе с тем, не откликнулся и на просьбу ген. Алексеева об организации планомерной отправки офицеров на Дон.

Инициатива пришла снизу.

Полковник Михаил Гордеевич Дроздовский, бывший командующий 14-й пех. дивизией, после настойчивых просьб в начале декабря получил разрешение Щербачева формировать добровольческие части.

Храбрый, решительный, упорный человек, большой патриот, Дроздовский взялся лихорадочно за дело, и скоро в окрестностях Ясс (местечко Соколы) он начал собирать добровольцев, преимущественно офицеров, и накапливать военное имущество. Какими оригинальными средствами приобреталось оно, об этом образно говорят участники:

> «… Добровольцы устраивали у дорог, вблизи путей следования удиравших с фронта частей, засады; неожиданно нападали на голову колонны и захватывали ехавших обыкновенно впереди начальников; затем быстро и решительно отбирали от всех оружие, увозили с собой необходимое имущество, а иногда забирали и офицеров, следовавших с частями».

Никакого сопротивления солдаты при этом не оказывали.

Таким путем отряд Дроздовского приобрел оружие, легкую и тяжелую артиллерию, техническое имущество и обоз.

Между тем, украинская рада приступила к сепаратным переговорам о мире с центральными державами Только это обстоятельство раскрыло, наконец, глаза союзным миссиям, и они более внимательно начали относиться к идее добровольчества. Под их влиянием и ген. Щербачев решил расширить рамки организации и приказом от 24 января учредил должность «инспектора по формированию добровольческих частей». Дроздовский был отодвинут на задний план, а инспектором назначен ген. – майор Кельчевский; при нем большой штаб; предположено было формировать отдельный корпус.

В своем первом приказе новый руководитель обратился к добровольцам со следующими словами:

> «… Вам, скромные, но мужественные люди, отрезвевшая Русь скажет спасибо за то, что среди всеобщей злобы и подозрений, среди анархии и подлых наветов… вы с верой в Бога взялись за великое дело по созданию силы для борьбы по восстановлению порядка и на защиту будущего Учредительного Собрания»…

Офицерство стекалось, однако, медленно. Те причины духовного переутомления и всеобщего нравственного упадка, о которых я говорил раньше, здесь, на Румынском фронте обострялись еще отсутствием имени. Имени – привлекающего, импонирующего, вокруг которого могли бы объединиться все, сохранившие «светильники непогашенными».

В результате из всего огромного численно Румынского фронта к концу февраля собралось в районе Ясс (1-я бригада полк. Дроздовского) около 900 добровольцев, в районе Кишинева (2-я бриг. ген. – лейт. Белозора) около 800. Одесса, в которой насчитывалось до 15 тысяч офицеров, эта – «прекрасная Ниневия, где все продается и все покупается» – не откликнулась вовсе…

27 января Украина заключила мир с Германией. Румыния увидела себя окончательно покинутой и в свою очередь приступила к сепаратным переговорам с центральными державами. К этому времени, согласно распоряжению совета комиссаров, русские корпуса начали оставлять фронт, пытаясь прорваться на север, к Черновицам. Румыны выставили там заслон и, убедившись в полной не боеспособности наших войск, приступили к их разоружению. Лишь несколько частей оказало незначительное сопротивление; все огромные запасы фронта остались в руках румын.

Вместе с тем, изменилось в корне отношение румын к русским, которых они считали единственными виновниками своих бедствий; широкою волною разлилась ненависть ко всему русскому, не раз проявлявшаяся в насилиях и оскорблениях, которые трудно будет когда-либо забыть неповинному, и без того исстрадавшемуся тогда русскому офицерству.

В виду нового направления румынской политики, добровольческая организация, проповедывавшая «борьбу с большевиками и немцами – их пособниками», оказалась в чрезвычайно трудном положении. Немецкие войска начали движение в пределы незанятой еще Румынии; сочувствовавшие нам союзные миссии стали покидать Яссы; румынское главное командование в угоду немцам предъявило категорическое требование о разоружении и расформировании добровольческих бригад.

Но окончательный удар делу был нанесен во второй половине февраля. Генералы Щербачев и Кельчевский решили, что при сложившемся международном и внутреннем русском положении дальнейшее существование организации бесцельно. Был отдан приказ, который освобождал офицеров от данных ими обязательств и распускал добровольческие бригады.

Казалось, что дело окончательно погибло. Ген. Белозор распустил 2-ю бригаду. Но полковник Дроздовский не мог помириться с крушением начатого им дела. С непоколебимым упорством он говорил смущенным офицерам:

– Не падайте духом! Только действительно неодолимая сила может остановить нас, а не ожидание возможности встретиться с ней.

Дроздовский категорически отказался исполнить приказ и продолжал формирование, поставив себе целью скорейшее движение на Дон, на соединение с Добровольческой армией, куда влекли всех имена признанных вождей – Корнилова и Алексеева.

Бригада откликнулась на призыв своего начальника.

Начались пререкания со штабом фронта и борьба с румынским правительством, постановившим не выпускать бригаду с оружием в руках. Дроздовский заявил решительно, что «разоружение добровольцев не будет столь безболезненно, как это кажется правительству» и что «при первых враждебных действиях город (Яссы) и королевский дворец могут быть жестоко обстреляны артиллерийским огнем».

Действительно, 23 февраля, когда румынские войска начали окружать м. Соколы, против них развернулись цепи добровольцев, а жерла тяжелых орудий направлены были на Ясский дворец…

Румыны поспешно увели свои части и на следующий же день

подали поезда для перевозки добровольцев в Кишинев. А 4 марта вся бригада сосредоточилась в м Дубоссарах, на левом берегу Днестра, вне оккупационной зоны румын.

Надежды на пополнение из состава Кишиневского гарнизона оправдались лишь в самой ничтожной степени – присоединилось всего несколько десятков офицеров Психология уклонявшегося от борьбы офицерства как нельзя лучше сказалась в приводимом полковником Колтышевым разговоре:

– Мы привыкли исполнять приказы, а нас вместо этого просят; или даже объявляют, что действительность данных нами обязательств уничтожается и что мы лучше сделаем, если не пойдем на такое рискованное предприятие. Ясно, что старшие начальники сами не верят в успех, а им виднее…

Среди такого подавленного настроения, общей растерянности и безнадежности в Дубоссарах жил своей особенной жизнью отряд русских людей, готовясь к походу и борьбе. Впереди более тысячи верст пути, две серьезные водные преграды (Буг и Днепр), весенние разливы, край, взбаламученный до дна. А наперерез, непрерывно двигающиеся от Бирзулы к Одессе и к востоку, по приглашению Украинской рады, австро-германские эшелоны. Впереди полная неизвестность – волнующая, но не заглушающая молодого порыва, жажды подвига и веры в правоту своего дела; веры, все возрастающей, в своего начальника, в свое будущее.

Ее не подорвали даже докатившиеся тогда уже до Днестра зловещие слухи о падении Дона.

* * *

Поход Дроздовцев от м. Сокольи до Новочеркасска длился 61 день. 7 марта выступили из Дубоссар; 15-го переправились через Буг у Александровки; 28-го перешли Днепр у Берислaвля; 3 апреля заняли Мелитополь; 21 появились под Ростовом. Шли форсированными маршами, с посаженной на подводы пехотой, делая иногда 60–70 верст в сутки[[187]].

Весь юг России переживал тогда сумбурный период безвременья и безвластья несколько иначе, чем юго-восток. Земельный вопрос был уже там захватным правом разрешен; на юге не было столкновения интересов таких социально враждебных групп, как казачество и «иногородние»; на юге не оседали еще в сколько-нибудь широких размерах фронтовые части, а без них формирование красной гвардии и утверждение советской власти шло замедленным темпом. Наконец, движение австро-германских войск в глубь территории, опережаемое

самыми фантастическими и угрожающими слухами, создавало психологическую обстановку, далеко не благоприятную для большевиков.

Край был наполнен небольшими неорганизованными шайками, не имевшими решительно никакой политической физиономии, и своими разбоями доводившими до отчаяния все население.

Благодаря этим обстоятельствам отряд Дроздовского шел, почти не встречая сопротивления; только у Каховки и Мелитополя он столкнулся с большевистскими бандами, которые разбил легко, почти не понеся потерь, и принял участие в двух, трех карательных экспедициях.

Население повсюду встречало отряд как своих избавителей и, не отдавая себе отчета ни в силе, ни в назначении его, с приходом добровольцев связывало надежды на окончание смуты. Из далеких сел приходили депутации, прося спасти их от «душегубов», привозили связанными своих большевиков, членов советов – и преступных, и может быть невинных – «на суд и расправу».

Суд бывал краток, расправа жестока.

А на утро отряд уходил дальше, оставляя за собой разворошенный муравейник, кипящие страсти и затаенную месть.

26 марта Дроздовскому подчинился шедший походом из Измаила отряд полковника Жебрака в составе 130 человек, главным образом из состава так называемой Балтийской морской дивизии (пехотн.).

По пути к Дроздовцам присоединялись новые добровольцы, преимущественно офицеры и учащаяся молодежь. Обычная картина: после прихода отряда в большой населенный пункт, в ряды его записываются сотни добровольцев; но через день приходят по следам Дроздовцев немцы, в населении появляется уверенность в прочности положения, и с отрядом уходят лишь несколько человек. Нередко в местах записи слышались разговоры:

– А много ли вас?

– Тысяча.

– Ну, с этим Россию не спасешь!..

Не встречая серьезного сопротивления со стороны большевиков, Дроздовский оказался, однако, в весьма трудном положении в отношении другого врага: по следам отряда, иногда опережая его по железной дороге, шли австро-германцы… Если широкая политика и истинные мотивы движения их были не совсем ясны для офицерства, то во всяком случае психология огромной части его не могла воспринять это событие иначе, как в

смысле продолжения войны и вражеского нашествия на русскую землю. И, вместе с тем, не было ни сил, ни какой либо возможности противодействовать им, не отказываясь от выполнения своей основной задачи. Наконец, эти враги гонят перед собой большевиков, расчищая тем путь отряду.

Дроздовский объявил, что отряд сохраняет в отношении австро-германцев нейтралитет и ведет борьбу только против большевиков.

Не было ли еще инструкций из главной немецкой квартиры, не разобрались немцы в истинных побуждениях добровольцев или просто сравнительно слабым передовым частям их невыгодно было вступать в столкновение с хорошо вооруженным, организованным и морально стойким отрядом, но формула Дроздовского была молчаливо принята.

Быть может и совесть рядового немецкого офицерства заговорила при виде людей, оставшихся верными своему долгу, и одинокой, трагически ничтожной кучкой бросившихся в водоворот народной стихии.

Хотя люди эти и были им врагами.

Добровольцы шли в непосредственной близости от своих «внешних врагов», стараясь не встретиться с ними и принимая меры боевой предосторожности. На душе у них было далеко не спокойно. Но…

«Разум брал свое, и мы, молча, в тяжелом раздумье продолжали свой путь»…

До Днепра встречались только австрийцы. Они сами, по-видимому, избегали встреч с Дроздовцами. Иногда австрийские аванпосты открывали огонь по нашим разъездам, а части их поспешно снимались со своих стоянок и уходили в сторону. Однажды, когда колонна Дроздовцев пересекала железную дорогу между Бирзулой и Жмеринкой, в нее врезался эшелон австрийцев. К изумлению добровольцев австрийские офицеры приветствовали их отданием чести и криками:

– Счастливого пути!

Первый раз с немцами встретились на переправе через Днепр у Бериславля. Несмотря на усиленные марши, Дроздовскому не удалось предупредить там немцев. Когда колонна подходила к Бериславлю, он был занят уже двумя германскими батальонами, подошедшими из Херсона. После кратких переговоров, немецкий майор согласился не препятствовать переправе добровольцев и временно снять с позиции свои части, с тем, чтобы возле моста оставалась одна из немецких рот.

Обе стороны расположились, однако, из предосторожности так, чтобы, в случае надобности, можно было легко вступить в

бой…

Трагическая игра судьбы!

В Бериславле у моста стоял враг – немцы. За рекой у Каховки стоял другой враг – русские большевики; они обстреливали расположение немцев артиллерийским огнем, преграждая им путь. Добровольцам предстояло атаковать большевиков, как будто открывая тем дорогу немцам в широкие заднепровские просторы…

Старые дроздовцы не забудут того тяжелого чувства, которое они испытали в эту темную, холодную ночь. Когда разум мутился, чувство раздваивалось, и мысль мучительно искала ответа, запутавшись безнадежно в удивительных жизненных парадоксах.

Каховка после короткого боя была взята, большевики бежали. Но тягостное настроение добровольцев заставило Дроздовского пригласить всех старших начальников и разъяснить им, что он «ни в какие переговоры о совместных действиях с немцами не входил, а лишь потребовал пропустить отряд».

Приходилось не раз прибегать к хитрости. Так, когда колонна пересекала железную дорогу севернее Таганрога, часть обоза и арьергард были отрезаны подошедшим из Таганрога паровозом, ставшим поперек переезда. Германский майор Гудерман заявил, что не пропустит колонну до тех пор, пока не получит разрешения из Таганрога от корпусного штаба. По-видимому он выжидал прибытия эшелона. Начальник арьергарда, полковник Жебрак развернул роту с пулеметами вдоль полотна. Но насильственные меры могли быть чреваты опасными последствиями. Жебрак вступил поэтому в переговоры с майором, посоветовал для ускорения ответа послать его адъютанта на паровозе в Таганрог. Как только паровоз скрылся с глаз и путь стал свободен, повозки рысью двинулись через переезд.

– Вы поступили не по джентельменски, – сказал раздраженно Гудерман.

– Кому, кому судить об этом – ответил Жебрак – но только не вам, майор. У нас с вами мир еще не заключен. Кто нам мешает, тот нам враг.

Не взирая на ряд подобных эпизодов, в которых прорывались истинные чувства отряда, «нейтралитет» все же не нарушался, и Дроздовцы приближались благополучно к «земле обетованной».

Между тем, вести, шедшие оттуда, становились все более печальными. 1 апреля окончательно подтвердились сведения, что весь Дон занят большевиками; о генерале Корнилове говорили, что он «дерется где-то в районе ст. Кавказской, и ходят даже слухи, что он убит». 14-го слухи о смерти вождя не вызывали уже сомнений. Будущее опять заволокло зловещими тучами. Падала

цель, казались напрасными все труды и лишения тысячеверстного похода. Малодушных охватило уныние. Но Дроздовский – мрачный, – замкнутый, не любивший делиться своими надеждами и сомнениями с окружающими, твердо и решительно вел отряд вперед, напролом, руководствуясь не столько реальными данными, сколько верой и внутренним чувством.

Оно не обмануло его. Уже за Бердянском получены были радостные вести:

– Дон поднялся!

– Добровольческая армия жива!

Ростов переживал тяжелое время.

Много дней уже слышна была отдаленная артиллерийская стрельба; ходили неясные слухи о приближении немцев, украинских гайдамаков, каких-то неведомых «щербачевцев», наконец, восставших донцов. Эти слухи как будто находили подтверждение в нервном настроении советских властей и в явно производившейся эвакуации города.

Ростовцы не знали, кто их освободит; но, переходя от надежд к отчаянию, все же ждали со дня на день избавления.

В Святую ночь оно как будто бы пришло: после сильной артиллерийской канонады большевики начали покидать город, отходя в Нахичевань, и к утру Светлого Воскресения ростовские жители, выглянув со страхом на улицу, увидели разъезды каких то неведомых людей, пришедших из Румынии и называвших себя «корниловцами».

Обойдя с севера Таганрог, в котором сосредоточился германский корпус, дошедший уже передовыми частями до станции Синявки, Дроздовский 21 апреля атаковал Ростов.

Операция была весьма рискованная, силы далеко не достаточные. Но агентурные сведения указывали на стремление немцев занять Ростов. Дроздовский решил поэтому предупредить их, желая оказать скорейшую помощь Дону, воспользоваться богатейшими военными запасами, сосредоточенными в городе, и учитывая, вместе с тем, моральное значение захвата этого крупного политического и военного центра «русскими руками».

Конный дивизион Дроздовцев с конно-горной батареей и броневиком под командой начальника штаба отряда, полковника Войналовича, атаковал передовые части большевиков, разбил их и ворвался на вокзал. Впечатление этого налета было настолько велико, что большевики начали даже поспешно покидать город, а эшелоны красной гвардии, бывшие на вокзале, целыми толпами сдавались в плен. Но прошел час, другой, подкрепление не подходило и большевики, опомнившись, открыли огонь по добровольцам. Первым пал доблестный полковник Войналович.

Авангард отступил. Но вскоре подошли главные силы, и большевики, преследуемые артиллерийским огнем, стали отходить окончательно, к полуночи очистив весь город. Дроздовский занял вокзал и прилегающий район.

Легкость овладения городом вызвала пренебрежение к противнику. Стояли беспечно. Утром пехота разошлась, приступив к очистке города. Разведки не было. И потому, когда около 6 часов неожиданно открыл огонь большевистский бронепоезд и из Новочеркасска один за другим стали подходить эшелоны красной гвардии, отряд Дроздовского был застигнут врасплох.

Начался тяжелый бой, лишенный должного управления, в результате которого Дроздовский очистил Ростов, потеряв до 100 человек, часть обоза и пулеметов.

Части собрались в селе Чалтырь. Там уже оказался… авангард германцев. Несмотря на предупредительное отношение немецкого начальника, предоставившего отряду для ночлега часть села, офицеры просили увести их оттуда; не взирая на крайнее утомление, двинулись дальше и остановились в селе Крым.

То фальшивое положение, в котором добровольцы находились постоянно в отношении «внешнего врага», угнетало их чрезвычайно. Последняя боевая неудача еще более понизила настроение.

Дроздовский счел необходимым собрать добровольцев и снова побеседовать с ними. Коснулся и больного вопроса о причинах неудачи:

– Реорганизация необходима. Смена некоторых начальников, проявивших отсутствие распорядительности и личного примера, также необходима. О себе же отчет я дам лишь своему начальнику – тому, к которому направлены все наши помыслы, наши стремления… Начинается воскресение России… Вновь обращаюсь к вам: не падайте духом!

А через день на горизонте опять просветлело: пришло известие о взятии донцами Новочеркасска Тяжелые потери 22-го получили некоторое моральное оправдание: бой этот, хотя и неудачный, отвлек несомненно большие силы от Новочеркасска и избавил донцов от перспективы получить свою столицу… из рук немцев.

В тот же день Дроздовский двинулся к Новочеркасску, и 25-го передовые части его подоспели туда, как я уже говорил, в самый критический для донцов момент. Авангардная батарее открыла огонь во фланг наступавшему противнику, броневик врезался в самую гущу неприятельских резервов, внеся смятение и смерть в

ряды большевиков, рассеявшихся по всему полю. Казаки, ободренные успехом, перешли в контратаку и на расстоянии 15 верст преследовали бегущего врага.

К вечеру Дроздовцы входили стройными рядами в Новочеркасск, восторженно приветствуемые жителями. Вместе с весенними цветами, которыми забрасывали добровольцев, на них повеяло лаской и любовью многотысячных толп народа, запрудивших все улицы освобожденного города.

* * *

> «25 апреля – писал в своем приказе Дроздовский, – части вверенного мне отряда вступили в Новочеркасск… в город, который с первых дней возникновения отряда был нашей заветной целью… Теперь я призываю вас всех обернуться назад, вспомнить все, что творилось в Яссах и Кишиневе, вспомнить все колебания и сомнения первых дней, все нашептывания и запугивания окружавших вас малодушных. Пусть же послужит вам примером, что только смелость и твердая воля творят большие дела. Будем же и впредь в грядущей борьбе ставить себе смело цели и стремиться к достижению их с железным упорством, предпочитая славу и гибель позорному отказу от борьбы; другую же дорогу предоставим всем малодушным и берегущим свою шкуру».

В тот же день Дроздовский отправил донесение командующему Добровольческой армией:

> «Отряд… прибыл в Ваше распоряжение… отряд утомлен непрерывным походом – но в случае необходимости готов к бою сейчас. Ожидаю приказаний».

Глава XXXI. Немецкое нашествие на Дон. Связь с внешним миром и три проблемы: единство фронта, внешняя «ориентация» и политические лозунги. Итоги Первого Кубанского похода

Положение донской столицы значительно окрепло. В области, как доносил Кисляков, было хорошее настроение и много хорошего материала; по общему признанию не хватало лишь крепкой воли и надлежащей организации. Походный атаман, генерал Попов – человек вялый и нерешительный не пользовался авторитетом; «временное правительство», образовавшееся еще в дни первого налета на Новочеркасск, во главе с правым демагогом есаулом Яновым, не чувствовало почвы под ногами и, принимая в свой состав прибывающих в город членов круга, обратилось в многоголовый «совдеп». Решение всех важнейших вопросов откладывалось, и все надежды возлагались на «Круг спасения Дона», который должен был собраться из представителей восставших станиц и казачьих дружин к 29-му апреля.

Из новочеркасских впечатлений и разговоров, из взаимоотношений с задонскими военными властями понемногу, однако, начало выясняться, что надежды на объединение противобольшевистских сил для дальнейшей борьбы становятся все более проблематичными.

Кисляков, сделавший некоторые шаги перед «временным правительством» в этом направлении, доносил:

> «Правительство и атаман не считают возможным подчинение донской армии командующему Добровольческой армией. Мотивы такого решения – крайний опасения, что такое подчинение не своему (казачьему) генералу может послужить поводом к агитации, которая найдет благоприятную почву среди казаков. Заявляют, что приход нашей армии на Дон крайне желателен и что совместные действия с казаками послужат к укреплению боевого духа последних. Словом от подчинения отказываются, „унии“ весьма хотят».

К сожалению «уния» имела уже свою печальную историю в декабре – феврале 1917–1918 г. г. и, как идея чужеродная военной организации, не предвещала ничего хорошего в будущем.

После отступления Дроздовцев, Ростов погрузился опять в холодное отчаяние. Но паника среди советских властей не улеглась. Они лихорадочно эвакуировали город; эшелоны с красной гвардией, военными запасами и награбленным имуществом тянулись безостановочно за Дон.

И кои да 25-го напуганные ростовские жители, удивленные наступившей тишиной, выглянули на улицу, они увидели с изумлением, многие с горьким разочарованием, марширующие по улицам колонны… людей в касках.

То вступала в Ростов головная дивизия 1-го германского корпуса.

Это событие, словно удар грома среди прояснившегося было для нас неба, поразило своей неожиданностью и грозным значением. Малочисленная Добровольческая армия, почти лишенная боевых припасов, становилась лицом к лицу одновременно с двумя враждебными факторами – советской властью и немецким нашествием, многочисленной красной гвардией и корпусами первоклассной европейской армии. Этот чужеземный враг был страшен своим бездонным национальным эгоизмом, своим полным отрешением от общечеловеческой морали; он с одинаковым цинизмом жал руку палача в Брест-Литовске, обнадеживал жертву в Москве и Киеве и вносил растление в душу народа, чтобы вывести его надолго из строя столкнувшихся мировых сил.

Какие еще новые беды несет с собой его приход?

Донская делегация, посланная «временным правительством» в Ростов, была принята начальником штаба немецкой дивизии, и между ним и донцами произошел знаменательный разговор:

Донцы: – С какой целью и по каким соображениям немцы вторглись на территорию Дона?

Немец: – Политические соображения неизвестны, но по стратегическим соображениям приказано занять Ростов и Батайск, чтобы обеспечить Украину от большевиков удержанием этого важного железнодорожного узла.

Донцы: – Ростов находится на территории Дона, права коего следовательно нарушаются вами…

Немцы: – О границах Дона с Украиной вам надлежит договариваться с последней.

Д.: Пойдете ли вы на Новочеркасск?

Н.: Такого приказания у нас нет, а, если получим, то Новочеркасск займем. Не будет ли открыто партизанскими отрядами враждебных действий против наших войск?

Д.: Такого распоряжения не отдавалось, почему до выяснения вопроса с Украиной такие действия должны рассматриваться, как не основанные на распоряжениях высшей военной власти Дона.

Д.: Признаете ли суверенные права Дона?

Н.: Да, признаем Дон штатом (?).

Д.: Какова организация власти на Украине?

Н.: Власть полномочного гетмана Скоропадского, усмотрением коего назначаются министры. Украине запрещено проводить социалистические начала. Земля возвращена помещикам не свыше известной нормы. Приказано всем засеять поля.

Д.: Признается ли за Украиной право решать вопрос о войне и мире?

Н.: Да, но не против Германии

Далее немцы говорили, что они действуют в союзе с казаками, ибо действуют совместно против красной гвардии.

Д.: Почему вы двигаетесь на Дон, заключив мир с Россией?

Н.: Мы признаем Брестский договор, но правительство комиссаров не исполняет своего обязательства о разоружении красной гвардии, против которой мы и идем. Признает ли себя Дон самостоятельной республикой?

Д.: Мы признаем себя частью России, но не признаем большевистского правительства.»

Из этого разговора трудно было еще уяснить себе ближайшие перспективы: сохранять ли немцы в отношении Добровольческой армии нейтралитет, пойдут ли на нас войною или предоставят нам меряться силами с большевиками только для того, чтобы с холодным, веским расчетом на костях и крови русских построить себе свободный путь к морю, хлебу и нефти.

Политическая обстановка была запутана до крайности. Будущее темно. Но наказ, данный мною генералу Кислякову, совершенно ясен:

– Ни в какие сношения с командованием враждебной России державы не вступать.

Встал передо мной еще один вопрос.

В середине апреля, почти одновременно приехали из Москвы в армию полковники Страдецкий и Голицын[[188]] Первый был командирован в столицу для связи с московскими организациями

еще в января 1918 г. из Ростова, второй – бывший генералом для поручений при генерале Корнилове – послан был кажется в Астрахань, но в виду ее падения попал также в Москву.

Голицын уверял, что Москва совсем не интересуется Югом и в частности «Корниловской армией», что там идет борьба политических лозунгов и внешних ориентаций и некоторая местная концентрация сил, совершенно не склонных к подчинению указаниям Юга. Страдецкий, наоборот, рисовал картину разбросанной широко по России сети активных ячеек, отчасти подчиненных тайной организации, в которой он играл видную роль, отчасти самостоятельных. Но что те и другие считают себя всецело в распоряжении командования Добровольческой армии, вполне подготовлены к выступлению и ожидают только приказа…

Мне показались несколько сомнительными серьезность, сила и влияние организации, и, во всяком случае, я не счел возможным, не имея ясного представления о внутреннем положении страны, указывать времена и сроки. Предложил лишь, в подтверждение предыдущих инструкций, продолжать организацию на местах, пользуясь всяким случаем, чтобы стягивать силы к нам на Дон. Единственным безошибочным моментом выступления надлежало считать приближение к данному району Добровольческой армии.

Много позднее, я узнал, что разговор шел о «Союзе защиты Родины и свободы», возглавляемом Савинковым – обстоятельство, которое Страдецкий утаил от меня. И что эта организация в половине апреля не имела еще решительно никакого реального значения.

Тем не менее доклад поставил на очередь вопрос о необходимости сказать во всеуслышание слово от армии, тем более, что само бытие ее в последнее время среди широких кругов русского общества вызывало сомнение.

В Лежанке под гром неприятельской артиллерии я составлял свое Первое политическое обращение к русским людям:

От Добровольческой армии.

«Полный развал армии, анархия и одичание в стране, предательство народных комиссаров, разоривших страну дотла и отдавших ее на растерзание врагам, привело Россию на край гибели.

Добровольческая армия поставила себе целью спасение России путем создания сильной, патриотической и дисциплинированной армии и

беспощадной борьбы с большевизмом, опираясь на все государственно мыслящие круги населения.

Будущих форм государственного строя руководители армии (генералы Корнилов, Алексеев) не предрешали, ставя их в зависимость от воли Всероссийского Учредительного Собрания, созванного по водворении в стране правового порядка.

Для выполнения этой задачи необходима была база для формирования и сосредоточения сил. В качестве таковой была избрана Донская область, а впоследствии, по мере развития сил и средств организации, предполагалась вся территория т. н. Юго-Восточного союза. Отсюда Добровольческая армия должна была идти историческими путями на Москву и Волгу…

Расчеты, однако, не оправдались…»

Указав далее мотивы нашего «исхода» с Дона, и, сделав краткий очерк первого кубанского похода, я заканчивал:

«Предстоит и в дальнейшем тяжелая борьба. Борьба за целость разоренной, урезанной, униженной России; борьба за гибнущую русскую культуру, за гибнущие несметные народные богатства, за право свободно жить и дышать в стране, где народоправство должно сменить власть черни.

Борьба до смерти.

Таков взгляд и генерала Алексеева, и старших генералов Добровольческой армии (Эрдели, Романовского, Маркова и Богаевского), таков взгляд лучшей ее части. Пусть силы наши не велики, пусть вера наша кажется мечтанием, пусть на этом пути нас ждут новые тернии и разочарования, но он – единственный для всех, кто предан Родине.

Я призываю всех, кто связан с Добровольческой армией и работает на местах, в этот грозный час напрячь все силы, чтобы немедля сорганизовать кадры будущей армии и, в единении со всеми государственно-мыслящими русскими людьми, свергнуть гибельную власть народных комиссаров.

Командующий Добровольческой армией
Генерал-лейтенант Деникин».

23-го в Егорлыцкой я познакомил с «обращением» генерала Алексеева и старших начальников армии, находившихся в

станице. «Обращение» не вызвало никаких возражений, и штаб послал большое количество напечатанных в походной кубанской типографии экземпляров его для распространения в Ростов, Киев, Москву и далее по России.

Прошло дня два. Заходит ко мне генерал Марков и смущенно докладывает:

– Среди офицерства вызывает толки упоминание воззвания о «народоправстве» и об «Учредительном Собрании»…

Я только наметил здесь три капитальнейших вопроса, вставшие передо мной в их элементарном отражении – тогда в глухой донской станице, при первом общении с внешним миром: единство фронта, внешняя «ориентация» и политические лозунги.

В дальнейшем ходе событий эти вопросы разрастутся в глубокие внутренние процессы, обволакивающие «белое движение» и в значительной мере лишающие его единства, ясности и, следовательно необходимой силы.

Освобождение Новочеркасска дало мне, наконец, возможность отправить туда раненых. Хотя власти приняли их там не особенно ласково, заявив, что предпочли бы видеть полк здоровых добровольцев… хотя много еще пришлось им испытать невзгод в обедневших и разоренных донских лазаретах, но все это было несравнимо с тем, что они вынесли в походе, и казалось счастьем.

В Егорлыцкой армии предстояло еще одно испытание. После всех переживаний тяжелого похода у всех наступила некоторая реакция; многих тянуло к Ростову и Новочеркасску, где остались родные и близкие; многим просто смертельно хотелось отдохнуть и отрешиться на время от острых впечатлений боя.

Между тем, новая политическая обстановка, допускавшая самые неожиданные возможности, с необыкновенной остротой ставила вопрос о полной необеспеченности армии снабжением, в особенности боевыми припасами. В то же время разведка упорно доносила об огромном и хаотическом движении большевистских эшелонов по линии Ростов – Тихорецкая – Царицын, – движении, закупорившем все узловые станции. Шло массовое перемещение военных материалов, которые могли ускользнуть окончательно из наших рук.

Приходилось организовать набег, чтобы пополнить истощенные запасы.

Назначил днем выступления 25 апреля. Добровольцы поворчали немного и пошли беспрекословно.

Операция заключалась в том, чтобы быстрым маршем захватить узловую станцию Сосыка на Кубани, в тылу той группы большевиков, которая стояла против немцев у Батайска;

одновременно для обеспечения и расширения района захвата занять соседние станции Крыловскую и Ново-Леушковскую[[189]].

25 апреля Богаевский со 2-й бригадой выступил из Гуляй-Борисовки и взял с бою станицу Екатериновскую; главная колонна – бригады Маркова и Эрдели – сделав 65 верст, заночевала в Незамаевской, занятой без сопротивления.

На рассвете 26-го Богаевский, Марков и Эрдели[[190]] атаковали тремя колоннами станции Крыловскую, Сосыку и Ново-Леушковскую и, после горячего боя с большими силами и бронепоездами большевиков, все три станции были заняты. Много поездов с военными материалами попало в наши руки. В ту же ночь я перешел с колонной Маркова в станицу Михайловскую, предполагая расширить несколько задачу к северу. Но бригада Богаевского встретила уже упорное сопротивление большевиков, усилившихся подошедшими подкреплениями; добыча не стоила бы новых жертв. И я увел армию без всякого давления со стороны противника, развивавшего только сильнейший артиллерийский огонь, обратно на Дон.

Увозили с собой большую добычу: ружья, пулеметы, боевые припасы и обмундировальные материалы; уводили несколько сот мобилизованных кубанских казаков.

Должен сказать откровенно, что нанесение более серьезного удара в тыл тем большевистским войскам, которые преграждали путь нашествию немцев на Кавказ, не входило тогда в мои намерения: извращенная до нельзя русская действительность рядила иной раз разбойников и предателей в покровы русской национальной идеи…

30 апреля армия стала, наконец, на отдых в двух пунктах:

станице Мечетинской (штаб армии и 2-я бригада) и Егорлыцкой (1-я и конная бригады), прикрываясь заслонами от большевиков и от… немцев.

* * *

Первый кубанский поход – Анабазис Добровольческой армии – окончен.

Армия выступила 9 февраля и вернулась 30 апреля, пробыв в походе 80 дней.

Прошла по основному маршруту 1050 верст.

Из 80 дней – 44 дня вела бои.

Вышла в составе 4 тысяч, вернулась в составе 5 тысяч, пополненная кубанцами.

Начала поход с 600–700 снарядами, имея по 150–200 патронов на человека; вернулась почти с тем же: все снабжение для ведения войны добывалось ценою крови.

В кубанских степях оставила могилы вождя и до 400 начальников и воинов; вывезла более полуторо тысяч раненых; много их еще оставалось в строю; много было ранено по несколько раз.

В память похода установлен знак: меч в терновом ненце.

Издалека, из Румынии на помощь Добровольческой армии пришли новые бойцы, родственные ей по духу.

Два с половиной года длилась еще их борьба.

И тех немногих, кто уцелел в ней, судьба разметала по свету: одни – в рядах полков, нашедших приют в славянских землях, другие – за колючей проволокой лагерей – тюрем, воздвигнутых недавними союзниками, третьи – голодные и бесприютные – в грязных ночлежках городов старого и нового света.

И все на чужбине, все «без Родины»…

Когда над бедной нашей страной почиет мир, и всеисцеляющее время обратит кровавую быль в далекое прошлое, вспомнит русский народ тех, кто первыми поднялись на защиту России от красной напасти.

Брюссель 1922 г.

notes

1

К. д-ты требовали создания власти, покоящейся – на общенациональной почве» и представленной лицами, – не ответственными ни перед какими организациями и комитетами»

2

Был один раз за 1 – месяца.

3

Авксентьев (с – р), Скобелев (с.-д.), Пъшехонов (н.-с.), Чернов (с.-р.), Зарудный (с – р.), Прокопович (с.-д.), Никитин (с.-д.).

4

Ольденбург, Юренев, Кокошкин, Карташов (К. д-ты), Ефремов (р.-д.).

5

Доклад Ф. Кокошкина 31 августа.

6

Управляющий – Савинков, начальник политического отделения Степун, комиссар при Ставке – Филоненко.

Резолюции 24 июля и 20 августа.

8

Речь в «Совете республики».

9

В начале июля на Юго-западном фронте.

Из – Обращения к народу» 28 августа1917 года.

11

Показание следственной комиссии

12

«Прелюдия большевизма» (англ.). Савинков был, по его словам, против оглашения записки по мотивам необходимости расширить программу военных мероприятий – до размеров общегосударственных и внести в осуществление ее элемент осторожной последовательности».

13

Из бесед с Савинковым Корнилов вынес впечатление, что предупреждение имело в виду министра земледелия Чернова.

14

Показание следственной комиссии.

Савинков. – К делу Корнилова».

«Армия и флот» 1 августа 1917 года.

Савинков – К делу Корнилова».

18

Показания Корнилова следственной комиссии.

19

Савинков. «К делу Корнилова».

20

«Последние новости» 1920 года N 190. Статья Львова.

С.-д. меньшевик, видный член центрального комитета.

22

Доклад Ф. Кокошкина.

23

Постановление 4 августа.

24

Постановление 10 августа.

25

Из типичного письма.

26

Главнокомандующим Юго-западным фронтом был тогда генерал Брусилов; позднее, с 22 мая – Верх. главнок. был генерал Брусилов, а главнок. армиями фронта – генерал Гутор.

К выступлению Корнилова не причастен.

28

Одно из коллективных обращений к генералу Корнилову (31 июля) исходило от 10 организаций: 1. Военная лига. 2. Союз георгиевских кавалеров. 3. Союз воинского долга. 4. Союз Честь Родины. 5. Союз добровольцев народной обороны. 6. Добровольческая дивизия. 7. Батальон свободы. 8. Союз спасения Родины 9. Общество 1914 года. 10. Республиканский центр. Кроме того существовали организации полковые, районные и т. д.

29

Подполковник генерального штаба.

«Керенский по доводу этого воззвания возмущенно говорил Кокошкину, что Милюков вновь организует прогрессивный блок против Временного правительства, как против Николая II».

31

От офицерского союза, союза георгиевских кавалеров и казачьего совета были посланы правительству резкие телеграммы о несменяемости Корнилова.

32

Новосильцев до сих пор предполагает, что инициатива командировки Роженко исходила не от Корнилова, а от «политического окружения».

33

12 сентября 1917 года.

Правые смотрели на Корнилова только как на орудие судьбы, и на дело его как на переходный этап к другому строю.

35

Конец 1916 и начало 1917 года. Крымов был вызван своими единомышленниками с фронта в Петроград к 1-му марта, но петроградское восстание изменило ход событий.

Составлена кн. Ухтомским.

Интересно это представление строевого офицерства о – власти совета», как о государственно-правом состоянии и о свержении этой – власти», как о – государственном перевороте».

38

Обобщаю течения именами главных участников.

Корнилов узнал об этом только впоследствии.

40

Единственная фраза во всем показании, которая не подтверждается В. Львовым.

Добрынский до декабря не был представлен ген. Корнилову.

42

См. главу IX Т. I.

43

Предположительный список министров составлялся в кабинете Корнилова на следующий день, 26-го, при участии его, Филоненко, Завойко и Аладьина. По свидетельству г. Н-го, Завойко впоследствии, на совещании в Ставке, оправдываясь перед Корниловым, отрицал факт передачи им (Завойко) списка министров В. Львову.

44

Из показания Корнилова следственной комиссии.

Инициатива, редакция и даже подпись фамилии Керенского на телеграмме с обращением к народу о мятеже главнокомандующего приписываются Некрасову. Следственная комиссия так и не добилась подлинника телеграммы.

46

Из письма в газету Филоненко.

47

См. Том I, гл. XXXVI.

48

Из показания Корнилова следственной комиссии.

49

«Телеграмма министра-председателя… во всей своей первой части является ложью: не я послал члена Гос. Думы В. Львова к Временному правительству, а он приехал ко мне, как посланец министра-предсвдателя.

Два воззвания составлены Завойко, одно (к казакам) лично Корниловым.

51

При выборах в городскую думу.

Кроме главнок. Кавказским фронтом, ген. Пржевальскаго. См. гл. XXXVI, Т. I.

53

Из секретных документов, опубликованных большевиками.

«Русское Слово» 1917 г N 197.

«Прелюдия большевизма».

56

«Прелюдия большевизма». Керенский припоминает, что при разговоре присутствовал помощник военного министра, полковник Якубович.

57

Телеграмма Керенского N 525.

58

Телеграмма прапорщика Толстого.

59

Разговор между 15–30 и 17–10 ч. 1-го сентября.

Оно авторизовано Керенским, как видно из его книги «Прелюдия большевизма».

Был по пути арестован и некоторое время содержался в Петрограде на гауптвахте вместе с В. Львовым.

62

Chessin «Au pays de la demence rouge»

Правые партии были сметены революцей, и отдельные члены их входили в состав Совещания общественных деятелей и в петроградския военно-общественные организации.

Все министры подали в отставку.

65

На голубом фоне черег со скрещенными костяки и надпись «Корниловцы.»

Левый с. р. Штейнберг. «От февраля по октябрь 1917 г.»

67

См. Т. 1, глава XXXVII.

68

Командир юнкерской полуроты.

69

Указанные цифры соответствуют проставленным на прилагаемом снимке.

Корнилов, Романовский, Кисляков, Марков, Роженко, Будилович, Чунихии.

71

На случай ухода из тюрьмы последним.

72

Генерал Кисляков, находясь при Ставке, был товарищем министра путей сообщения, и мы шутя отождествляли его с членами Времен, правительства.

73

Впоследствии «военный руководитель» большевистского «Верховного совета».

Духонин отрешил от должности преданного корниловскому делу коменданта Ставки, полковника Квашнина-Самарина, и назначил советского избранника, полковника Инскервелли.

Пока шло только «расследование».

1. А. И. Путилов – Русско-азиатский банк. 2. А. И. Вышнеградский – Международн. банк. 3. Л. Ф. Давыдов – Рус. для внеш. торг. банк. 4. Д. Н. Шаховской – Рус. торг-промыш. банк. 5. П. П. Ватолин – Волжско-Камск. банк. 6. А. И. Каминка – Азовско-Донск. банк. 7. В. В. Тарновский – Сибирский банк. 8. Ю. Л. Львов – Учетно-ссудный банк. 9. А. В. Красавин – 10. И. Д. Морозов – 11. И. И. Стахиев – 12. В. Н. Троцкий-Сенютович —

77

Первый донес о «калединском мятеже».

М. Богаевский, помощник Донского атамана.

Министр-председатель – Керенский; Иностран. Дел – Терещенко; воен. – Верховский; морск. – Вердеревский; поч. и тел. – Никитин.

Московского государственного совещания

81

Состав коалиционный типа Московского совещания.

Мин. – предс. – Керенский; заместитель его и мин. торг. и пром. – Коновалов; иностр. дел – Терещенко; воен. – ген. Верховский; морск. – адм. Вердеревский; вн. дел. – Никитин; юстиции – Малянтович; пут. сооб. Ливеровский; финан. – Бернацкий; призрен. – Кишкин; труда – Гвоздев; нар. просв. – Салазкин; продов. – Прокопович; землед. – Маслов; без портф. С. Третьяков; гос. контр. С. Смирнов.

83

Постановление Центр, исполн. комит. советов в начале октября

Указ 4 сентября.

85

Резолюция «комитета народной борьбы с контрреволюцией».

Положение, утвержденное в конце сентября.

Гурвич.

Милюков.

Положения этого рода встречали критику, но не осуждение.

90

Манифест организационного комитета Стокгольмской конференции 4 октября

Ей предоставлялся доступ к Адриатическому морю.

92

Из секретн. дипломат, переписки, опубликованной большевиками.

«Прелюдия большевизма» (англ.)

1-ый Генерал-квартирмейстер Ставки.

Из речей в «Совет республики».

После этого заседания уволен от должности военного министра.

Троцкий «L'avenement du bolchvisme».

98

Перед революцией против нашего фронта было 137 неприятельских дивизий.

99

Лин. корабли «Гражданин» и «Слава», крейсер «Баян» с миноносцами.

«Две тактики соцал-демократов в революции».

101

По постановлению И. К. 21 апреля власть над петроградским гарнизоном вручена была: Чхеидзе, Скобелеву, Бинасику, Скалову, Гольдману, Филиповскому и Богданову.

102

В бюро военнореволюционного комитета под руководством Бронштейна (Троцкого) вошли: Лазимир, Антонов, Садовский, Подвойский, Сахарков.

103

Окончательный союз заключен синедрионом в состав представителей центральных органов: от большевиков г. г. Бронштейн (Троцкий) и Розенфельд (Каменев), от л. с. р-ов Натансон, Кац (Камков) и Шрейдер.

Ген. Краснов, комиссар Станкевич, Я. Миллер и т. д.

Части корпуса распоряжением ген. Черемисова были разбросаны по всему Северному фронту, а сосредоточению их препятствовал Черемисов, военнореволюционные комитеты и Викжель.

Был назначен Керенским его заместителем.

107

Военно-революционные организации прочили Чернова на пост председателя нового правительства.

«L'avenement du bolchvisme».

109

В показании, данном большевикам 1 ноября 1917 г генерал Краснов приводит, между прочим, такую фразу из своего последнего разговора с Керенским: – если вы честный человек, вы должны сейчас же ехать в Петроград под белым флагом, отыскать революционный комитет, с которым и вступить в переговоры, как глава правительства». В своей статье – На внутреннем фронт» (»Архив, рус. революции т. I.») Краснов признает, что помог Керенскому бежать. «… Как ни велика вина ваша перед Россией, – сказал я, – я не считаю себя в праве судить вас. За пол часа времени я вам ручаюсь» …

110

Ген. Довбор-Мусницкий отдал приказ, чтобы польские войска, отнюдь не вмешиваясь в русские дела, подавляли однако беспощадно силою оружия всякие посягательства на имущество и безопасность мирных жителей без различия национальности – в районе их расположения.

К сожалению – только общеказачий совет и казачьи правительства.

112

Остававшихся последними.

113

Так называли сверхсрочных в солдатской среде.

1-ый эскадрон прошел западнее и более к полку не присоединился; за Клинцами в м. Павличи он был разоружен большевиками и отправлен в Минск, где некоторое время офицеров и всадников держали в тюрьме.

115

Вынесла его из огня и пала.

Помощник Гордянскаго.

117

Из рапорта командира полка, капитана Неженцева.

118

Разсказ полк. Гущина.

119

Из открыого письма В. Шульгина к Г. Петлюре.

120

Официальное обращение Крыленко.

121

У Добрынина: «Борьба с большевизмом на Юге России».

122

См. Т. I, главу XXVII.

Этоть вопрос вообще имел решающее значение в установлении взаимоотношений Юго-восточного казачества с иногородним населением.

124

Приказ командовавшего большевистскими войсками Петрова после взятия станицы Каменской.

125

16 декабря 1917 г., статья профессора Евлахова.

126

Из доклада на 3-ем круге.

127

Такое название получила «Алексеевская организация» в конце декабря.

128

Декларация коалиционного правительства 5 января 1918 года.

129

Крестьяне староселы.

130

До тех пор Кубанская область управлялась двумя органами, враждовавшими друг с другом: Войсковым правительством и Исполнительным комитетом иногородних.

131

Под чертой – время советской власти.

Все население Терско-дагестанского Края около 1,4 миллиона.

133

10 декабря 1918 года.

134

Цитирую по труду С. Сватикова. «Государственно-правовое положение Дона».

135

Донской деятель, кадег, бывший коммссар Закавказья.

Генералы Алексеев, Корнилов, Каледин, Лукомский, Романовский, Марков и я.

137

Эпизоды с командировкой Савинкова в Москву и Вендзягольскйго в Киев.

Тогда был уже Романовский.

139

С Кавказа не особенно затруднены Большая группа офицерства, преимущественно гвардейского, в Минеральных водах не откликнулась вовсе на призыв командированного туда ген Эрдэли.

140

Из беседы с корреспондентом «Нового Пути» Лето 1921 года.

Донцам удалось сформировать несколько хороших партизанских отрядов, о которых говорится дальше.

Кроме того, небольшая прибавка семейным.

143

В этом их заверил и штаб офицер кубанского полка.

144

Письмо генерала Алексеева к А. Суворину 13 августа 1918 года.

145

«Рабочее дело» 14 февраля 1918 г.

Из 9 председателей различных военных большевистских учреждений и двух генералов – Бонч-Бруевича и Лукирскаго

147

Секретный протокол заседания «военного совета».

Московские «Известия».

149

Ростовския «Известия». 1918 года N 19. Ген. Потоцкий был до Богаевского командующим войсками в Ростове.

150

Из письма Нуланса к Кашену 7 февр. 1921 г.

151

Штаб расположился в Парамоновском доме. После нашего ухода из Ростова в нем поселилась чрезвычайка; подвалы его были залиты кровью; дом вскоре сгорел.

Васильев, Петренко, Мельситов, Смирнов.

153

В конном дивизионе полк. Гершельмана было не более 50–60 шашек.

154

Из рассказа М. Богаевскаго.

Донские партизанские отряды Краснянскаго, Бокова, Лазарева и др. присоединились к нам в Ольгинской.

156

Ростовский полк назывался еще в начале формирования – Студенческим», хотя студентов в нем было очень мало.

157

П. бывший командир юнкерского батальона.

158

Зимовник – усадьба – становище донских табунов.

159

Впоследствии главный военный прокурор вооруж. сил Юга России.

Так называли в народе противобольшевистские элементы, не влагая в это понятие партийно-политического содержания.

161

«Рабочее слово» 1918 г N 10.

Гершельман был отрешен за это от должности.

163

Армия пополнилась тремя сотнями Брюховецкой станицы, которые обоз принял за большевистскую конницу.

164

Иногородний поселок возле станицы.

До 1-го марта Кубан. воен. – рев. комит. находился в Армавире.

166

Священник станицы Некрасовской отец Георгий Руткевич был убит большевиками по обвинению в «сочувствии кадетам и буржуям».

167

«Дальше я не могу отступать: останусь здесь хотя бы один.»

320 человек. В ауле Ассоколай большевиками убито 305 чел. и т. д.

169

Члены рады.

Чехо-словацкий батальон не включался в состав бригад.

171

Ближайшие переправы были: деревянный мост у Пашковской, где недавно был Покровский и где поэтому нас могли ожидать; железнодорожный мост у самого Екатеринодара, атака которого представляла непреодолимые техническая трудности.

172

Подполковник Неженцев, командир Корниловского полка.

Нужно заметить, что контрразведка не была исключительной слабостью военной власти. Всякое местное «демократическое правительство» в это смутное время начинало свою деятельность с организации широкой сети контрразведки.

174

Хатук.

175

Образцовая ферма Екатеринодарского сельскохозяйственного общества.

Там оказались Казанович, Неженцев и их полковые штабы.

177

Северное предместье Екатеринодара со сплошными садами.

178

2-ой батальон Партизан, перешедший с правого фланга.

Командиром его был назначен полковник Кутепов.

180

Разсказ ген. Казановича в газете «Свободная речь».

181

См. Т. I, главу 37-ю.

182

Начальник штаба у Маркова.

183

Одних офицеров было убито около 500.

184

«Рабочий голос» 1918 г. N 1. Орган соц. – дем.

Представленного Голубовым и Смирновым.

186

Данные о походе Дроздовцев взяты из «Воспоминаний участников», редактированных полковником Колтышевым.

187

Состав бригады Дроздовского: 667 офицеров. 370 солдат, 14 врачей, священников, чиновников; 12 сестер милосердия; Сводный стрелковый полк (ген. – майор Семенов, позднее удален) Конный дивизион (шт. ротм. Гаевский). Легкая батарея (полк. Ползиков). Конно-горная батарея (капит. Колзаков). Мортирный взвод (полк Медведев). Технические части и лазарет.

Несколько штрихов для характеристики деятелей смутного времени: Голицын доложил мне, что вывез семью генерала Корнилова в Москву, где она проживает инкогнито и в полной безопасности вместе с его семьей. За это был обласкан и награжден из скромной добровольческой казны. Затем уехал и объявился в Сибири генералом, занимая потом высокие командные посты в армии адмирала Колчака. Оказалось впоследствии, что семья Корнилова осталась тогда на Кавказе в тяжелом, почти безвыходном положении.

189

Общий фронт 33 версты.

Средняя и левая колонны сделали в этот день еще до 40 верст.